

НОВЫЙ Журнал

163

THE NEW
REVIEW

THE NEW REVIEW Новый Журнал



Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский
1978-1981 г.г. редактор Роман Гуль
1981-1983 г.г. редакция: Роман Гуль (гл. редактор),
Е. Магеровский
1984-1986 г.г. редакция: Роман Гуль (гл. редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский

Сорок пятый год издания

*ПОЧЕТНЫЙ РЕДАКТОР:
РОМАН ГУЛЬ*

*РЕДАКТОР
ЮРИЙ КАШКАРОВ
СЕКРЕТАРИ РЕДАКЦИИ:
ОКСАНА РАДЫШ И ЗОЯ ЮРЬЕВА*

Обложка работы Мстислава Добужинского

Присланные рукописи не возвращаются и в переписку по их поводу редакция не вступает

THE NEW REVIEW. JUNE 1986

© THE NEW REVIEW

NEW REVIEW (ISSN 596680) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, NY 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ю. Кашкаров</i> — East-West	5
<i>Е. Таубер</i> — Стихи	44
<i>О. Капабланка-Кларк</i> — Стихи	45
<i>Л. Кузнецова</i> — Стихи	48
<i>С. Гозиас</i> — Белая и черная коза	50
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	62
<i>В. Крейд</i> — Гость из Англии	63
<i>Г. Семенов</i> — Памяти самих себя	72
<i>Дм. Шляпентох</i> — Революция	74
<i>В. Петров</i> — Калиостро. Воспоминания и размышления о М.А. Кузмине. Публикация <i>Г. Шмакова</i>	81
<i>О. Ильинский</i> — Венеция. Стихи	117
<i>Н. Ровская.</i> — Сергей Шаршун	119
<i>С. Шаршун</i> — Из листовок. Публикация <i>Р. Герра</i>	127
<i>Е. Таубер</i> — О поэзии Ольги Анстей	140
<i>Б. Шер</i> — Клад прошлого	143

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Роман Гуль — Ледяной Поход	145
<i>Из истории гражданской войны. Письма, доклады и записи Н.И. Астрова для ген. А.И. Деникина</i> Публикация <i>Ю. Фель- штинского</i>	176
"Старые Годы". — Вступит. ст. <i>Д. Скалона; Б. Татищев</i> — Семейная хроника; <i>гр. Ю. Олсуфьев</i> — В Никольском- Обольянове	201

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>П. Палий</i> — Чаения народа или чаяния народов?	240
<i>К. Померанцев</i> — Христианство и коммунизм	253
<i>Игумен Геннадий Эйкалович</i> — "Федоровиана"	259
<i>А. Иванов</i> — Экология исторических памятников и могил. Посмертная судьба Д.В. Веневитинова; Судьба А.С. Гри- боедова	275

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

<i>Д. Бобышев</i> — Слово об Иваске; <i>В. Блинов</i> — Памяти Ю.П. Иваска; <i>В. Перелешин</i> — Юрий Иваск; <i>Е. Климов</i> — Художник Эрик Прэн (1894-1985)	285
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Ю. Иваск</i> — О. Ronen. An Approach to Mandelstam. Jerusalem, 1983, <i>Е. Валин</i> — Феликс Светов. "Опыт биографии", ИМКА-Пресс, 1985	298
---	-----



**В МОМЕНТ, КОГДА ЭТОТ НОМЕР ЖУРНАЛА
УЖЕ БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К ПЕЧАТИ,
РЕДАКЦИЯ С ГЛУБОКИМ ПРИСКОРБИЕМ
УЗНАЛА О КОНЧИНЕ, 30 ИЮНЯ 1986 ГОДА,
ПОСЛЕ ДОЛГОЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ,**

РОМАНА БОРИСОВИЧА ГУЛЯ

**МНОГОЛЕТНЕГО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА,
ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ**

ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!

EAST — WEST

1

И вот я уезжаю с глупой надеждой вернуться к тебе богатым. В Джей Эф Кей прощаюсь с безутешными феминистками. У контрольной стойки маятся очередь черных и пуэрториканцев с ободранными картонными чемоданами. Небо сегодня неожиданно низкое европейское небо.

— Наша армия, — презрительно говорит Хэзер.

Мы пьем кофе и шерри. Нас обступает особенный аэродромный запах — растревоженного воздуха, чужого ветра, лайзола, замкнутых воспоминаний рвоты, новых газет. За стеклянными окнами нехотя плывут облака, быстро темнеет. Феминистки отходят в сторону, шепчутся, складываются по доллару на "Нью Йоркер" и "Нейшен", чтоб я не скучал в дороге.

— Приезжай скорее, — просит Мэри. — Помни об Америке и ее голубых небесах.

Недавно, в первую в этом году мокрую ньюйоркскую метель ты открыла мне дверь на Перри Стрит. Ты ревниво, или мне так кажется, спрашиваешь о Лили, о Вене.

— Сегодня я надена серебром, — говоришь ты. — И, как всегда, эмалевый китайский иероглиф "любовь". Но, быть может, ты хочешь, чтобы было золото?

Телевизионный карлик Тату из "Острова Фантазии" пищит всё громче. За окном — совсем московский дворик. Ветла не ветла, скорее, клен, — дерево в снегу. Истошно надрываются запертые, необычайно одинокие собаки.

— Снег. Совсем как в Берлине в эту пору, — говоришь ты.

* Журнальный вариант.

Кругом — ньюйоркская сырость, серая тусклость беспредметного утра.

— Обрати внимание, мы входим в новый цикл, — говорит Хэзер. В 69-м умерла Джуди Гарланд, был Вудсток, была наша борьба. Начало молодости. Да, в 60-е везде со всеми что-то случилось. Не только здесь, в Америке. Какая-то перемена. Бунты не в счет. Мы до сих пор еще до конца не поняли — что?

— Неужели мы опять в этом мире, полном разлук, смертей, напастей. Имитации страстей. В который раз? — удивляешься ты.

— *Que fait votre âme à vous?* — спрашивает Лили, щуря зеленые глаза. — Ужасно, что рядом с тобой нет сердца, готового тебя искренне и благожелательно выслушать. Впрочем, у меня тоже нет. Есть психоаналитичка Труди. У Труди нелегкая задача. Вообрази эту тяжелую работу — чистить лабиринты прошлого. Мою жизнь. Но у Труди мужская воля и бездна решимости.

Гертруда смеется громким мужским смехом. У нее крупные руки. Она выросла в мадьярской пуште, рядом с цаплями и цыганским табором. Гертруда пьет кофе по-венгерски, любит маленьких детей и несчастных женщин. У нее свой киндергартен. В Вене, рядом с капеллой Германского Ордена. Там в пыльной темноте висят на стенах деревянные раскрашенные гербы. А среди них герб твоих предков, Лиза.

— Ты внезапно, голодна, мы идем в "Фиш энд Чипс". На тебе серебро — цепи, браслеты, нефритовый маленький дракон из Макао, тот самый иероглиф "любовь". Ты напряженно говоришь:

— Нам трудно быть вместе. Разница культур. Мы не понимаем друг друга.

Ты не хочешь смотреть в глаза. Я делаю вид, что не вижу твоих глаз. Нам обоим кажется, что мы ненавидим Нью-Йорк, что нам будет хорошо только в Европе.

Я иду по Вашингтон сквер вслед за обнявшейся парой. У нее и у него по собачке на поводке — личная невротическая дворняжка. Темнокожие в пропахших потом майках выплевывают —

“Смок! Смок! Смок!”. Пахнет горелыми прещельсами, шиш-кебабом.

На Диланси среди переросших сорняков, битого стекла и банок из-под пива стоит подобие екатериненского верстового столба. Поток машин замирает перед светофором. Алкоголики бросаются протирать ветровые стекла.

Правнучка аристократа-южанина (бабушка в Вирджинии, ей девяносто три года, в пустом доме с облупившимися колоннами, дом некому починить, наследники разлетелись по всем штатам, не могут сговориться о расходах), правнучка в мешковатом пиджаке с подложенными плечами, купленном в “Антик шоп” на Первом авеню, потягивает бурбон в “Грасс Рутс”, морщит лоб, размышляет о Фолкнере, Алеке Гинзбурге, семиотике. Вокруг начинают густеть зеленые ирландские полуреалии. Знаменитый фотограф, затянутый в кожу, с ритуальной банкой будвайзера у бедра, ищет тело на эту ночь. Уроженец Миссисипи плачет над пятым бокалом кислого калифорнийского шабли: на психоаналитика нет денег. Мотоциклисты прильнули к “Пакмэн” — еще одной электрической игре. Молоденький длинноносый француз, выращенный монархической бабушкой в Вандее и недавно изнасилованный в Маниле, пьет с видом разочарованного ожидания абсент: — “Быть искренним с самим собой? О, необычайно трудно!”. Художник-концептуалист, бритоголовый, похожий на балду с последней парты, выпитывает голубыми кельтскими глазами натюрморт с опрокинутой пепельницей.

В Купер Юнион, где снаружи зеленый мистер Купер созерцает в филантропической печали бродяг Бауэри, а внутри Линкольн некогда толковал о чем-то, что, впрочем, никогда не сбылось, по пятницам дают концерты “апплифтинг” музыки, бесплатно, для бедных снобов.

На перекрестке улиц живет и трепещет барахолка. Стоит черный куб. Его можно раскрутить — при желании. На одной из сторон куба надпись: “Imagine”. Точно такой, только поменьше, я видел в Риге. Он назывался “Неотвратимость”.

Во время от времени горячей церкви Сент-Марк с романтической колокольной — совсем как в Калуге — кружки танцев, медитации, керамики, поэзии, реинкарнации и суфизма. По двору бродит двухсотлетний призрак нью-йоркской дамы. Напро-

тив, в "Театре фор зи Нью Сити" борются за разоружение и нон-конформистское искусство.

"Только гражданская война освободит граждан", — значит-ся по-испански на белой стене Похоронного бюро.

Лили начинает писать первые страницы этого романа минувшим летом. Она приезжает вся в лиловом, в бледном после перелета лице.

— I've got you somebody! — кричит таксист на повороте узкой дороги, у псевдостаринной епископальной церкви. Бурундучки хоронятся в бурьяне. Залив пахнет гнилью, солью. Камыши остановились, почти засохли. На зеленой мели повис парус. Лили роется в кожаной сумке маман, где всё всегда на дне. — Будет ли благоразумным помещение капитала? Особенно в свете прошлых ошибок.

Мы идем в гору, задыхаясь от жары и жажды. Кое-где уже лег желтый лист. Небо по-сиротски сине, одномерно и далеко.

— Мне нравится "Плексус" Миллера. Я живу в Вене скорее как овощ, нежели как человеческое существо. Я абсолютно одна. В этом есть свои достоинства. И свои недостатки.

Мы минуем заброшенную железнодорожную станцию, обвитую желтофиолью и осыпающимся клематисом. Подо ржавым, без языка, колоколом дремлет дряхлый сын последней смотрительницы. На трухлявых шпалах сидит любопытная ящерица, стоят горшки с бегониями и геранью. С неременной американской петунией. Пахнет прелым деревом. Прошлым, которого не было.

На Лили свободная блузка. Как всегда — фиолетовая. Черная юбка. Она ловит мой взгляд.

— Я стремлюсь достичь самоупражнения. Особенно летом. Но, увы, это не всегда удастся. Выбирая, что надеть, всегда вспоминаю парадокс Зенона — Ахилла, настигающего, но так и неспособного настичь черепаху. Ах, Боже мой, простота — это тоже борьба!

Мы задыхаемся в испарениях американского летнего вечера. В кустах и траве вспыхивают и гаснут светящиеся жуки. Стучат кузнечики, будто запущена тысяча ткацких станков. В огоро-

де гуляет угрюмая кошачья парочка — Локи и Дэви.

— Ты должен быть в Вене, в тишине и одиночестве говорит Лили, щуря свои зеленые глаза. — Там никто не спросит у тебя отчета. Ты сам будешь искать, в молчании, оправдание своего существования. Маленький садик перед зверинцем принца Евгения я оставила в полном цвету. Он прелестен! Через какой-нибудь месяц листья дикого винограда побагровеют. К зиме садик начнет дичать. Но несколько цветущих роз всегда ухитряются дожить до первого снега. В Вене снег почти никогда не держится, тает, и под ним — зеленая трава. Боже мой, в мае розы кажутся бессмертными! А в ноябре они так эфемерны. Ужасно... Что ты скажешь о моих утопиях?

В воздухе повис тяжелый запах грозы. Кузнечики изнемогают. Коты подозрительно нюхают траву. Из нее вылез неизвестный американский гриб.

— Я прошу, в сущности, о пустяках. Немного доверия. И больше ничего, абсолютно ничего. Сто лет тому назад я была моложе и наивней. Я ждала — напрасно — письма, которое так и не пришло. Я хранила единственный, *том*, букет. Это была травма на несколько лет. *C'est une autre histoire.*

— "Пророк Илья шел по острым камням, по пыльной дороге, босой. И встретил Лилит со свитой. — Куда направляешь стопы свои? — спросил Илья. — В дом роженицы, чтобы помочь ей заснуть мертвым сном, — ответила доселе не знавшая за собою вины Лилит. Было пыльно, очень солнечно. Пророк Илья рассердился: — Именем Бога, остановись и обратись в камень. — Не делай этого, о Илья! — заплакала Лилит. Тем временем ее свита, родившаяся из винных отжимков, рассыпалась прахом. Крылья Лилит сморщились, сникли, потеряли свою колючесть. Ее зеленые глаза покраснели от слез. И страха. Она была жалка, почти прекрасна: — Отныне я обещаю никому никогда не причинять зла. Сними, пожалуйста, с меня заклятье, Илья. Когда ты говоришь сурово, я дрожу, и мое сердце сильно бьется. Ведь я так могу и умереть. Я буду с тобой откровенна — у меня много имен, вот они...

— Илья был жалостлив, простил. Продолжал свой путь в библейской пустыне, не оглянувшись". Не знал, что Лилит его обманула.

Почему ты это прочел?

Не знаю. Сходство имен, быть может. Лили, Лилит.

2

Старая Наташа бредет домой с букетом душистого горошка, купленным на Палашовском рынке. Все эти много раз искоженные переулки вокруг, где столько всего было за семьдесят лет. За Никитской догорает закат, а на Тверском бульваре чужие, незнакомые, грубые, громкие люди играют в шахматы и домино. Нет, она не забыла, где они все лежат — отец, мать, тетя Соня, тетя Юлия, Даня, компаньоны по преферансу, Юша, старый Эма, с которым было весело ездить на бега. В комоде выдохся запах старого саше, а программы скачек едва пожелтели. Вокруг жаждет со вкусом обосноваться новая жизнь.

Знакомые переулки застраиваются новыми домами — с пальмами, люстрами в холле, со швейцаром, с заграничными афишами в сортирах. Но то главное, неуловимое, ради чего новые напористые обитатели жаждут обосноваться здесь, в Тверских и Арбатских переулках, от них ускользает. Рядом с ними оно не держится, норовит поскорее умереть.

Наташа не любила Питер. Воспоминание от Питера — пронзительный ветер вдоль проспектов, тетка Юлия на Лесном. Лорнет на золотой цепочке, там же — сердоликовая печатка дедушки — богоискателя, мореплавателя, астронома, русского немца. Бесконечная анфилада полутемных комнат, вздохи старых невидимых кошек, плюшевые, пыльные подушки на широких диванах. В гостиной — масло сороковых годов; баба в кошке, дремлющая под потемневшим пыльным стогом.

Отец, пучеглазый Александр Александрович, приезжал к тете Юлии с визитами — кадетом, женихом. Пил чай из серебряного самовара. Играл в вист с тетей Юлией и соседом — старичком-сенатором. Привозил Надю, невесту. Тетя Юлия вежливо слушала, как, положив платочек с нюхательной солью на крышку рояля, невеста играет Шопена. Тете Юлии Шопен не нравился, но у Нади был свежий цвет лица. Тетя Юлия сочла Надю безопасной и благословила молодых. Ушла в спальню, долго плакала и переписала завещание, оставляя все тому, что родится у Саши.

Потом Надя приехала в Питер из летних лагерей, из Аракчеевских казарм на Волхове, располневшая, уже совсем некрасивая — рожать. Тетя Юлия обратилась к своим христианским чувствам, нашла правильную акушерку и стала крестной матерью Наташи — крикливой, краснолицей, точной копии отца. Тетя Юлия огорчилась, но завещания не изменила. Потом родился маленький Саша и тогда тетя Юлия все переписала на него. Саша подрос, сам стал кадетом и юнкером, приезжал к тете Юлии пить чай за серебряным самоваром и играть в вист. Он был по-модному красив, с тонким носом и губами жиголо, похож на официанта с салфеткой. Тетя Юлия его обожающе разглядывала в пыльный лорнет.

Александр Александрович ходил в офицерский клуб играть в шахматы, на любительских музыкально-драматических вечерах читал вслух поэтов Шумахера и Ратгауза —

Тебя случайно встретил я,
Ты погибала среди разврата,

а в тесном офицерском кругу — "Луку Мудищева". В Аракчеевских казармах на Волхове. В Ломже. В Рязани. Во Владивостоке.

Родились Верочка и Юрочка. И скоро умерли от детских болезней. Их похоронили над Волховом под недолговечными деревянными крестами. А артиллерийскую бригаду Александра Александровича перевели в другой городок. Тетя Юлия так и не успела к ним привязаться...

У Дурасовых в зарайском имении отцветала сирень. Наташа накрывала шалью зеленую лампу в мезонине, чтобы со двора не увидели хозяева (боялись пожара) и читала ночи напролет. Пшибышевского, Гаршина, Тетмайера, Брюсова, Мережковского и, когда совсем уже ничего стоящего под рукой не было, Четьи-Миней митрополита Макария в пахнущем ладаном старинном переплете с коваными застезками. Перед домом по дорожке вокруг клумбы с петуньями ходил домовый. Гапка, горничная, его боялась, а Наташа, по молодости, совсем не слышала. Она засыпала в тихом утреннем дремотном сумраке, пе-

ред первыми птичьими песнями и не успевала увидеть, как приходил северный, путавшийся в щучьих тучах, рассвет.

Проснувшись после полудня, она шла на пруд, за деревянный забор, в купальню. Долго стояла на краю мостков, собираясь с духом, а потом прыгала в теплую зеленую воду, зажав нос и зажмутив глаза. Старики Дурасовы ждали ее за самоваром в столовой со старинными высокими окнами и дверьми, распахнутыми настежь в сад. Наташа выходила к ним свежая, некрасивая, молодая, с особенным деревенским запахом — кошеной травы, легкой гнили пруда, молока, хлеба, полевых цветов.

Со стен глядели другие Дурасовы в пожухлых зеленых и красных мундирах — целое семейство бригадиров, — и их жены в высоких париках, с фиолетовыми щеками.

— Все-таки деревенский воздух несравним с городским, говорила Евгения Евграфовна и принималась за клубнику со сливками.

Закончив завтрак, Евгения Евграфовна грузно поднималась, крестилась на иконы в углу, вздыхала: — Очень я люблю преподобного Сергия... И святителя Николая тоже. Ну, а святитель Спиридон, это уж такой мой друг, такой друг.

Владимир Николаевич засматривался исподтишка на Наташу, бормотал себе под нос, попыхивая глиняной трубкой: — Ах, Боже мой, как она прелестна, и душою и наружностью!

На молодой кобыле приезжал в Дурасовку племянник, Сережа Фибих, без пяти минут юнкер. Они с Наташей гуляли вдоль Осетра, кобыла покорно шла сзади. В осоке, в камышах жужжали стрекозы, спасалась от щук мелкая рыбешка, требовательно пищали вылупившиеся птенцы. Сережа говорил о бессмысленности жизни, о том, как стало модно у них в училище стреляться. Он начал тогда писать стихи. Наташа замечала, что рядом с нею он становился особенно неловок.

Надежда Григорьевна застряла этим летом в Рязани. Она устала от бесконечных переездов и решила не ехать в Винницу — последнее назначение мужа. Этим летом в Рязани никого нет. Пыльно. Последние сослуживцы мужа ушли или уходят. Перфильев уехал в Манчжурию. Пескарский уезжает. Горский тоже. Штейнгель разродилась мальчиком и едет к мужу. Вечерами, когда жара спадает, Надежда Григорьевна отправляется с Са-

шей погулять. Музыка в городском саду по случаю траура играет редко. Иногда Надежда Григорьевна доходит до Рюминой рощи, на краю которой в собственном доме живут родители Юши, первой Наташиной любви. Сам Николай Петрович, как всегда, в отъезде, на очередной охоте, Юша — в Москве у теток, дома осталась мать, Анна Петровна, с младшими дочерьми.

От скуки Надежда Григорьевна пишет Наташе каждый день письма. Ей не нравится Юшино семейство, ироническая и безалаберная Анна Петровна, но она старается себя сдерживать — ради Наташи.

— Дом у них не имеет никакого правильного распорядка. Все идет кое-как, а вернее сказать, никак. Вчера весь вечер просидела у Анны Петровны и ушла голодной. Попросила для Саши бутербродик и этим вызвала целую эпоху... Ты меня прости, Наташа, но я буду ходить к ним по возможности редко. Все равно, Юши там нет, а я, глядя на их бедлам, только расстрою свои нервы. К тому же я боюсь оставить дом на глупого Федора. Третьего дня я пошла с Сашенькой недалеко, к Пескарским. А он тут же отправился посидеть к соседу, денщику Горского и всё, представь, оставил открытым. Сказал, что голова разболелась сидеть на кухне. А мог бы, кажется, сидеть у ворот или на парадном.

— Непременно, Наташа, съезди в спектакль. Купи белые шелковые перчатки, они недороги. Надень или все розовое, или песочную юбку с рубашечкой фиалками, с синим галстуком и розовым кушачком, — но лучше все розовое. Причешись аккуратнее и, пожалуйста, поезжай. Обязательно напиши потом, в каком платье ты была.

— Будь осторожна с купаньем. У нас утонули муж и жена. А еще — чиновник Секирин, ты его знала? Купайся у плотиков, у мостков. И ради Бога, не спи одна, а попроси какую-нибудь горничную, хотя бы Гапку.

— Если скучаешь — напиши откровенно. Скука вредно отзывается на здоровьи. Хотя и в Рязани скучища ужасная... Провозили с Кавказа гроб наследника. Галя, Юшина сестра, возлагала венки от гимназии. Никого больше не нашлось, все в разъезде. Я ее причесывала. Давка, никто ничего не видел. Да и

видеть было нечего. Государыня не выходила, а гроб стоял в вагоне... И пожалуйста, Наташа, бери все что можно от деревенской природы. Нервы у нас обеих расстроены порядочно, так надо, чтоб за лето нервы хорошенько окрепли...

Александр Александрович не может привыкнуть к Виннице, хотя там уже составились свои партнеры и в преферанс и в шахматы. Этим летом у него на холостяцкой квартире живет Соня, сестра Надежды Григорьевны, молодая полнотелая вдова с маленькой дочкой и скромными средствами. Ей тоже не нравится Винница, но надо как-то дожить здесь до осени, когда можно будет двинуться на следующий бивуак — к брату в Ново-зыбков.

— Стоянка моя очень печальная, — жалуется Соня сестре, — главное, нет подходящего общества, всё офицерство — из запасников, только и мечтают отсюда поскорее удрать, и почти все женатые. Жизнь моя протекает чересчур спокойно — ни цели, ни занятия...

Ах, как они любили баллады Шопена, эти бабушки. И чтобы быть во всем газовом. И на каком-нибудь сочном зеленом лугу. В розовой шляпке. Рядом — офицер в белом летнем кителе. С усами. Рояль, вынесенный на балкон. Поникшая крупная сирень в хрустале, наломанная утром в саду. Жирные черные ноты Юргенсоновских изданий. "Чтец-декламатор", открытый на "Сумасшедшем" Апухтина или — "В лесу над рекой жила фея". Простывший стакан чая с плавающей тонкой лимонной долькой. Красные тюльпаны на суровой летней скатерти, постеленной впервые в июне на дощатом столе в саду, среди оживших после долгой зимы березовых стволов.

3

Вот они расставляют юпитры на заплеванной улице, пахнущей марихуаной и гнилыми бананами. Негр с золотым кольцом в ноздре настраивает томительную виолончель. Флейтист покрывает черным платком кобру, свернувшуюся кольцом в футляре. Белобрысая скрипачка в выцветших джинсах способна на фальшивые звуки. Душной, сиюминутной ньюйоркской

ночью Гендель звучит еще тревожнее, чем под прошлыми бе-резами.

На асфальте отпечатано белой краской — "Война кончилась". И ниже, в скобках, — "Если ты этого хочешь".

Ты временно исчезаешь от меня, Лиза, на своем обнесенном стенами острове, в своем неоновом, дождливом Берлине. Я соблазнен настоящим, помню в прошлом одни обиды или застораживающую пустоту. Томлюсь в отверженности, в самосочувственной ностальгии.

В Гринич Вилидж ветер носит обывки газет — требуются массажисты, эскортисты, писатели на поденную работу, танцоры на всю ночь, секретарши, секретарши, секретарши. По Вильямсбургу бродят черные шляпы и сюртуки хасидов. Между рассеянными плитами, в трещинах асфальта пробивается бурьян. Мягкая белая рука в манжете стучит в глухую, обитую железными скобами дверь, как тогда, в дождливой, затаившейся перед погромами Сморогони. Из верхнего маленького оконца осторожно высовывается бритая женская голова. Чек-аут... На выброшенных на свалку креслах сидят пуэрториканки в папильтках.

В "Кукери" поет неподражаемая Дарданелла. Диодора торгует контрабандными сигаретами у мясных оптовых складов на 14-й улице. Бродят робкие убийцы, гомосексуалисты, разведенные мужья, пациенты Белвью. Выбранный под динозавра панк, озираясь по сторонам, клеит плакат — "Вы держите смазливых секретарш и юнцов для своего буржуазного удовольствия, но час капитализма уже пробил". Андромеда разложила старые кастрюли и поношенные пиджаки у куба на площади, имя которому — "Неотвратимость".

Звонит телефон. Я слышу голос Лили, отделенный от меня океаном и чужим языком. Внизу страдает пуэрториканский аккордеон.

— Мои часы упрямятся. Они все еще показывают ньюйоркское время. Я кожей чувствую влажную жару Манхэттана, а в душе — мягкая предосенняя ясность Пирмонта. Паруса. Герани. Белки. Отяжелевшие гортензии. Оплетенный клематисом Фьюнерал Хауз. Сын стрелочницы, дремлющий на осеннем солнышке среди желтофиолей. А парад местной пожарной команды!

Какая прелесть! Я поняла, как мне всего этого нехватало среди пыльных пустынь Старого Света. В Америке все такое неожиданное, новое, без запаха, без вкуса. Беспмятное, как в первый день Творения...

Лили делает паузу:

— На моих коленях чужая кошка, тоже черная, как твои, но не такая мистическая. Она в меру загадочна, а главное, ласкова. Как хорошо, если бы ты был здесь, сейчас!

Опустив черную старомодную телефонную трубку, Лили прогоняет с колен кошку, смотрит в окно, на голову Алкивиада с отбитым носом на ограде в углу сада и набирает другой номер, теперь уже венский.

— Эс Готт, Поль! Ах, как жаль, Аннелизе нет дома!? Вашему бэби значительно лучше?! Да, я понимаю, трудно писать статьи о правах человека под аккомпанимент невыносимого детского крика... Я нахожу, что Аннелизе могла бы уделять семье больше внимания. Это, разумеется, между нами. Неужели герр Вайсс берет ее ассистенткой в Париж? Да, конечно, я ей дам телефон Жанин. И Мишеля, у него прелестный пьет-а-терр у Сакре Кёр. Завтра мы с нею все обсудим. Мы встречаемся у Захера в ланч тайм — чашечка кофе с венским гато, маленькая женская болтовня, а потом пойдем выбирать новую мебель для вашей кухни. Ага, фроляйн пришла, они так безответственны в наши дни, эти желающие подработать девчонки. Ну, ничего, уже скоро вы сможете поместить маленького Поля в киндергартен к Труди. Майн либер Поль, вы должны хоть немного подумать о себе!

Лили вспоминает кельтские глаза Поля, длинные ресницы, почти мужественный подбородок:

— У меня к вам небольшое дело. Давайте встретимся в "Георге и Драконе" и обсудим, — скажем, в семь!

Солнце заползает за купол Карлскирхе, за приют революционеров — Политехникум. Лили долго подбирает цвета. Останавливается на лиловом и черном. Повязывает шарф — скромное, неназойливое красное пятно. Прощаясь, целует высокий, торжественный лоб профессора Хопфа. Он, как всегда, при галстукe и в тройке — обычная предзакатная венская депрессия. К тому же сегодня дует фэн.

Позванивает, спотыкаясь на этажах, имперский, с зеркальными стеклами, лифт. Брусчатка Мароканергассе блестит после дождя. В Штадтпарке семейство хасидов кормит лебедей. Сбоку жадно жмутся недоевшие рыжие утки. Облетает последняя ива. Дрозды что-то ищут в зеленой траве. Ноябрь.

В "Георге и Драконе" им подает кофе брюнет с влажными цыганскими глазами. За соседним столиком тревожно гогочут венские клерки.

— Я не принадлежу этому городу, — говорит, досадливо морщась, Лили. — Слишком много карликовых пуделей, потерянных молодых людей, старых женщин, невоспитанных полицейских, ненаказанных нацистов. За окном сырой ноябрь, над каналом висит туман, скрежещет подземка, дребезжат трамваи... А как хорош ноябрь в Риме! В это время года там все — театральные кулисы. *Genius loci*, дух места, пребывает в Риме, как нигде больше. А заход солнца! Особенно если смотреть от Тринита деи Монти, надо только встать слева от обелиска. Просветленность осеннего воздуха, чистота, жесткие контрасты, резкие контуры. Вы знаете, Поль, в Риме ко мне приходит особого рода ностальгия — ностальгия по прошлому. И по будущему тоже.

— Да, Рим прекрасен, — вяло отвечает Поль. — Но я предпочитаю Венецию. Венецию кошек, гнилой воды, фарфоровых масок. Венецию Карпаччо, тусклого жемчуга, деревянных арапчат, секретных комнат, таинственных зеркал. Венецию плачущей на мосту Риальто Барберины. Венецию Анри де Ренье и Гоцци.

— Венеция мне всегда была подозрительна, — замечает Лили. — Смесь проказливой жестокости и карнавала. Хотя, впрочем, что такое наша жизнь, в особенности моя, как не эта смесь?

Лили смотрит мимо Поля, мимо окна, мимо канала, мимо венских клерков: "Как жаль, что Европы больше нет! А ведь когда-то это было такое удобное место — для фантазий, для сказок, для приключений!"

Поль и Лили идут по пустому Грабену. Мимо Святого Стефана, чей портал сегодня затянут крепом — хоронят еще одного Эстергази. Мимо Гостиницы Венгерского Короля, мимо случайных пристанищ Моцарта, мимо киндергартена Труди. Мимо капеллы Германского Ордена. Мимо дворца принца Евгения. Ро-

мантически, балетно, совсем как в "Щелкунчике", бьют часы.

— Как хорошо, что ваш Петер будет в киндergartenе у своей тетки, — говорит Лили. — Несомненно, в таком окружении он вырастет романтиком — в готическом дворике, среди **рыцарских** надгробий, рядом с капеллой.

С предвыборных плакатов на Поля и Лили взирает постная социалистическая физиономия бургомистра Леопольда Граца. Она — всюду. У бургомистра добрые глаза богатого гинеколога из подпольного абортария.

Они садятся в машину и едут в Шенбрунн. Поль предлагает Лили пончо Аннелизе, забытое на заднем сиденье. Он ставит машину в боковой улице под опавшими липами, находит дыру в заборе, потому что парк уже закрыт. В соседнем зверинце воют на сумерки шакалы. Над холодным верхним прудом дремлет грузная "Глориетта".

Лили разрешает Полю ее обнять.

— Вы бывали в Марли, Поль? Там Людовик XIV, больной и, несмотря на все парфюмерии, вонючий, смотрел, как в парке расставляли привезенные из Рима статуи. Помню, я споткнулась о какого-то пучеглазого каменного тритона. Потом ему пускали кровь, клали поочередно в холодную и горячую ванны — какая глупость! — играли мотеты.

— Что было потом? — спрашивает Поль.

— Потом он умер. — Лили вздрагивает, поражаясь цепкости воспоминаний.

— Наш склеп, наша Вена стала теперь модной, — говорит Лили. — Изобрели лихорадочный блеск 80-х годов. Из глупой охотницы за скальпами Марии Вечоры сделали не то Камелию, не то Офелию. А из полуидиота кронпринца Рудольфа — Гамлета. Странно, люди быстро забывают прозаизм минувшего.

Они стоят у Прекрасной Руины. Ненавязчиво сочится вода. Посейдон и наяда мокнут по колено в водорослях. Едва обозначился месяц. Дальний колокольный звон. В зверинце задумчиво завыва гисна.

— В темном холодном дворце Шенбрунна я видел под стеклянным колпаком дохлую пичужку Римского Короля, — го-

ворит Поль. — Габсбурги обладали странным даром делать все вокруг себя неслыханно унылым... В вестибюле множество неразличимых, мелкоголовых дочерей Марии Терезии: какая доила коров в нашем Трианоне?

— Это ее и погубило, — говорит Лили. — И еще то, что Людовик обожал возиться с часами и замками. Мы — патетическая нация.

— Пойдемте, — говорит Поль. — Я не люблю Шенбрунна. Столько липких духов. И тревожней, чем где-либо еще в этом городе и без того полном привидений. Мне кажется, еще минута, и я увижу старого императора Францля, идущего пить кофе к фрау Шратт.

— Да, — вздыхает Лили. С картезианской точностью она считает пульс Поля, — неприятно оставаться наедине с собой. С поучительным прошлым, с трагическим будущим. Ведь вы тоже против строительства атомных станций? Я читала вашу статью в "Ди Прессе". Возвращаясь к нашей первоначальной теме: так вы обещаете переговорить с канцлером о моем русском друге?

Поль обещает. Завтра, нет, послезавтра он будет разговаривать с канцлером об этом русском. И о вреде атомных станций.

Мерседес останавливается у светофора на Маргаретенштрассе. Слева — церковь, где отпевали Шуберта. Перед смертью, в тифоидном бреде, он напрасно скреб стену, жаловался брату, что уже был там, за порогом, и не встретил Бетховена.

"Боже, какой он был толстенький, наивный, нелепый и веселый, страшно бидермайерный. Любил венские сосиски и специалитет-хойригер в уютных кабачках Винервальда. А когда оставался один, всё, даже белая, колышимаая ветром кисея занавесок была ему грустна, напоминала саван, смерть, и он писал свою светло-трагическую музыку. Нет, немцы полны еще больших противоречий и тайн, чем русские... Сколько ненужных знаний, встреч, сколько обременительных старых священных камней", — размышляет Лили.

И говорит Полю вслух:

— Мы превратились в потомственных коллекционеров, не правда ли?

— Этот город, эта Вена — настоящий вампир, — отвечает Поль. — Вена столетиями сосет кровь своих обитателей, великих и

безвестных, ненавязчиво и мило, между прочим.

Лили выпрастывает холодную руку из-под теплого пончо, сжимает плечо Поля.

— Давайте поднимемся ко мне, в мою заброшенную холостяцкую квартиру. *C'est une bonne idée* — выпить по рюмочке Реми Мартэн. Я замерзла. И еще раз хорошенько обсудим, как помочь этому русскому.

— Главное, что отличает буржуа, это его неутолимая, ненасыщаемая неудовлетворенность, — говорит профессор Хопф своему ученику Иоханнесу, сыну винодела из Бургенланда.

Профессор пьет уже десятую чашку чая. Лили все еще нет.

— Колумб, Дон Жуан, Жиль Блаз, шекспировский король Ричард, даже Чайльд-Гарольд — носители этого грызущего себя изнутри буржуазного духа. Моцартовский "Дон Джованни" — изящный вариант все того же. Немного трагический? Да, пожалуй. Он так хлопотливо ищет наслаждения, что ему некогда оглянуться. В Командоре я не вижу никакой мистики. Командор — естественный порядок вещей, требующий к расплате зарвавшегося потребителя. О нет, я совсем не марксист! Меня всегда интересовала только моральная сторона дела. Не могу не признаться, из-за слишком долгого житья среди людей я нет-нет да и заражаюсь суетностью третьего сословия. Забавно, что Вена, Берлин, Париж — три города, ретроспективно пленяющие современный растерянный ум потомков рантье. Или тех, кто хотел бы ими быть...

— Но давайте, майн либер Иоханнес, вернемся к обсуждению той любопытной теории, согласно которой Божественная Премудрость, София, и Змея были одно. А Бог был нестерпимо горд...

Телефон. Констанция, кухня профессора, ищет своего агентинца.

— Нет, моя дорогая, увы, его здесь нет. Мы сидим и калякаем с Иоханнесом. Нет, Мигуэль не появлялся целый день. Разумеется, с его стороны было крайне неблагородно оставить твою кухню в таком виде. Воображаю, сколько тебе стоили все эти приготовления! Не говоря уже о моральных усилиях. В наши дни все ужасно дорого. Чтобы краска не засохла, покрой ее слоем олифы.

Разговаривая с Констанцией, профессор Хопф держит ладонь у своих почти слепых глаз козырьком. Констанция, с полуразвившимся перманентом, сидит на кухне. Красная стена одурающе пахнет свежей краской, другая едва начата, проба кисти — красная решетка на прежнем салатном фоне, отвратительное сочетание.

— Ужасный город, — рыдает в трубку Констанция. Этот город его определенно погубит. Мне кажется, что у Мигуэля приближается приступ. Придется звонить в Буэнос Айрес, дать знать этим бездельникам, его родственникам.

— Да, тебе необходимо оградить себя от возможных упреков. — Профессор Хопф достает огромный черный платок, вытирает выступивший на лбу пот. Иоханнес деликатно рассматривает корешки гностических книг. — Я немедленно свяжусь с полицией и с профессором Шубертом. Ты знаешь, дорогая, методы профессора Шуберта поразительно действенны.

— Ужасно! — рыдает в трубку Констанция. — Опять непредвиденные расходы. И эта красная решетка на стене меня просто убивает!

4

У Юши было лето, долго, несносно тянущееся в душной Москве. Готовиться к переэкзаменовке. Сидеть у теток, слушать их глупости и канареек. Тетя Саша купила новую картину Жуковского: тонкий предпоследний снег, исчезающая в мартовской дымке усадьба. Юше картина нравится. Глядя на нее, он вспоминает деревню. Нигде не казалась ему эта земля ближе, чем там, в такую вот мартовскую оттепель, в теплые сумерки без звезд.

Лето в Москве. Тарахтенье пролеток, сменившее запечатанную зимнюю тишину. Извозчик Агафон в летнем кафтане, с блестящей на солнце бородой, на углу Бронной, у Иоанна Богослова.

— Пжа, пжа, барин!

— Я, пожалуй, пройду пешком до вокзала. Мерси.

Наташа пишет: "Приезжай, дорогой, милый, жду тебя с большим нетерпением. Смотри, чтобы какая другая не запута-

лась в колесо, а то будет плохо. Не пишу тебе больше потому, что сейчас сенокос, так теперь только раз в неделю ездят в город, и сейчас отправляются”.

В Ильинском ждет сестра Зина. Варит варенье, борется с пылью, с мухами, воспитывает детей. В Звенигороде, на косогоре, в затейливой резной даче над мелкой Москвой-рекой ждут Барановские — играть в любительском спектакле “Дни нашей жизни”. У Барановских дочь Аля, ей в этом году сравнялось двадцать.

Хочется поехать к Наташе, в Дурасовку. Володя Мельгунов уже там, в соседней Мельгуновке, и Фибих тоже. И Бог знает чем занимаются в его отсутствие. А еще хорошо, чтобы сразу был август и переезжаешь позади. Взять собаку и отправиться в пустую этим летом Матвеевку, под Сапожок. Побродить по выгоревшим палевым полянам, где дед, отставной корнет, учил первой охоте по перу. Где Юша таскал за ленивым дедом тяжелый ягдташ, где он помнил их привалы с нескончаемыми охотничьими рассказами. Дед, крихтя, садился на обросший кустиками жухлой земляники пенек и говорил: “Ну, теперь давай по-врем”.

В тех краях Юша впервые в жизни испугался.

Солнце садилось в поспевшие поля. Юша ушел далеко, в Голиковский лес с отцовской Альбой, с бельгийским ружьем, привезенным Николаем Петровичем с Выставки, тяжелым, но бьющим наверняка. На лесном болотце подбил бекаса, так себе, тощенького — Альба подняла. В подлеске, в осиннике оглядел тетеревиные места и лучшие к ним подходы. А выйдя в поле, напугал странницу Матрену, собиравшуюся заночевать в стогу. Она прокричала ему вслед:

— Антихрист из ада выступил со всем воинством! В аду теперь никого не осталось, один Иуда сидит сам-друг. Антихрист в бороде и красоты неизобразимой!

Матрена прорицала ту же новость и перед домом в Матвеевке. Папá послал ей рубль — “Ну что за дура, баба!” Старшие сестры презрительно пожимали плечами. Одна маленькая Танюша страшно огорчилась, плакала ночью от страха в подушку.

Юша дошел до конца поля. Здесь хлеба были сняты и увезе-

ны. Воздух стоял чист и тих, за косогором, со стороны Матвеевки, пахло едой, дымом, жильем, блеяли овцы. Юша миновал Гвоздецкий дуб, под которым прадед будто бы зарыл сокровище, золото, принесенное из турецкого похода. Подумал: — "Вот хорошо бы как-нибудь отрыть!"

Спустился в заросшую ивняком лощинку с пересохшим за лето ручьем, и встретил серого, с грязным задом барашка. Барашек посмотрел на Юшу грустными глазами. Альба почему-то не лаяла, юлила сзади, поджав хвост. Юше стало барашка жалко, одинокого, в сумерки, в ивняке. Он присел на корточки, заглянул барашку в глаза, погладил:

— Бяша! Бяша!

Вдруг барашек, будто в ухмылке, оскалил длинные желтые зубы. Глаза его сделались злыми и жгучими, он раздраженно прогнул:

— Какой я тебе бяша, дурак!

Юша от страха икнул, упал было на колени, потом вскочил и дунул во всю прыть из ложбины. Впереди неслась Альба. Далеко в поле, у стога, Матрена кричала что-то, махала руками.

У околицы Юша немного успокоился. На балконе сидели сестры, Лена и Маша. Маша читала вслух новые стихи:

Тише, тише совлекайте с древних идиолов одежды,

Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет...

У мамы, Анны Петровны, в комнате горела зеленая лампа. Она переписывала от руки "Крейцерову сонату", уступленную на несколько дней мадам Голиковой. В мезонине папá разрезал свежий номер "Природы и Охоты" со своей статьей "Два отъезжих поля по перу". Он первым увидел из окна Юшу, закричал:

— А вот и Юша явился! — И дочерям вниз: — Прекратите бубнить этот вздор!

Через много лет Наташа — бабушка Юшиных внуков. Она хранит в перламутровой шкатулке последние не снесенные в торгсин драгоценности тети Юлии с Лесного Проспекта. Уезжая на каждый раз новую чужую дачу, оставляет шкатулку племяннице-баронессе, внучке тети Сони, тощей машинистке из главка с крупным тевтонским носом, живущей в обшарпанном Кривом

переулке. Вернувшись в Москву в сентябре, обычно подозревает пропажу нескольких жемчужин. Никогда не перечитывает старых писем — отца, Юши, Дани, поклонников-офицеров. По утрам встает поздно, надевает выцветший голубой капот, долго прибирается, потом пьет кофе с разогретым калачом, слушает по радио Шопена и Скрябина, выключает Шостаковича. Последнюю зиму разбирает, наконец, связки старых писем и только теперь сознает, что пришла старость.

Умирает впопыхах, в больнице, так и не успев просмотреть последний сундучок. За окном больничной палаты на Пресне светит яркое, почти теплое мартовское солнце. Ветки деревьев наливаются живым соком. Татарка-няня закрывает еще теплое Наташино лицо с седыми усами и молодеющим лбом мятой простыней. Моей по казанскому обычаю руки. Баронесса, внучка тети Сони, тихо плачет в углу, а потом уходит в собес. Безумная старуха на соседней койке кричит ей вслед: "Позвоните, пожалуйста, Игорю! Они меня тут мучают! Позвоните Игорю!".

В день Наташиных похорон солнце греет совсем жарко. Текут ручьи с Введенских гор близ Лефортовской тюрьмы. На высоких кладбищенских липах нестройно кричат возбужденные вороны. Березы почти проснулись, вот-вот выбросят сережки — в этом году рано, как когда-то давно, в 1905-ом.

Помолодевшее холодное Наташино лицо в простом старушечьем платке недоуменно смотрит в пронзительно синее весеннее небо, на верхушки лип, на еще одну весну здесь, на земле — так невероятно — без нее. Ее ждут кости Юши, Юшиных сестер, пепел нелюбимого пасынка, может, забвение, может, другая радость, о которой она в здешней долгой, хлопотливой жизни не хотела или не умела думать.

5

В Красной гостиной много часов. Со стрелками. Без стрелок. Все — молчащие. То ли ангел, то ли Кронос со спутанными космическим ветром волосами — пленность испуганных временем глаз, безнадежно повисших на медном маятнике. Я пробовал починить эти часы. Они вдруг пошли; упрямо, неумолимо два дня звенели глубоким старым звуком. Ангел-Кронос в

панике метался над мраморным бюстом фрау Матильды, девочки с детерминированным взглядом будущей парижской рантье, тревожно глядящей в окно, на венские шпили, в чужой мир. Ей так и надо было остаться в мраморе девочкой, этой сухонькой цепкой женщине без возраста с безвольным мужем, готовящим бесподобные сотэ.

Какое это счастье — никого не видеть рядом. Не писать завещаний. Жить своей жизнью. Редактировать манускрипты отца. Писать бесконечно долгую книгу об Эгоне Шиле. Реставрировать доставшиеся по наследству барочные картины. Посещать мемориальные дежонé в музее. Выпить кофе с тортом у Захера, никогда ничего не готовить дома, и сесть в поезд "Мощарт" с томиком Гофмансталя, чтобы там, на красном плюше первого класса, прочесть: "Мы должны удалиться от треволнений этого мира, прежде, чем он совсем распадется. Многим это уже понятно, и ощущение будущей трагедии делает из них поэтов!..."

Стрелка, большая тяжелая стрелка не выдержала и упала, завалявшись за ампирный комод с белым мраморным бюстом фрау Матильды. Ангел-Кронос снова застыл во временном небытии.

— Это моя мама, — говорит Лили. — На этот раз мне не слишком повезло с родителями. Я всегда чувствовала себя приемышем в этой семье. Хотя, кто знает...

В длинных, суперамериканских переходах аэропорта я впервые узнал приступ смертельной тоски. Потерялся среди тягучих слов, стрелок — "Анкунфт", "Аускунфт". На бесконечной ленте эскалатора вновь пришло цепкое желание остановить время — чтобы все всегда жили, и были дружны, чтобы вещи неизменно пребывали на своих старых местах. На медленно ползущей ленте эскалатора меня вновь посетило тревожное чувство будущих утрат: неотвратимый бой часов на университетской колокольне, женское лицо, прижавшееся к мокрому стеклу подмосковного дома; болиголов у автобусной остановки в Скалистых Горах — белые засыхающие зонтики воспоминаний, подслащенные чернотой осыпающейся ежевики...

В Европе все еще живет романтика живого стекла, старо-

модные крахмальные скатерти гастштетте, глинтвейн с корицей, тысячелетний источник между двух уцелевших от бомбежек домов пятнадцатого века.

— Как перелет? — спрашивает Лили.

— Мне было трудно уезжать, — говорю я.

— Понятно. А мне — легко. — В ее голосе нет обиды. Одна картезианская ирония, взвешенность слов. Ты успел получить засушенные цветы? И открытку с единорогом? Тебе должен понравиться единорог, столь неотступно глядящий через стену — что же, в самом деле, происходит в этом средневековом городе? Но город хорошо охраняется, у него толстые стены, мощные башни, и проникнуть туда трудно. Я тебе не писала, но в прошлый раз мне было легко уезжать. — Тонкие губы Лили кривятся в усмешке. — Когда-нибудь ты мне расскажешь о Лизе... По дороге в аэропорт я оглянулась. Манхаттан плыл в золотистом тумане, в солнечной пыли. В аэропорту пришлось долго ждать. Я выпила бокал шабли, разглядывала отлетающих, прилетевших. Ужасно жалела себя. Но в Вене я вдруг почувствовала, что меня душит. Что, несмотря ни на что, не могу без тебя. На другой день я переводила на конференции по банковским системам.

— Лили. Лилит. Прекрасная служанка. Невеста Самаэля, царя демонов. Строптивая попутчица Адама.

— Об этом лучше поговорить с профессором, — морщится Лили. — Он все знает, или помнит, или думает, что помнит. Перестань жить в своих фантазиях. Мы здесь, сейчас, на этой земле.

— Лилит жила в развилке старой ивы, на берегу Евфрата. Жаловалась на бесплодие, на то, что у нее нет молока. В норе под твоим домом обитал средних размеров дракон грязно-зеленого цвета, птица Зу высиживала вверх, над тобою, птенцов в гнезде из ила и веток кизила. Ты, конечно, не помнишь?

Нам обоим хочется верить, что это — мифологическая шутка.

— Я благодарен тебе, Лили. И профессору Хопфу. Вы дважды помогли мне.

— Право, не стоит. — Лили не улыбается. Она выглядит смущенной. Я смотрю на нее и узнаю лицо, которое когда-то при-

жималось к мокрому стеклу подмосковного дома. А через мгновение там, за стеклом, уже ничего не было — просто падали капли дождя с мокрых веток бузины. И, конечно, ты часто приходила ко мне во сне.

— Нечего об этом говорить. Мы считали это своим долгом, — говорит Лили. — Ты же знаешь. Ты этого хотел. Лучше расскажи мне о Лизе!

... На Перри стрит идет снег. На углу продают оддс энд эндс — разноцветные гватемальские вязаные шапочки, пушистые крашенные хвостики, трубки и папиросную бумагу для марижуаны, самовары без крышек, старые книги, пластинки рок-н-ролла 60-х годов.

— Ты любишь мечтать? — спрашивает Лиза.

— Я не умею.

— А я умею. Хочешь, помечтаю вслух. Хотя бы о Берлине.

Ты пьешь свой кампари, Лиза, в "Пиано баре", здесь, в Нью-Йорке, рядом с Шестой авеню, и видишь себя сидящей в Римском кафе в Берлине за чашкой остывшего кофе. К твоему столику подходит Мария Магдалена. Шуршит довоенными шелками юбки. Она только что с репетиции девочек Руди Нельсона. У нее подмышкой моралитэ Гофмансталя "Простак и Смерть" — репетировать для показа у Бертольда Хельда. Она допивает холодный кофе из твоей чашки. Выкуривает полсигареты в длинном кизиловом мундштуке. За соседним столиком русские спорят, кричат, пьют чай.

Вы выходите в сиреневую зябкую берлинскую ночь, идете по Курфюрстендам, стоите, замороженные, у отеля Адлон — сколько красивых господ, и дам, и машин с лакированным верхом.

Ты рассказываешь о своей последней ссоре с Леоном, с твоим безработным уланом, которого ты любишь уже целых два месяца. Мария Магдалена покупает жареные каштаны. Она шепчет тебе в ухо: "Он не стоит тебя, этот бесчувственный солдафон". Вы долго ждете трамвая. Зябнут ноги. Каштаны в твоей ладони еще хранят тепло. Под фонарем искрится первый снег.

— Ты знаешь, о чем я мечтаю? — вздыхает Мария Магдалена. — Я хочу выйти замуж, купить маленький хутор, родить

пятерых детей сколько получится. Разводить цыплят.

В холодном пустом трамвае вы едете домой, в пансион фрау Михельсон. В пансионе розовые и оранжевые абажуры в ржавых пятнах. На облезших диванах по углам томно шипят огромные пастелевые коты. Мария Магдалена забегает к фрау Михельсон — погадать на грядущий день. В щели своей двери ты находишь визитную карточку Леона с баронским гербом. На обороте написано: "Их либе дих. Иммер"...

Пятница в Нью-Йорке. Без меня. Ты уже давно ищешь квартиру подешевле. Сегодня ты, наконец, дочитываешь "Вилидж Войс". Опять ничего. Тебя все еще развлекают объявления на последней странице — "Кто сыграет мадам фон Мекк для моего Чайковского?"; "Экстремисты Эдди желают убить всех тараканов Нью-Йорка!"; "Счастливого дня рождения, паучок!"; "Берегись апрельских дураков — они самые опасные!".

Ты выходишь на улицу. К Вилиджу подтягиваются стада крикливых юнцов из Нью-Джерси. Они вываливаются из своих машин в грязь и пот Манхаттана, как соскучившиеся моряки на берег в веселом порту, вразвалку, с пивом наперевес, с молодым зудом. По мостовым катаются, гремят пустые банки. Молодые экзекутивы уже сменили тройки на выцветшие джинсы. Сегодня вечером — определенно — мир принадлежит им.

У Макдональда холмами встали черные пластиковые мешки с мусором. На Одиннадцатой улице — тихий, вечнозеленый, незаметный пятачок — еврейское, португальско-испанское кладбище 1800 годов. Кто смотрит теперь за могилой твоей бабушки, Лиза, на Пэр Лашез?

Алгонкин в гватемальской шапочке бренчит на гитаре испанские сегидильи. Нищий везет на розовой тележке обезьянку Мари. У нее пиратская серьга в ухе, розовое сморщенное личико. За 25 центов Мари предскажет судьбу на сегодняшнюю ночь. "Поцелуй меня, пожалуйста, Мари!".

Ты знаешь наизусть эти помешанные на настоящем улицы. Керамическая мастерская в подвальчике. Пицца Стромболи, где месят тесто албанцы. Корейские зеленные лавки. Панки на ступенях бывшего "Нового Мира", откуда Троцкий сорвался за

океан — уничтожить Россию. Впрочем, этого ты, Лиза не знаешь. Печальная, страдающая одышкой жирная бульдожица, распластавшаяся на тротуаре перед клубом ветеранов. "Церковь Реализованных Фантазий — Его Святейшество Папа Майкл I — Анархия начинается дома". Лихо выруливающие из-за угла русские таксисты, спешащие заработать на дом в Вестчестере или Нью-Джерси. И опять собаки, собаки, собаки...

Ты идешь по Восьмой улице. Разглядываешь витрины. А что, если случится невероятное и тебя кто-то окликнет —
— Хэлло! Как вы себя сегодня чувствуете?

Ты оборачиваешься. Ты редко знакомишься на улице, Лиза, но сегодня тебе это необходимо.

На углу Третьей авеню и 14-ой улицы инфантильные голоса волонтеров Армии Спасения звучат в слаженном унисоне, как если бы пела одинокая алюминиевая тарелка. Вы заходите в "Медовое Дерево", в "Камень переговоров", и к "Молли Мелуун". В промежутке рассматриваете подушки-думочки Новой Волны в "Дикой игре". Превозмогая отвращение, ты пьешь свое третье пиво. Бродяга бросается на красный свет. Визжат тормоза серого мерседеса. Звенят стекла. Бродяга мячиком подпрыгивает в воздухе и через полмгновенья застывает мертвым мешком на асфальте среди битого стекла. Из машины вылезает красавица с длинными соломенными волосами, в истерике молотит унизанными кольцами кулачками по капоту мерседеса. Что это — плохое предзнаменование?

— Бедные неприятны, — говорит твой новый друг, — и не потому, что они — бедные, а потому, что они хотят быть богатыми.

Он начинает тебе все больше нравиться, Лиза, этот твой новый знакомый. Кажется, в нем есть что-то экстраординарное. Хотя бы имя. Его зовут Джон Сведенборг. У вас с ним общие северные корни. Он не носит джинсы, любит природу, родом из Канзаса. Занимается продажей автомобилей.

— Публика больше не интересуется автомобилем как сексуальным объектом. И вообще кругом трудные времена. Но это для денег, а для души — растения и искусство.

Когда вы входите в "Джим Макмалленс", все оборачиваются. И это придает тебе, Лиза, больше уверенности в себе. Тапер

играет рэг-таймы 20-х годов. Ты вспоминаешь "Голубого ангела" Марлен Дитрих, "Луну над Алабамой".

У Джона несколько приятелей в этом баре. Маленький поэт с губами цвета кетчапа и отросшей косичкой на стриженном затылке. "Мамаши, не позволяйте своим детям вырасти ковбоями. Это грубо". Томми — пролетарский писатель в косоворотке, тельмановской кепке и с горьковскими усами. Джи Джи — гарвардский выпускник 50-х годов, герой бесчисленных посвящений к неконвенциональным поэмам 60-х. Ты удивляешься, отчего это у всех Джи Джи всё всегда в прошлом, и всякий раз они начинают новую жизнь именно сегодняшним вечером. Барбара Стилл в Париже с ее вельветовыми занавесками — в прошлом. Знакомство с Энди Уорхоллом — в прошлом. Перс, подрядивший везти гашиш из Парижа в Тегеран, тюрьма в Стамбуле — еще что-то из серии прошлых жизней.

Джон ловит такси на углу и шофер в белом тюрбане мчит вас в Джермантаун. После любви Джон показывает тебе свой сад на крыше — циннии, сирень, помидоры. Астры. Он вспоминает свое детство, сонную прострацию его американского городка. Первую пресвитерианскую церковь с белыми колоннами. Старый догвуд рядом с бабушкиным домом. Кладбище автомобилей, где интересно было играть в прятки. Склад старых вывесок. Салун "Лошадиное Перо". "Кентакки фрайед чикен" и бензоколонку на хайвее. Алюминиевый дайнер. Антик-шоп и его содержимое — детские качалки, сломанные кассовые аппараты, индейские перья, ароматные свечи, стеганные разноцветные одеяла, пахнущие молью.

Мать, умирающую от рака в старом бабушкином доме. Последний его приезд в этот городишко, в этот дом. Он пришел к матери в полутемную комнату, уткнулся головой в худые колени и заплакал: "Я никогда ничего для тебя не сделал, мама! Я никогда не прислал тебе даже коробки конфет!". А она сказала, глядя его желтые волосы: "Нет, Джон, ты неправ, ты много для меня сделал, мой мальчик. Ты научил меня думать".

Ты слушаешь Джона Сведенборга, Лиза, и думаешь, что все-таки лучше никогда не знакомиться на улице.

— Я обязательно позвоню, Джон, — говоришь ты, уходя. И оба вы знаете, что никогда не позвонишь.

6

Этим летом Наташа на даче в Акуловке, с мамашей и братом-кадетом. Они окончательно перебрались из Рязани в Москву и прожили весну в меблированных комнатах в Лубянском проезде, в доме Стахеева. Александр Александрович пишет каждый день из Ломжи — там скучно стоит его артиллерийская бригада. Он хлопочет об отпуске, следит за успехами Саши, беспокоится, чтобы тот не разбился на велосипеде, просит Наташу: "Не бравируй на даче и соблюдай правила гигиены". Иногда Александру Александровичу кажется, что его забыли. Накатывает обида на жену и детей, тянущих из него деньги.

Наташа готовится к экзаменам в консерваторию, укрепляет голос, ест сырые яйца, пьет сливки. Надежда Григорьевна аккомпанирует ей на расстроенном пианино, уступленном соседкой-дачницей. Руки уже не те, а когда-то была лучшей ученицей.

Вечерами слабо пахнет флоксами, душистым табаком. Шелестят ели. Сходит на нет розовая полоска заката. Приходят Порай-Кошиц, студент-естественник в потертой тужурке, и Бернацкий, молодой присяжный поверенный, — сражаться в винт или преферанс на террасе с цветными стеклами, у лампы с оранжевым абажуром. К утру становится зябко. Мамаша уходит, наконец, спать. Молодые люди пьют чай. У Бернацкого на лбу набухает жила. Глотая слюну, он просит Наташу участвовать в спектакле музыкально-драматического кружка "Жизнь дастает": "Ну, пожалуйста, Наталья Александровна, уступите хотя бы в этот раз!"

Наташа во всю кокетничает, но Юша все еще никак не выходит из головы. За лето прислал всего две открытки: убил столько-то рябчиков и куропаток, кругом — прорва мошкары...

Что у них с Юшей было? Любовь? Или просто минула первая молодость. И больше никогда не повторится то чувство, какое у нее было после первого поцелуя в Рюминой роще: неумолимо капало с лип, его губы и лицо были совсем мокры, глаза счастливы и жизнь казалась удивительно прекрасной.

Матвеевка в этом году продается, почти продана. Собрали несколько старых портретов, дорогих воспоминаниями вещей — отвезти сестре Саше, у которой на Никитском бульваре

доживает, пережив свое время отец, Петр Михайлович. Он уже мало что понимает вокруг, сидит в кресле на колесиках, больше в темноте; лишь изредка — среди немых уединенных воспоминаний — блеснет фамильным волчьим блеском его большой выцветший глаз; другой потерян давным-давно, под Севастополем, с помощью хирурга Пирогова.

Николай Петрович тащит свои больные ноги на чердак. Там долго отдыхает в тещином, с вытертыми подлокотниками вольтеровском кресле (она сидела в нем, во вдовьем капоре, когда он приезжал представляться первый раз женихом — и как же давно это было!). Кричит брезгливо Насте, чтобы поднялась наверх и вытерла пыль с сундуков. Выкуривает папироску и принимается за ностальгический разбор. В угол с писком бежит спугнутая мышь.

Сундучок открывается крякая, со скрипом. Николай Петрович достает лежащую поверх тряпья связку бумаг: "Опись брата Ивана Ивановича платью и прочему, что в Озерницком доме мною найдено 1784 года, июня 24-го дня, когда брата тово не стало".

К горлу подкатывает судорожный ком, глаза застилает мокрой слабостью, следующая папироска исходит пеплом. Николай Петрович видит себя молодым, с писаревской бородкой и длинными студенческими волосами. Хор у Ильи Обыденного гремит: "Исайя, ликуй, ангелы поют на небеси". Анюта выглядит грустно и достойно, ей необыкновенно идет белый цвет. Рядом с тещей все ее пять дочерей. Кто-то громко шепчет, целясь лорнетом в Анюту: "Где сей цветок возрос?" Теща приседает: "У меня-с! В имении!".

Солнечные лучи бьют в лики праотцев, высоко, вверху. В бриллианты екатериненского портрета на груди у тетушки, девы Марфы Лаврентьевны. "Кому же из Ржевских и Кошелевых невеста сродни?" — спрашивает тетушка из глубины своего кресла. "Всем! — кричит ей в серебряный рожок павловский вельможа. — А наипаче дядечке нашему, Григорью Ивановичу!".

"Мешочек, в нем разные лоскутья и гарус. Евангелий два. Салфетки и скатерть — оные салфетки по запискам брата Ивана Ивановича значуца для племянницы нашей, Марфы Лаврентьевны... Два веера старых. Письма, писанные от нас — свяска... В

скрыне: часы серебряные, бабки нашей кокошник, крепости и разные бумаги в сей же скрыне... Брата Григорья Иваныча мундир — камзол и штаны алые, армейские. Колет с белыми обшлагами и воротником, алый. Сертук суконный дикова цвета... Турецкий кинжал, пистолетов худых — три. Куб винной и с трубою..."

Николаю Петровичу становится мучительно, безысходно. Нет, это не прошлое. Хотя и прошлое — тоже. Надо платить в институт за Танюшу. Хотя что-то дать Андрею, едущему с молодой женой на первую службу, в Плёс, в Казенную Палату. Заплатить портнихе за платье жены и дочерей, уезжающих к родичам в Питер. Послать Леве в душевную лечебницу, чтобы там за ним лучше смотрели. Наконец, определить что-нибудь Коле и Юше на житье в Москве, пока туда не переберется все семейство.

Хорошо опять стать молодым. Иметь одностволку, желтогопегого сеттера Боя, жену в первой беременности, здоровые ноги. Будущее в ленивой дымке чего-то бесконечно приятного, покойного, незыблемого, полного жирных тетеревов на вырубках, заячьего гона в полях по первой пороше, хороших, еще неразрезанных книжек, тихих летних вечеров на балконе с колоннами — за чаем, ликерами, длинными охотничьими историями.

Кряхтя, Николай Петрович спускается с чердака, дает Насте себя почистить от пыли и паутины и говорит жене, пьющей чай в неуютной теперь, с вынесенной мебелью, столовой: — Напиши своим ученым дуракам, Анюта. В архивную комиссию. Пускай присылают телегу за всем этим верхним хламом — пока не пошли дожди.

Юша, наконец, послал прошение в университет, на юридический, — ведь надо же куда-то записаться. Тетя Саша позвала мужа, доктора Лезина, поповского сына с крупными, красными шершавыми руками, и велела оделить племянника екатериненкой — на летние нужды. С чувством поцеловала Юшин смуглый лоб, щеку: "Фу, шершавый!", Пухлые губы сложились сердечком, в ухе блеснула сапфирная серьга: — Господь с тобой! Ты уж к дедушке не ходи, не надо.

Доктор Лезин ушел в кабинет. Раздраженно пошуршал в кожаном кресле "Биржевыми Ведомостями", вышел во двор, распек дворника. Совершил моцион по Тверскому. Раскланялся кое-с-кем-из-незначительных. Устал. Взял у Страстного извозчика — свезти себя на Неглинную, развеяться сладким в кондитерской Трамбле.

У Юши первая в его жизни собственная собака Плутон — головастый, приземистый, с глазами на крови губошлепый лягаш. На плече у Юши ягдташ, купленный в Пассаже. Там лежит убитый сегодня рябчик. И письмо Наташи, перепачканное птичьей кровью: "К чему вся эта комедия, которую ты разыгрываешь? Отчего ты скрылся? Я прямо, Юша, в таком отчаянии, что с ума схожу. Умоляю тебя, напиши сейчас же. Или приезжай объясниться. Ведь все-таки мы столько лет были в хороших отношениях. Любили, кажется, друг друга..."

С Надеждой Григорьевной, матерью, Юша нечаянно столкнулся в Петровском Пассаже.

— Как хорошо, — сказала она, мерцая гарусом — шляпка, пелеринка, — у меня для вас письмо от Наташи. С утра забываю бросить в ящик. — Лицо ее приняло скорбное, пасторское выражение, углы губ опустились:

— Как жаль, что у вас с Наташей всё так... недружно пошло. А, вы на охоту? Что ж, желаю во всем удачи. А мы этим летом в Акуловке, на даче. Здесь, недалеко...

В лесу пахнет смолой, грибами. К резиновым ботфортам налипли иглы, мох. За шиворотом шевелится безобидный паук и щекочет. Сзади плетется родственник, лицеист Коля Елалич, сбивает носком сапога красные шляпки мухоморов. К его серой тужурке и зеленым брюкам пристала лесная паутина, ладони в чернике. Плутон рыскает далеко впереди. На вырубке он вдруг заливается лаем на барсучью нору, вспугивает растерянную терку. Та тяжело, с отвращением поднимается, улетает в угрюмые дальние ели. Стрелять поздно. Далеко, должно быть в пустыньке, бьют в било — косить отаву, грести.

Елалич рассказывает Юше тезисы своего годового доклада "Значение красоты в наши дни". Он готовит его для какого-то

питерского религиозно-философского кружка.

— И опять вспоминаются слова Леопарди, — бубнит за Юшиной спиной Коля, — так, сами по себе вспоминаются, ибо очень уж они хороши и красивы. Леопарди сидит и смотрит в поле, на дальнюю изгородь. За нею — беспредельные просторанства. Сверхземные молчанья: "Моей мечте является покой ненарушимый. И сладостно тонуть душе в безмерности молчащей".

— Что за чепуха у него в голове, — думает про себя Юша.
— Что за вздор.

Они выходят, наконец, в поле. По дороге, по жнивью гуляет стоя голубей-сизарей, подбирая оставшиеся зерна ржи, упавшего с воза гороха. За полем видна колокольня Телегиной пúстыни, блестит крест. Небо вокруг будто стеклянное, залитое жидкой, сквозящей огнем позолотой.

— Это похоже на предвозвещенное изменение стихий! — восторгается Коля.

Прислонившись спиной к сосне, у дороги дремлет странник. Юша вскидывает ружье. Тщательно прицелившись, стреляет. Голубь бьется на соломе с перебитым крылом. Странник открывает голубые глаза и кричит высоким голосом:

— Измаяли вы меня, окаянные, душу вымотали! Всю службу испортили!

Далеко в поле Плутон заливается неистовым лаем.

В пустыне их поят квасом. У свежебеленой стены трапезной на лавочке сидит старый монашек, крошит голубям хлеб.

— Ты не из цыган, барин? — спрашивает Юшу монах. — Больно смуглой.

— Из татар, из Орды, — отвечает Юша. И вереница Шигалеев, Бахтияров, Киринбеев и Махмутяков предстает перед ним — в лисьих малахаях, с раскосыми глазами, крупными скулами, на приземистых лошаденках, стреляющих в мещерских, мордовских, финских лесах зайцев, вепрей, тетеревей.

— А ты, братец, поди, ученой? — спрашивает монах Колю Елачича. — Животик у тебя маленький, заморенной. Небось, учился всю жизнь. Да как жив остался?

— Давно ты здесь, отец? — спрашивает Юша.

— Да вот уже с лишним сорок лет. Тридцать в подвиге был.

И столп прошел. Травую снитью питался. Я, человек, — бого-молец с детства.

К монаху подошел кот, потерял худой мордой.

— Ишь ты, любезной, тоже пропитания взыскуешь, — говорит ласково монах. — И кот ждет своей доли от Божьих щедрот. Что же, пошли, любезный, чай пить. Я тебя пескарем побалую.

Монах тяжело поднимается на слабых старческих ногах, ковыляя, идет по дорожке. За ним, хвост трубой и сладко мурлыча, следует кот. Вдруг старец, будто вспомнив, оборачивается к молодым людям:

— Я вам, господа, предложу загадку. Скажите, который из двух составов вы бы пожелали избрать — соломину или жемчуг?

Юше все равно. Ему лень думать. Коля Елачич спешит с ответом:

— Соломину, отец! Жемчужина растворяется в уксусе. Утопающий хватается и за соломину.

— А она возьми и сгни! — Старый монах складывается пополам в лукавом смехе. — Ты уж, пожалуйста, батюшка, не тони, никак не тони!

Приехал рябой татарин Мехметка, объездчик у Елачичей, на каурой кобыленке и привел с собой двух лошадей.

— Пора домой потянуть, давно ждут к ужину!

Проехали полем, лесом, парком. Показались флигели усадьбы. Запахло свежим хлебом, самоварным дымком, коровьим навозом, снedyю. Две девчонки-подростка, Рина и Тася, младшие сестры Маши Ржевской, сидевшие на ветлах, увидели их издалека, закричали, оповещая взрослых на балконе.

— Едут! Едут!

Сама Маша Ржевская, кузина, новая любовь Юши, сидела с томиком Майн Рида на ступеньках дома. Острое, цепкое чувство принадлежности этой земле, этим людям, этому воздуху, этим запахам захватило вдруг Юшу целиком. Он любил теперь всех и всё вокруг, до последнего рябого Мехметки, плетущегося позади на своей кривонogой кобыленке.

Все это была Россия. Липовый цвет в июле. Странники с редкими бородачками, с голубыми глазами. Душистая малина на вырубке. Иван-да-марья на полянах. Монастырьки в полях,

за меднозеленым бором, где в сумерках ухает смиренный филин. Стрекот лягушек в теплых лесных бочажках, зарастающих сочным аиром. Лай дальних собак. Гогот тянущих на ночлег уток. Старуха на дальнем, пахнущем пекарней и тиной близкого пруда, повороте: "Батюшко, на дороге-то не балуют, а?"

7

Китайский ресторан напротив серой длинной громады Альгеймайнес Кранкенхауза. На запорошенной снегом крыше больницы — несколько черных ворон. Иоханнес машет рукой из-за большого сугроба:

— Грюссе! Эс Готт! — На Иоханнесе — венская зимняя униформа — грязнозеленого цвета пальто на рыбьем меху нараспашку.

Лили на мгновение смущается, потом встряхивает длинными волосами, отгоняя какое-то воспоминание. На больничной крыше надсадно каркают вороны. За зеркальной стеклянной дверью нас встречает молодой китаец во фраке и ведет за деревянные резные ширмы.

— Здравствуйте, дорогой! — профессор Хопф широко раскрывает объятия, целуется трижды, по-русски.

— Наконец-то вы с нами! Столько волнений позади!

Из-за стола встает Гертруда, смотрит внимательным, испытующим взглядом. Протягивает крупную мужскую руку. Такую руку не целуют, а крепко жмут.

— Грюссе! Вот и вы теперь с нами! — Будто рядом щелкнул капкан.

— Как Лиза восприняла твой отъезд? — наклонившись ко мне, заговорщицки шепчет Лили.

Хопф, по обыкновению, во всем черном — черный костюм, немного старомодный; накиннутый на плечи черный необъятный кашемировый шарф, черный галстук в ненавязчивый белый горошек.

— Прошу знакомиться — графиня фон Гогенштайн!

Графиня вздымает руку высоко в воздух, словно собираясь применить прием каратэ. Путается в шнурке очков, в окоченевшей на худой шее связке ритуальных африканских бус.

Графиня-тринадцатого века, — с удовольствием сообщает профессор. — В пятнадцатом ее предок посетил Россию и написал об этом путешествии книгу. Книга теперь числится среди редчайших инкунабул. Он нашел, что русская музыка меланхолична и уныла, дороги непроходимы, а население ужасно недружелюбно и много пьет. Завтра графиня улетает в Буэнос Айрес на свадьбу своей племянницы.

Племянница — это твоя мать, Лиза. Она снова выходит замуж, на этот раз за аргентинского мясного миллионера с благородной сединой в висках и тонкой щеткой усов, сжегшего свою молодость на океанских лайнерах в веселые тридцатые годы.

— Мы живем на обочине. Маргинально, — шепчет, наклонившись ко мне, Лили. — Ни общество нам ничего не должно, ни мы ему.

Извилистая драконья красота китайского фарфора. Нас отгораживают от мира деревянные ширмы — мудрецы с вислыми усами, в высоких шапках, в лодках, на призрачных озерах, под ломкими плакучими ивами, перегнувшись через борт, чтобы лучше услышать собеседника в другой лодке, обсуждают что-то, несомненно, — метафизическое.

Совсем близко, в немногих километрах, за танками, собаками, вороватыми таможенниками, Махмудами и Петями-пограничниками, окаменевшими лозунгами, портретами правящих мафиози — моя отлученная от мира страна. Толпы у пивных ларьков, осенняя паутина, скуластая мордва, избушки на курьих ножках, пугливые интеллигенты, вышедшие на пенсию бабы-яги, сугробы, свинушки, поганки. И могилы, могилы, могилы.

— Давайте выпьем за эскапизм, — говорит профессор, тщательно пережевывая китайскую макробиотическую пищу. — Кстати, каково ваше впечатление от американского технического эскапизма? Насколько я могу судить из нашего европейского старосветского далека, всё, не связанное с техникой, всякое отвлеченное умственное усилие вызывает у наших друзей-американцев приступ самой обыкновенной паники. Забавно, не правда ли? Эта американская забытость в механическом порядке вещей действует на меня завораживающе.

Мы — напротив больницы-тюрьмы, где столько лет рабо-

тал пугливый, застенчивый доктор Фрейд. Увы, Вена его забыла. И только толпы американских студентов и пожилых дам все ещё текут на Берггассе — поклониться духу классификатора неклассифицируемого. Упорная американская приверженность доктору Фрейду развлекает и злит профессора Хопфа.

— Они наивно воображают, что душу можно починить, как машину господина Форда. Или какой-нибудь станок. Весь вопрос в том, в каком магазине следует искать испорченные детали. Как я, однако, завидую бесхитростной свежести такого подхода!

После третьего бокала гольденхюгеля профессор Хопф просит называть его Германом. Жмурит слепые, за золотой оправой очков, глаза. Мурлычет:

— О, киндер, кру-кру.

От долгого жития среди людей профессор приобрел их привычки и страхи. Позволял себе, для развлечения, быть трусливым в моменты катаклизмов, хотя ему никогда ничего не грозило. Просто, он любил играть в беззащитность. Отсиживался от пруссаков, от французов, от гестапо и бомбежек в чулане очередной свекрови. Когда все утихало, выбегал из своего подземелья приветствовать первого французского, немецкого, советского солдата, как когда-то — первого гунна или турка, — на всякий случай, из врожденной любви к лингвистике, законопослушанию и новым знакомствам.

— О, не привыкайте к нам! — восклицает слегка захмелевший профессор Хопф. — Не привыкайте, пожалуйста, к Западу. Сам я так давно обитаю здесь, так привык, что иногда с отвращением ловлю себя на том, что мне нравится эта удобная жизнь... Но нет, уж если быть совсем искренним, мое сердце принадлежит пятнадцатому веку. В Вене есть несколько улиц. Там я чувствую себя почти дома — насколько это возможно в моем положении. Недоверчивые, но внутри теплые средневековые окна. Контрфорсы. Горбатая мостовая, по которой текло столько крови. Иногда тренькают колокола... Увы, я чужой! — в голосе профессора искренняя печаль. — Вы тоже чужой, мой друг. Если вы чувствуете себя вполне дома среди того, что вас окружает — вы себе изменили. Вы забыли о мире, откуда пришли. Вы чужды себе, своему прошлому. Разве не так? — Про-

фессор делает паузу — промочить горло: — О, киндер, кру-кру...

— Ужасно люблю китайские рестораны. Между прочим, наша графиня почему-то уверена, что все здешние китайцы — шпионы. Вздор, графиня. Посмотрите на раскосые глаза нашего официанта. В них — величие и страдание. Чуть-чуть мягкой уклончивости, мм..мм.. может быть, хитрости. Прерогатива отшельничества и судьбоносность вмешательства. Я так долго блуждал среди миров и поколений, в научном плане, разумеется. Среди китайцев я вспоминаю всё... Впрочем, меня всегда впечатляло и ваше русское странничество. Ваши экстремистские хождения. В них есть что-то гностическое. И уж наверняка эскапистское.

— Из русского "кулер локаль" я помню только славянскую героиню Надю, закаляющую своего возлюбленного острым каблуком, — брезгливо говорит графиня. — Распутин, Ольга Чехова и вечно пьяные крикливые субъекты с грязными воротничками в берлинских кафе. Очень смутно — какие-то утомительные содрогания у Достоевского...

— О, вы неправы, моя дорогая графиня! Ну какой еще народ может так свято верить своим химерам, кроме русских? В русских столько поэзии, беспредметной тревоги... Наивное желание рая и всеобщего духовного разоружения. Самоупражнения — здесь, под земными облаками. Совсем недавно я наткнулся на прелестный отчет паломников из Сибири. Плывая в Красном Море, они всю ночь сидели на палубе, ожидая явления фараонов, которые должны были спрашивать: "Скоро ли светопрествавление?". Ну не трогательно ли? Здесь, на Западе, мы лишены этой чувствительной наивности. Боже, мы так прозаичны!

— Красное Море? — Я наклоняюсь к Лили. — Ты ведь жила там когда-то? В той пустыне, куда ты сбежала после того, как герой зарезал твоего дракона, твое домашнее животное. А птица Зу улетела в те горы, где теперь воюют непокорные курды.

— Нет, всё это было не так. — Лили улыбается. Мы просто играем в забавную игру. — Всё это глупости. Я убежала гораздо раньше. Дело в том, что Адам был слишком настойчив.

Лили становится серьезной, убирает с глаз длинную, кинематографическую, застывшую свет прядь волос. Я смотрю в ее

холодные зеленые глаза.

— Оставь свои глупые шутки, — говорит она тоном школьной инспектрисы. — Перестань жить в вымышленном мире. Давай лучше обсудим, чем ты будешь заниматься. Кстати, я решила нанять адвоката, чтобы, наконец, оформить твой правовой статус. Теперь ты уже знаешь, какую роль играют все эти глупые бумажки в нашем свободном мире.

Приветливый, боящийся кого-либо обидеть Иоханнес всем готовно улыбается, чаще — молчит, только бы не нарушить венский гемютлихкайт.

— Дазайн ист херрлих, киндер*, — благодушно мурлычет профессор Хопф в своем кресле.

— О, ja, — поддакивает захмелевший Иоханнес. Гертруда беседует с графиней:

— Вы не представляете, дорогая графиня, сколько молодых людей в наши дни страдает от самых разных истерических симптомов, от мгновенной усталости, от неспособности работать, от невротической импотенции.

— У меня несколько племянников и племянниц, моя милая, и, представьте, они все как один подходят под ваши симптомы, — говорит графиня. — Не в состоянии пошевелить и пальцем. Почему-то обижены на всех. И прежде всего, на нас, родителей, старших. Мне кажется, нет, я совершенно в этом уверена, что они только и ждут, когда мы, наконец, умрем, и они смогут транжирить наши деньги.

— Ах, пришлите их ко мне, дорогая графиня, если им случится задержаться в Вене. Или к моей сестре Аннелизе. — В голосе Гертруды снова слышен сухой щелчок захлопывающегося капкана. В сухих пальцах графини дрожит длинный мундштук.

— Я им не верю ни на секунду.

Профессора просят к телефону.

— А, меня и здесь нашли!

Он уходит, опираясь на услужливое плечо Иоханнеса. В бокале Лили — несколько золотистых капель. Она выплескивает их через плечо.

— Что это? — спрашиваю я.

* Настоящее великолепно, дети.

— Приношение Аполлону. — Лили просит принести счет. — Одно время я каждую осень ездила в Грецию. И вот, теперь вспомнила.

Профессор Хопф возвращается. Он заметно опечален.

— Was ist loss?* — спрашивает графиня.

— Er ist gestorben**, — сообщает профессор. — Сегодня столько событий, мой друг. Выпал снег. Ваш приезд. Смерть моего старинного приятеля.

Графиня растерянно ищет что-то в сумочке. Находит белую заячью лапку, прикладывает к вискам.

— Also doch, — вздыхает Лили. Тянется за новой сигаретой. — Этого можно было ожидать любую минуту. Герр Шуберт был неизлечимо болен. Мы видели его вчера. И попрощались. Это было трогательно, но не драматично. Он был так во всем неосторожен. Я всегда ему говорила: "Герр профессор, вам следует беречься. Ну к чему все эти экстравагантности, погоня за модой? В ваши годы?"

— Но иногда приятно быть экстравагантным, — сухо замечает Гертруда.

— Герман, у тебя есть сто шиллингов на чай официанту? — спрашивает Лили.

Хопф не слышит. Он сидит, полузакрыв глаза, с бокалом вина в руке. На среднем пальце — сердоликовое кольцо с Гермесом Трисмегистом. Черное кашне оттеняет белую бородку.

— Не устаю повторять: "Дазайн ист херрлих", — говорит профессор словно сквозь дрему. — Но я люблю и смерть, особенно в ее современном неназойливом исполнении. Подвалы и лифты нынешних госпиталей почти совершенно не пахнут мертвецами. Но меня не проведешь. Чувствительные нос и глаз всегда отметят слегка сладковатый запах, засохшие капли сукровицы на полу. Все гигиенично, незаметно. Как я уже говорил — неназойливо. В наши дни публика не переносит напоминаний о смерти. Все единодушно презирают страдание.

* Что случилось?

** Он умер.

— Профессор Шуберт был слегка несовременен, — объясняет Гертруда. — Он понимал толк в страдании, написал целую книгу о феномене смерти. В его уникальном подходе я нашла что-то оргиастическое.

— Всё так преходяще, киндер, — бормочет, снова разнежившись Хопф. — За свою довольно долгую жизнь я сказал "прощай" стольким блестящим умам, стольким умам! Как знать, возможно, смерть — одно из наших многочисленных заблуждений! Ведь мы были знакомы с Шубертом столько веков. Я хотел сказать — лет. Я одобрял его книги. Мне запомнились его фундаментальные труды "Дуализм у Платона, гностиков и манихеев" и "Откровения Гермеса Трисмегиста". Но со временем он страшно переменялся. Как у вас говорили, сменил вехи. Одно время вдруг стал руссоистом. Его сентиментализм казался мне тогда довольно освежающим. Наконец, совсем недавно, ему взбрела в голову фантазия сделаться экзистенциальным католиком. И вот — результат. А все потому, что он мне не верил и чересчур серьезно относился к своим последним увлечениям. Но теперь это все позади.

Лили подает профессору тяжелое черное пальто, трость с эбеновым резным набалдашником.

— Прекрасная служанка, — говорю я. — Помнишь, как тебя когда-то называли?

Профессор слышит. Чему-то улыбается. Лили молча пожимает плечами. Дамы остаются выпить еще по чашечке кофе. Иоханнес выбегает в мокрый сугроб ловить такси. На углу недвижимо стоят двое в серых длинных пальто и старомодных, надвинутых на глаза шляпах. Уже сев в машину, профессор Хопф указывает на них тростью и, оборачиваясь ко мне, говорит:

— В незапамятном детстве я любил играть в игру "Разбойники и жандармы". Увлекательная, между прочим, игра!

(Продолжение следует)

Юрий Кашкаров

ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР

Памяти княгини Софьи Енгальчевой

Твое счастье так свято, так право,
Мир твой прочен, незбылем, широк
Как старинной иконы оправа,
Как прабабушкой данный зарок.

Вечно радостный чин литургии,
За поклоном кладимый поклон.
Так молились в далекой России
Толпы странниц, святых и княжен.

Безошибочность. Мир и прохлада.
Непостыдная смерть впереди
Среди правнучек нежного сада,
За которым и с неба блюда

29 марта 1986 г.

Великопостное

Там хлеб пекли во дни поста
И печь пылала, грела, жгла,
И хлебцев круглых теплота
Благословением была.

Разламывали руки их,
Не режа, как во дни святых,
И крошки падали в ладонь,
В весеннее тепло и сонь.
И запивали их водой
С молитвой древней и седой.
И Пост следил, оберегал
Чтоб дух Любви не отлетал.

ОЛЬГА КАПАБЛАНКА-КЛАРК

АРЛИНГТОН. ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ

Был ясный день, когда собрались мы
На кладбище. Светило солнце,
Но лучи, казалось,
Потеряли золотистость
Бледнея перед бесконечностью.
На узенькой тележке привезли
Военный гроб, покрытый флагом,
Был крест на нем из орхидей и белых роз,
Мной присланный.
Шесть конных пар везли тележку
По крутой дороге.
Как будто музыка была,
Наверное сейчас уже не помню.
Гремели пушечные залпы
В честь боевого Адмирала.
Я принесла ему в подарок
Серебряный красивый якорь:
"Счастливого пристанища, Жоко".
Но у меня его забрали
Адьютанты,
Как и его фуражку. Для музея.
Зато никто не знал, что вложен был
В карман его тихонько
Мой маленький портрет —
"Лицо, которое нельзя забыть"...
Когда-то, много лет назад,
На миноносце в Черном море
Был дан большой прием
Мы встретились почти,
И тут же потерялись.
Однако, он лицо мое запомнил...

Печально прозвучал рожок
Последнее прости у гроба.

На кладбище друзей собралось много.
Прижавши флаг к груди, я вспоминала
Его авианосцы, корабли,
Которые он вел к победам, как никто.
И видела корабль, плывущий
Через воздушные пространства,
В надзвездных океанах, в даль времен,
С душою Адмирала на борту.

ВОСПОМИНАНИЕ О МАМЕ

Я помню в сумерках рояль,
Жемчужность техники ажурной,
И в выражении ноктюрна
Шопена вечную печаль.

Туманно этот мир знаком
У нас была большая зала
С лепным высоким потолком,
Где виртуозно ты играла.

Порой мне слышится рояль
Со всею нежностью певучей
И призрак давних сладкозвучий
Светлит вчерашнюю печаль.

* *
*

Создалось впечатление тусклости,
Туманный близился рассвет.
В забытой, но знакомой местности
Едва желтел фонарный свет.
Мелькали тени у околицы,
Казались нереальными дома,
Плелись запутанные улицы
И полутенью была тьма.
С безбрежной нежностью, без ропота
На то, что мы разлучены,
Неслись ко мне родные шопоты
Из непонятной глубины.
●становившись в бесконечности
Вокруг меня рассвет затих,
И терпко было чувство вечности
Среди любимых неживых.

ЛИДИЯ КУЗНЕЦОВА

* *
*

...Мой дом — одно название — крыша.
Забьюсь, как моль, в пустой мешок,
и хоть бы кто-нибудь услышал
вот этот маленький стишок.

А вылезу на свет и вспомню:
как незаметно год прошел,
Опять никто судьбы не понял,
а тот, кто понял, не пришел.

* *
*

Проводи меня до первой встречи,
до звезды, упавшей в первый раз.
Все судьба кромсает и калечит,
Только память смотрит в прорезь глаз.

* *
*

Печален свет к исходу дня,
томится жаждой рот.
Ты помнишь песенку ручья
у входа в темный грот.

И холод на сухих губах
от ледяной воды.
Ты жадно пил, к ручью припав,
не ведая беды.

С тех пор я обхожу ручьи
и сумрака боюсь,
И руки нахожу ничьи,
и в них, как рыба, бьюсь.

* *
*

И та же суета, в вещах
нет ни порядка, ни уюта,
но эта милая каюта
так оживает при свечах.

Остались краски, и Шопен
ликует, пустоту пронзая.
А память рыщет, как борзая,
и стихнув, трется у колен.

БЕЛАЯ И ЧЕРНАЯ КОЗА

Долгое, жаркое и мучительное лето — без дождей и почти без ветров — носило меня по городу, подобно облаку пыли или бумажному мусору, забрасывало в электрички, чтобы спрятать в лесу, гнало из тени в тень — от дерева к дереву, от дома к дому — под навес к сквозняку, лишь бы спрятаться от палящих лучей солнца. Но и тень была жаркой, как раскаленный асфальт дорог, как серый бетон домов, как металлические поручни в транспорте. И вместе с жарой преследовало одиночество. В жару одиночество неодолимо.

Каждый день я ждал благословенной ночной прохлады, но и ночь не давала отдохновения, мучила жаркой бессонницей, а короткие сумерки сменялись жарким утром. И тогда я решился на страшную пытку. Я решил ринуться на пляж в самый беспощадный зной, в самый полдень, чтобы погибнуть от солнечного удара или хотя бы научиться переносить жару. Но солнце меня пощадило (а может быть, моя конструкция была надежней, чем мне казалось). Переносить жару я не смог, я смог только ее терпеть в те малые промежутки времени, пока испарялась вода с моего горячего тела. Иногда мне казалось, что вода шипит на спине, как на раскаленной сковородке. Однако, кожа моя была бледна, кожа моя сопротивлялась огню солнечных лучей по-своему, то есть просто не принимала их во внимание и, может быть, это меня спасло. И все же каждый выход из воды на песок начинался с горячего вдоха, от которого красная муť застилала глаза. Я падал на мятые брюки и раскаленную рубашку, закрывал голову ладонями и старался вдыхать воздух в тени под грудью. А через две-три минуты, ошпаренный солнечными луча-

ми, вновь бежал к воде, сожалея об утраченных в ранней поре существования жабрах.

Я дышал тeneвым воздухом под грудью и терпел зной, когда раздался необычно тонкий, щемящий скрип песчинок где-то совсем рядом с моей головой — этот скрип звучал в ритме медленного вальса и излучал какую-то плавную голубую прохладу. Потом скрип песка стал более грубым и аритмичным, прохлада сползла, и надо мной пронесся страдающий, хриплый вздох. Музыка медленного вальса и хриплый вздох принадлежали — это я ощущал чрезвычайно точно! — телу, страдающему не меньше моего. Если страдание имеет какую-нибудь материальную силу, то сила этого страдания тянулась к моему страданию, тянулась робко и несколько жеманно, отчего я начал лстить себя надеждой, что мое одиночество кончилось.

Я не удержался. Осторожно выдохнул воздух подмышку, затем прополз щекой по горячей рубашке, оперся подбородком на кулак и открыл глаза. Она лежала на спине, закрыв лицо влажным платком так, что получилось подобие гипсовой маски, окаймленной короткими завитками черных волос; ее грудь едва заметно колебалась от дыхания, а под соском синела короткая татуировка — "Нет в жизни счастья".

О, будь я проклят! Ужас неведомой бездны, из мутного нутра которой волнами поднимаются немые вихри предчувствий и липнут к щекам, повисают на ресницах, как паутина, и шевелят волосы на затылке, этот ужас вернул меня в жару лета, вернул моим глазам способность утреннего видения мира.

Нет в жизни счастья! О, будь я проклят!

Словно остановленный чародейным мановением, упал ветер, замерли бронзовые тела волейболистов вдали, шершавая патина зазеленела на освещенных плечах и лицах, мертвая вода синим слитком космического металла лежала в сухом и желтом песке, каплями чугуна застыли черные воробьи и запах металлического смрада повис в воздухе: нет в жизни счастья.

Память в темноте безлика, она не знает очистительной скорби. В темноте памяти прячется и живет насилие, скрываются предметы, таятся западни, горят хищные глаза и бесчувственные звезды. Только в светлой скорби открывается таинство предметов, их сокрытая сущность, их ослепительная никчем-

ность. В мире нет счастья — в мире есть свет. Этот свет — скорбь. Но мне надоело скорбеть. О, будь я проклят!

Влажный платок высох и трепетал над приоткрытыми губами. Я глядел на сокрытое лицо ее и видел мир, начиненный гримасами похоти и тлена, мир, похожий на старый хроникальный фильм, который опровергает чистоту памяти жестокостью каждого факта. Но что-то было возвышенней, чем видение мира сего и ощущение скорби, и это *что-то* разливалось во мне животительной плазмой. Моя рука потянулась к ней, мои пальцы коснулись тонкого платка. На меня лишь на краткое мгновение глянули выпуклые, безумные козы глаза с вертикальным зрачком. И тут меня потряс безумный смех.

Когда смех, наконец, ушел, я увидел себя маленьким лопухим первоклашкой, который мемекает перед носом черной козы, а коза пытается вскнуться на дыбы, дрожит от ненависти и напряжения, шмыгает мокрым розовым носом, но не может осилить ременной привязи и мемекает мне в ответ зло и коротко. Я уткнулся лицом в песок и ощутил холодное прикосновение травки — вот рыжий муравей бежит по склоненному стеблю, качается на вершине, ползет вниз, торопится к другой былинке, натывается на твердое нефритовое копытце, смотрит куда-то вверх, шевеля короткими усами. Я слышу мокрое шлепанье и вижу рябую реку: маленький колесный пароходик бьет деревянными лопастями по серой воде, поминутно взвизгивая паровым свистком. Широкая, плотная, черная кайма дыма, как бархат, висит на его длинной трубе. На мостике сидит на корточках рыжий человек в белых брюках и тельняшке и кормит с ладони махоркой угольно-черную козу, которая подалась вперед всем корпусом за горсткой табака. Она жадно шевелит седыми губами и дрожит хвостиком.

— Покури, покури, — приговаривает рыжий человек в тельняшке, — вот приедешь к Пелагее, там не покуришь, там тебе за ради молока все титьки пооттаскают.

Скормив кулек махорки, рыжий почесал козе за рогами и шлепнул ладонью по боку.

— Ступай, Мария, вниз, — сказал он. — Ступай, ступай. Сторожи яблоки.

На железной палубе между фальшбортом и штабелем бело-

го шифера было насыпано несколько центнеров зеленых яблок — к этому складу сбежала черная коза Мария, обнюхала яблоки, потрогала ногами железный борт и преспокойно улеглась, как сторожевая собака у будки. Рыжий капитан ушел в рубку. На корме под натянутым брезентом дремали на своих мешках и чемоданах пассажиры без класса. Я сидел на чугунной кнехте, поплеывал в воду и разглядывал дальние гребни синего леса. Ни запах машинного масла, ни запах яблок не тревожили меня до тех пор, пока Мария стояла на мостике и кормилась табаком. Но когда коза заняла сторожевую позицию, я вдохнул пригорелый запах машинного масла, сквозь который пробивался свежий аромат яблок, и возжелал — немедленно — любое корявое яблоко из кучи. Я встал и шагнул к яблокам. Черная коза быстро вскочила на ноги и тревожно мемекнула.

— Как тебе не стыдно, Маша, — сказал я. — Ты меня совсем не знаешь, а хочешь бодаться. Может быть, у меня рога в десять раз длиннее твоих, только их не видно. Может быть, мои зубы крепче волчьих, я тебя съем за десять минут, и косточек не останется. Бодаться проще всего. Все дураки бодаются, ведь этому учиться не надо. Но если бы я сторожил эти яблоки, а ты попросила бы у меня одно-единственное яблочко, я бы тебя не стал пугать, я бы выбрал самое вкусное, самое спелое, самое лучшее яблоко и подарил тебе.

— Ме-ме, — ответила коза.

— Правильный ответ, — сказал я. — Ты меня поняла с полуслова. Ты знаешь, что больше всего на свете я люблю яблоки, и прошу одно-единственное яблоко из этой кучи оттого, что эти яблоки охраняешь ты, а не собака. Я никогда раньше не видел, чтобы козы охраняли яблоки, или капусту, или морковь, или брюкву, или репу, или еще что.

— Ме-ме-ме, — отвечала коза.

— Может, тебя и не нужно упрашивать, может быть, нужно только почесать у тебя за рогами и ты станешь сговорчивее. Будь умницей, не упряйся, угости меня яблоком и мы станем друзьями.

Черная коза Мария откатила от кучи копытцем крепкое зеленое яблоко, откусила от него маленький кусочек, пожевала,

тряся бородой, словно оценивая спелость и полезные качества яблока, а потом коротким и резким толчком отпасовала яблоко к моим ногам.

Как я был счастлив! Что это было за яблоко! Аромат цветочного меда терялся в земляничном вкусе, а сахарная сладость таила тонкую кислинку красной смородины.

— Скажи, если кто-нибудь станет переманивать твоего приятеля или станет наговаривать ему на тебя, что ты сделаешь с этим человеком? — раздался надо мной голос рыжего капитана.

— Я ни на кого не наговариваю и никого не переманиваю, — ответил я, но чуточку струсил.

— Молодец, — сказал мне рыжий. — Вы оба, ты и коза, попутчики, оба следуете до пристани Лысково. Если коза тебя угощает яблоком, значит, вы подружились. Мария и мне друг, поэтому я прошу отвести козу Марию из Лыскова в деревню Горести, в четырех километрах от пристани. С пристани видна деревенская церковка — так на церковку и веди лугом. Придешь в деревню, спроси тетку Пелагею, скажи, что, мол, Иван Кузмич кланяться велел и козу в подарок прислал. Запомнишь?

— Запомню. Мне и самому надо в Горести, только не к тетке Пелагее, а к тетке Авдотье.

— Однако.. — задумчиво проговорил капитан и ушел в рубку.

Два часа до пристани Лысково я просидел рядом с козой Марией — мы стерегли яблоки, которые никому не были нужны, да мы и не очень их стерегли — сидели бок о бок и глядели вверх борта на дальний берег.

Под вечер пароходик причалил к пристани Лысково. Бросили сходни. Пассажиры с мешками и чемоданами вышли на берег. Пришли грузчики, скатили на берег порожние бочки. Скрипучая лебедка перенесла с палубы шиферные плиты.

Рыжий капитан просил подождать конца разгрузки, чтобы попрощаться с Марией. Он сидел перед козой на корточках, снова угощал табаком, что-то шептал на ухо, а коза согласно кивала головой и быстро жевала. Потом капитан одел на шею козе блестящий ошейник, прицепил ремennую сворку и пошел по сходням на берег. Следом шла коза, за козой прыгал я.

— Ты Марию не обижай, — сказал мне капитан на приста-

ни, — она чувствует тонко. Я ее специально для Пелагеи растил, так ты ее побереги...

— Эй, парень, как звать-то тебя? — крикнул он мне вслед.

— Борькой! — откликнулся я.

— То-то, Борька. Имя у тебя козлиное, к Марии подходит.

Обидеться я не успел, да и не хотел. Коза Мария, услышав мое имя, задрала голову и грустно мемекнула.

Мы шли мокрым лугом на маковку далекой церкви. Длинные травы путались в ногах. В закатных лучах сверкали влажные искры, черные стрелы кузнечиков порскали в разные стороны при каждом шаге. Коза Мария бежала трусцой, время от времени хватала кудряшки гороха или букетики колокольчиков и весело мемекала, а в ответ ей раздавались тонкие посвисты сусликов. Слева цвело желтое поле подсолнухов, над ним дребезжали жаворонки. Между стволов подсолнечника прилегла синяя вечерняя тень. Из глубины подсолнухов, из плотной синевы теней, словно отталкиваясь от земли, раздалась тягучая песня:

Полюбила Борьку я,
так как жизнь горькая.
Больше некого любить
на войне мой муж убит.
Тяжко, тяжело,
душу горечью свело...

Деревня была совсем близко. Крепкие бревенчатые дома, крытые дранкой, и сараи, крытые соломой. У церкви без креста слабо тарахтел бензиновый движок.

Голос приблизился, в желтых подсолнухах мелькнула белая косынка, молодое, загорелое женское лицо. Коза Мария потянулась на голос, но вдруг испугалась и припала худым боком к моей ноге.

Эй, ты не с пристани? — крикнула женщина.

С пристани, — ответил я.

Куда идешь?

В деревню.

За мной идешь?

С козой иду.

Женщина подошла к нам. Я с удивлением увидел, что глаза

ее вытаращены по-козы, и зрачок продолговатый. Этими безумными желтыми глазами она осматривала меня долго и внимательно, словно принюхивалась.

— Не видел на пристани нашего председателя на гневной кобыле? — спросила она.

Может и видел, не знаю.

Ты чей?

Да ничей.

Откуда ты взялся такой ничейный?

С парохода.

С парохода... Приехал погостить?

Может, погостить, а может и насовсем. Как получится. Тетка написала матери, чтоб меня сюда отправили, пишет, тут посытнее и школа есть, а то я в городе часто простывал, даже летом. Мать работает, ухаживать за мной некому. Налепит утром мне на грудь горчичников, кашу сварит и убежит. Я сам горчичники снимаю, и валяюсь, и радио слушаю до позднего вечера. Тетка писала, что тут парным молоком меня быстренько на ноги поставит, а мне и не надо — я сам на ноги встану, только бы не болеть.

— Не горюй, — сказала женщина с козьими глазами, — ты парень самостоятельный, — сам ел, сам лежал, сам сюда прибежал, сам козу привел. Не с подойника начал — с козы. Толк в тебе есть, такие долго не болеют, а всю жизнь маются. Тетку твою как звать?

— Авдотьей.

— У нас в деревне две Авдотьи: одна скупая, другая жадная; одна рябая, другая конопатая: одна безногая, другая безволосая; одна хроменькая, другая глупенькая, обе глухие, и горбатые. Ты чей племянник?

— Волгиной, Авдотьи Даниловны.

— Вот и ладно. Авдотья Даниловна у нас одна, со всех сторон видна, соседка она мне.

Коза Мария больше не стремилась к свободе. С появлением женщины коза будто стыдилась чего-то или побаивалась, ни на шаг не забегала вперед, ее худой бок плотно прижимался к моей ноге. Мы шли молча, и тревожная скованность козы передалась мне. Я старался не смотреть в лицо женщины, старался не заме-

чать ее козых глаз, стыдился этой похожести, но одновременно хотел говорить, жаждал рассказать что-нибудь особенное, чтобы вызвать улыбку на этом продолговатом лице и увидеть золотистые глаза с почти вертикальным зрачком, увидеть их удивленное, безумное веселье. Я не знал, с чего начать, и, неожиданно для самого себя, спросил:

А зачем вы песню про меня пели?

— Почему ж про тебя, мил человек?

— Потому что меня Борькой зовут, а вы пели: "Полюбила Борьку я.."

Ветер, как вздох, прокатился по мокрому лугу.

— Ты песню забудь, — сказала она. — Я сама больше не помню. Бывает, вырвется слово, пропоется — и забудется.

Прослушала я, как тебя звать?

Борька.

Козла деревенского Борькой дразнят, а ты — Борис.

Борис, — эхом повторил я.

Вот и познакомились. А меня Пелагеей звать.

Мы с козой разом остановились. Какая-то зловещая муть почудилась мне в этом. Пелагея, которой я должен был отвести козу в подарок от рыжего капитана, вышла навстречу с печальной песней, с моим именем.

Вы знаете Ивана Кузмича? — спросил я.

— Какого Кузмича?

— Рыжего, который на пароходе командует.

— А, Ванечку-пароходника? Как не знать, сохнет по мне не первый год, даже мстить хотел за мою нелюбовь.

— Так Иван Кузьмич просил передать вам козу и кланяться велел.

Пелагея присела на траву, взяла козью морду в ладони, посмотрела в яркие глаза Марии.

— Вот она какая, Ванечкина месть получилась. А как козу зовут, уж не Пелагеей ли?

Не-е, — заблеяла коза.

— Ее Марией звать, — сказал я.

— Чертовка, черная чертовка, а на меня похожа, — сказала тетка Пелагея.

Поздно вечером, сидя у окошка, я пил чай с медом, а моя

тетка Авдотья Даниловна забрасывала деревянной лопатой хлеба в жерло горячей печи. Она была чем-то озадачена и раздражена.

— Что тебе Пелагея про козу сказала? — спросила Авдотья Даниловна.

Чертовка, говорит, черная чертовка.

— Сама она черная чертовка, твоя Пелагея, — проворчала тетка.

Я поглядел в окно на дом Пелагеи и увидел на коньке крыши черный силуэт козы, словно наклеенный на громадный диск медной луны. Немного позднее, когда прозвенели в беге лошадиные копыта и раздался смешанный дуэт ржання и блеянья, кочерга стала приплясывать и стучать в засаленный противень, а помело упруго подскакивало в углу у печки...

Утром туман был таким плотным, что казалось, будто окна заклеены белой бумагой. Звуки в этом тумане были глухими, мягкими. За белыми окнами слабо кричал петух, замирал перестук копыт, тихо блеяла коза. Мир в объятьях белого тумана казался опасным, непонятным и убегающим. Но как только я увидел на клеенке стола свежий хлеб, яйцо и крынку молока, тревога моя прошла и я сладко потянулся: не о чем тревожиться, если тетя Дуня оставила завтрак, если тепла постель, в избе пахнет сеном и яблоками, если во дворе меня ждет друг, даже если этот друг — коза. Наскоро позавтракав, я вышел.

Утренний ветер приподнял туман. Звуки стали резкими и чистыми. На пыльной дороге чернела коза Мария, но она меня не ждала, она гуляла около катышей конского навоза, обнюхивала их, трогала копытами и плакала, тряся бородой. Я вспомнил ночное ржание и блеяние, ворчание тетки Дуни, пляску помела у печки. Мне горько было видеть козу Марию.

Любовь с первого взгляда, — сказал я козе.

Безусловно, — ответила она.

Мне тебя жалко, Мария.

Не-ее, — проблеяла коза.

Прошло несколько дождей, прошло несколько дней и ночей, а туман все висел над деревней Горести, и каждую полночь у дома Пелагеи слышался дуэт ржання и блеяния, приплясывало помело у печи. Пелагея стала надевать козе ошейник и привязывать

к столбику. Коза потеряла свободу. Коза стала злой. Она лежала и стерегла катыши конского навоза, как некогда охраняла яблоки на пароходе и больше со мной не разговаривала. Тогда я стал дразнить козу Марию:

— Скажи мне, Мария, согласна ли ты дружить со мной или я тебе больше не нужен? Если я тебе друг, то ведь от друга нет секретов. Так почему же ты скрываешь от меня то, чего я не могу видеть сам, потому что в это время я вижу сны?... Я тебя отвяжу, Мария, даже если ты не скажешь мне ни слова и будешь продолжать злиться. Я отвяжу тебя и пойду следом за тобой, чтобы увидеть то, чего ты не хочешь сказать.

Я отвязал козу Марию. Белый туман отражался в горячих лужах, в темной глубине колодцев, в плоских и пустых, как бельма, окнах. Между туманом и землей по жидкой колее шла коза Мария, а я брел сзади и чувствовал, как жара прижимает нас к земле, лишает четкости слуха, мешает видеть глазам. Неожиданно, как сон, на дорогу выскочил красно-медный бешеный козел с тяжелыми и плоскими рогами; он прижал Марию к тыну и, хрипя, надругался над ней. Черная коза некоторое время стояла, навалившись на плетень, ее бока вздымались и опадали, а морда сникла к траве. Потом она качнулась, вздохнула и со слабым блеянием поплыла на землей, легко перебирая ногами. У широкой лужи с белой водой коза остановилась, мемекнула, вскинула голову и бросилась в молочную глубину. Тугие волны сомкнулись над ней, а через мгновение молочная пучина расступилась и на мокрую траву, на скользкую дорогу из лужи выскочила изящная беленькая козочка с голубой лентой в холке.

— Маша, Маша, Мария! — закричал я. Беленькая козочка взбрыкнула копытами и пустилась прочь от меня по широкому пустырю между церковным крыльцом, деревенским клубом и ларьком сельпо. Я было бросился наперехват, но тут из тумана возникла Пелагея и приняла беленькую козочку в свои объятия.

Где Мария? — спросил я, задыхаясь от бега.

— Какая Мария? — удивилась Пелагея.

— Черная коза Мария, которую я привез вам в подарок от капитана Ивана Кузмича!

— Не было у меня никакой черной козы, никакой Марии. У

меня всегда была белая козочка и зовут ее Фаня, Инфанта, значит. Мария тебе, наверное, приснилась.

Они медленно уходили от меня к дому и казалось, что белая козочка что-то нашептывает хозяйке, которая нежно перебирала и разглаживала голубую ленту в холке козы...

Она была недоступна мне, эта беленькая козочка. Была она белой в любую погоду и в любое время суток, тени миновали ее, ни пыль, ни грязь не оставляли следа на снежно-белой шерсти. Так и не попробовал я козьего молочка: Инфанта избегала меня и мне приходилось тайно подглядывать за ней. В сумерки она бегала на водопой к ручью за околицу и возвращалась к полночи, а я крался сзади и тихо рыдал, глядя на голубое сияние, которое она излучала. Однажды у ручья я выскочил из кустов и преградил ей путь.

— Послушай меня, — сказал я ей.

Инфанта глянула на меня безумными и наглыми глазами, но с места не тронулась. Я продолжал:

— Был у меня хороший друг, добрый и нежный, звали моего друга Марией, а по внешности она была черной козой. Мы понимали друг друга с полуслова, с полувздоха. Мы были рады друг другу. Но с Марией случилась беда, она утонула в белой луже у самой церкви. А потом из лужи явилась ты и от нашей дружбы не осталось и следа. Я тебя ничем не обидел. Единственное, чего я хочу — это быть рядом с тобою, гладить твою шелковистую шерсть, кормить и ласкать тебя...

Козочка заблеяла, словно рассмеялась и, подпрыгнув, взметнулась надо мной и улетела в деревню. А в деревне она решила на месть за якобы оскорбление — редкостную месть существа избалованного и мерзкого. В деревне Инфанта влетела во двор моей тетки, свалила ударом копыта красавца-петуха, прибила его, а потом растерзала и пожрала. Затем она ворвалась в огород, разрыла огуречные грядки, обглодала смородиновые кусты и принялась за картошку, но тут ее прогнала тетка Авдотья, прогнала, а догнать не смогла, и велела мне изловить козу и наказать, чтобы век помнила.

— Ты, племянничек, завел дружбу с этими чертовками, ты и отучай их от озорства.

— Да как я их отучу, если они меня и близко не допускают? Даже на шаг не дают подойти?

— А ты подкарауль козу, да оседлай, а как оседлаешь, накрути ей хвоста, вот и отвадишь.

Я выполнил совет тетки: изловил козочку и накрутил ей хвоста. Коза заверещала, как раненая птица, рванулась прочь, пробила плетеную изгородь и скрылась бесследно в поле. Поздно вечером тетка Пелагея нашла на чердаке труп черной козы в зыбкой детской люльке, привязанной под коньком крыши, а вокруг висели обглоданные банные веники...

— Нет в жизни счастья! О, будь я проклят! — бормочу я и гляжу в козы глаза, и слышу ритм медленного вальса, плывущего в белом тумане воспоминаний, чтобы спрятать меня в тишине одиночества — на долгую ночь.

С. Гозиас

ИГОРЬ ЧИННОВ

Всё бессмыслица, всё безделица.
Перетерпится, перемелится.

Гололедица да распустица,
Но над лужей роза распустится.

Всё фантазии, всё мечтания
В это утро зимнее, раннее.

Вот и Рим, Испанская лестница,
А на ней нагая наездница.

Ах, Годива, леди прекрасная,
Вы для глаз ужасно опасная!

Белый конь, омела и жимолость,
Мне, Годивочка, нелегко жилось.

Всё же встретил я Вас в Италии
Небывалого небывалее!

Улыбнитесь мне благосклоннее,
Альбионного альбионнее!

Вот и день прошел. Пролетел, смотри,
И вернулись Вы в замок Ковентри.

Заблуждения, огорчения
Улетают в небо вечернее.

Злой муж леди Годивы обещал ей денег на бедных, если она проедет по городку нагая. Жители затворились, но один взглянул — и ослеп. — *И. Ч.*

ГОСТЬ ИЗ АНГЛИИ

Первой приметой оттепели была для меня лондонка. Об оттепели говорится здесь фигурально: была жара, начало июля, макушка лета. Солнце весь день светило как южное, а белые ночи под безоблачным небом были одна к одной. Когда спадала жара, мне нравилось ходить по улицам и по набережной, рассматривая старые петербургские дома. На головах прохожих пестрели блинообразные серые кепки всех оттенков. Одни носили их слегка приблатненно, другие — с иного рода независимостью. Обычно носитель кепки не забывал о своей ноше, отличавшей его от прочих смертных. Не поручусь за историчность своего сообщения, но, по слухам, лондонками эти знаменитые кепки были названы по той простой причине, что в моду их якобы ввели шофера лондонских такси. Исследований на этот счет, к сожалению, не существует; иначе мы могли бы с достоверностью узнать о роли Англии в становлении отечественной оттепели середины пятидесятих годов текущего столетия.

Не стану спорить — в этом головном уборе было нечто, заставлявшее поверить, что владелец его не робкого десятка и вообще стреляный воробей. Сам я такой кепки не нашивал, голову покрывал черной провинциальной кепочкой скромных размеров. Но и зависти не испытывал, ибо понимал с непреложной ясностью, что деньги на покупку отсутствуют, и даже наличие таковых не помогло бы в приобретении лондонки в магазинах Ленгородержды или Ленголубора. Приобретались же они, конечно не в Лондоне, а тут же, на Петроградской стороне, где я обосно-

вался. Производила их какая-то подпольная фабричка, существовавшая с благословения ОГПУ и других подобных аббревиатур, которые смотрели на фабричку хотя и косо, но сквозь пальцы. Вторая экономика вступала в свой зторой год после кончины Иосифа Виссарионовича.

Владелец лондонки чувствовал себя не таким, как все, и находя всякий раз особый угол между плоскостью козырька и линией бровей, мог выразить таким способом целую гамму: от сдержанной лихости до независимости от общественного мнения. Последнее обычно выражают начальники, но и обладатели лондонок тоже кое-что выражали. Носители лондонок все были люди молодые, склонные к легкой музыке и танцам. Среди них пользовалась популярностью песня про некоего Мишку, который покидает свою подругу, а она, несмотря ни на что, его любит и поэтому интересуется, куда же пропала Мишкина улыбка, полная задора и огня. Куплетики были нормальным проявлением лирики массовой культуры. Но именно нормальность казалась обстоятельством необыкновенным. Мотив был прилипчив; под него танцевали фокстрот: два шага на месте и шаг в сторону, а не в соответствии с указанием вождя: шаг вперед — два шага назад.

Танцевали под открытым небом в Румянцевском саду, между Академией Художеств и университетом, и в толпе танцующих красненькие комсомольские значки отсутствовали прямо-таки с очевидностью. Танцующая юная публика держалась весьма раскованно, ибо не подобает нам о позитивном явлении говорить: "развязно".

Но при чем здесь, скажете вы, университет, кроме его топографической близости к данной танцплощадке, приютившейся у старинного обелиска, поставленного в подражание Риму в упомянутом саду? Ведь танцевали там не одни лишь студенты, наслаждавшиеся летней независимостью.

Под мотивчик про Мишку пролетело несколько теплых вечеров на берегу безветренной Невы, и наступил день "Коллоквиума". Это слово вот уже неделю составляло сущность моего существования и звучало для меня столь же эзотерично, как... ну, скажем, Судный День. Когда я пришел в назначенное время на нужный мне факультет, там уже выстроилась немаленькая оче-

редь, что, впрочем, дело обычное. Необычным было население этой очереди. Оно состояло исключительно из молодых людей, значительная часть которых была вида гордого, самодовольного и бойкого. Интеллектуальный уровень этой очереди, по-видимому, был высок; отблески ума играли в очках и слышались в интонациях. За мною встал высокий человек в лондонке, которая делала его похожим на юного искателя приключений с Невского.

Очень скоро он с замечательной легкостью заговорил со мной, внезапно решил снять кепку и обнаружил красивый бледный лоб, которому скорее подходило благородное слово "чело". Через минуту он уже сыпал именами от Шиллера до Тышлера вширь и от Шлегеля до Гегеля вглубь — все это были имена, которых мы не проходили в школе.

Небесполезно тут будет сказать, что это была очередь медальстов, то-есть молодых людей, окончивших школу с наградой, и чаще с золотой, чем с серебряной медалью. Блеск ума и медального золота коллективным нимбом сиял над очередью, ожидавшей "Коллоквиума". Само это слово было будто чье-то высокое чело, благородно бледнеющее недоступной ученостью. От обилия впечатлений я был отчасти растерян, еще более — неуверен в себе, ибо все, что я вывез из своей глухой провинции, здесь справедливым образом не ценилось и конкуренции не выдерживало.

В очереди преобладали ленинградцы, а среди провинциалов — дети высокопоставленных родителей, и мне было совершенно внове видеть, насколько быстро, тотчас же, свояк различал свояка. Были это дети республиканской номенклатуры и обкомовских работников, и сходились они с необыкновенной легкостью. Немного лет спустя их имена появились под статьями в "Известиях" и в "Комсомольской правде" и под корреспонденциями из всевозможных стран. Так никогда и не узнал я их быта. Никто из них не жил в общежитии, держались они друг друга, в средствах не нуждались, с кем попало не водились, ничем в университете не выделялись, но по окончании сразу же оказались в крупнейших журналах и газетах, на главных станциях радио и телевидения. Ряды идеологов пополнялись наследственно: от мамы, второго секретаря обкома — к дочке, делающей карьеру

в столичном партжурнале, и соответственно, от отца к сыну.

Очередь моя продвинулась, хотя, как и во всякой советской очереди, и в этой были занявшие места по знакомству или те, кто пришел позднее других и норовил втереться куда-нибудь в середину длинного хвоста. Некий крепыш, умело оттеснив меня плечом, встал впереди, быстро прикинув, что я ничего не скажу ему — должно быть, моя растерянность от внезапного изобилия молодых гениев изобразилась на моем лице и крепыш — в будущем известный советский ученый — верно рассчитал меня как слабое звено в цепи. Но тут вмешался мой новый знакомец, стоявший за мною с лондонкой подмышкой, и сказал самозванцу:

— Это несправедливо.

Крепыш, однако, предпочел не расслышать, а мой знакомец Бледное Чело — не пожелал настаивать на справедливости. Впрочем, я уже знал его имя. Его звали Миша Галицкий, и он дал мне свой телефон. Между тем судьбоносная очередь приближалась к дверям. Я стоял уже часа два, начинал уставать физически, а нравственно был подавлен своей ничтожностью, внезапно мне открывшейся в окружении золотых медалистов. Когда настал мой черед и я открыл дверь, я уже не точно и не отчетливо сознавал себя. В аудитории, довольно обширной, за черным крашеным масляной краской пустым столом сидел лысоватый брюнет с живыми глазами; он должен был решить мое будущее. Осведомившись о том, откуда я и кто мои родители, трефовый валет спросил, работал ли я когда-нибудь в своей жизни и почему выбрал именно этот факультет.

Я ответил ему, что работал на кирпичном заводе, пытался даже описать условия работы, но в живописании не преуспел. Условия вкратце заключались в том, что надо было возить своим духом вагонетку по рельсам. Нагружать по счету штук двести кирпича сырца, везти вагонетку в печь, еще не остывшую после недавнего обжига, и там, в пекле, задыхаясь от газов, быстро сгружать сырец, стараясь не сломать его и правильно поставить для следующего обжига. Вагонетчиков было трое. Старшей была необъятной ширины деваха в тесном старом ситцевом платье в горошек. Когда моя вагонетка сходила с рельс, она, бранясь, подлезала под нее. Выжимаясь на четвереньках, подни-

мала горбом груженую вагонетку и ставила на рельсы. Мне, шестнадцатилетнему подростку, такой подвиг тяжелой атлетики был не по силам. Она же знала свою неженскую силу, несколько своим подвигом не гордилась, а только изощренно матюгалась.

Не вдаваясь в подробности, я вспомнил и другую мою работу — на заводе сельскохозяйственных машин. Работал я там слесарем по металлу, и только по ночам. Дневных смен мне, видимо, как подростку, никогда не давали. Вся ночная смена состояла из недавно освободившихся по амнистии эзков. Я был единственным исключением. Атмосфера лагеря утвердилась в этой смене. Никто из заводского начальства не заглядывал в наш ночной цех. Напарником моим был одноухий татарин, который умел меня эксплуатировать, не вызывая никаких подозрений. Про него говорили, что в лагере он отрезал себе ухо и, окровавленное, бросил в лицо какому-то из лагерных надзирателей, издевавшегося над ним.

Итоги этих и подобных впечатлений пытался я втиснуть в нескладные слова и потом стал было делиться с брюнетом своим мировоззрением. Затем, опомнившись, смутился окончательно, и коллюквиум мой кончился невразумительно и даже нечленораздельно. С ощущением позорного провала я покинул ответственного брюнета, который, как я узнал впоследствии, был преподавателем и членом партийного бюро. Я прожил несколько дней, не зная, что же мне теперь делать. Наконец, наступило некоторое число июля, когда университетом было обещано вывести имена прошедших отбор медалистов, и я отправился в знаменитый коридор Двенадцати Коллегий в поисках списков.

К моему удивлению, фамилия моя была включена, но против нее значилось, что Прокопьев Владислав принят в университет без права на общежитие. Ложка дегтя в тот момент не произвела на меня впечатления, и я испытал редкое, но знакомое состояние везения: тебя охватывает чувство уверенности, что иначе и быть не могло и что в этой жизни все правильно, и она не требует никаких основательных реформ. Я отходил и снова возвращался к списку, находил свою фамилию, опять читал, что принят в университет без общежития. Вопрос о том, где я буду жить и на какие деньги там, в солнечном коридоре петровских Двенадцати Коллегий мне не приходил в голову.

Стояла перед списками небольшая толпа, и каждый в ней переживал сильное чувство: либо снова и снова всматривался в столбцы имен, не находя там своего и не веря глазам своим, либо прочитывал свою фамилию в третий и четвертый раз и тоже не верил своим глазам.

Затем я решил найти в списках Мишу Галицкого.

Все клянут очереди и мало кто помянет их добрым словом. Ведь этот национальный институт для одних — спорт, а для других — способ почувствовать себя занятым, ощутить полезную деятельность, услышать слухи. Сколько слухов циркулировало в очередях, и это народное, а порой инородное (исходящее от властей) творчество так и осталось незаписанным в анналы. В более военные времена (ибо когда же они бывали вполне невоенными?) можно было узнать в очереди о человеческих ногтях, попавших в ливерные пирожки; можно было услышать и о вещах почище: о тех же ногтях, но вместе с кончиком пальца. Люди боялись, слухи ползли. В относительно мирные времена слухи несли в массы экономическое просвещение: о денежной реформе, которая непременно случится первого числа и в крайнем случае пятнадцатого; о понижении цен; об исчезновении из магазинов соли и мыла. Действительно, соль исчезала и ногти в пирожках попадались, и денежную реформу ждали, и начинали тратить кто кровную копейку, кто шальные червонцы, лишь бы не пропали они после первого числа. А было еще одно предназначение очередей — в них завязывались знакомства.

В очереди к той самой двери завязалось мое знакомство с эрудитом. Он дал мне свой телефон. Не зная, что мне делать, когда цель достигнута, а до начала занятий еще два месяца, я решил позвонить ему. Эрудит был дома и сказал, что будет меня ждать.

Каждый район в Ленинграде имеет свой дух, точнее, своего духа, так сказать, гения местности. Метагеография — наука будущего, и поэтому в настоящем не будем преждевременно развивать ее принципы. Проходя мимо дворца Кшесинской, почувствовал я всем существом особый дух темной энергии, бесовского беспокойства, напускного аскетизма. И лишь затем, еще не умея дать названия таковому топографическим влияниям, прочитал надпись, что в этом шикарном особняке помещается музей

революции. Эрудит жил неподалеку от музея в шестизэтажном доме, на шестом этаже. Лифт не работал, и я пошел вверх по мраморным светлым ступеням. Лестничные перила были украшены железными лилиями и орхидеями.

Я не успел позвонить, он открыл мне дверь — видно, услышал мои шаги. Мы прошли в комнату с сияющим паркетом, с уютным эркером и высоким лепным потолком. Хозяин лицом был белый и сам — дебелий, этакий Пьер Безухов. Имел, говоря словами Даля, "дебелое произношение", то-есть густое, толстое, твердое. Он тасовал слова с ловкой скоростью — как опытный игрок тасует карты. Фразы были гладкие и блестящие, как ботинки, начищенные ассирийцем.

Я рассеянно смотрел вокруг себя: черный рояль, много книг, среди них издания "Академии", картины — не копии, оригиналы. Не богато, но семья жила тут годы, может быть, три поколения, но не больше, так как и сам дом в стиле модерн был построен в начале века. Я не спрашивал его об отце и дедах, но теперь мне представляется, что дед был наверняка адвокат. Наверное, холил бородку мефистофельского фасона, вроде той, что у Калинина, Дзержинского и Свердлова. Возможно, носил пенсне, как у Луначарского. И выступая в суде на Фонтанке, впадая в элоквенцию, держался за борта пиджака, как Ленин. Должно быть, не чужд был освободительных идей, встречался раз или два с Троцким и видел его в последний раз в "Привале Комедиантов" уже после переворота. Чем-то угодил, и когда кронштадтский матрос ввалился в эту квартиру с маузером и ордером на уплотнение, сумел квартиру отстоять, сказав матросу, что лично знает товарища Зиновьева и даже приходится кое-кому не слишком дальним родственником. Матрос не потребовал доказательств, а только намекнул насчет водочки, которая сразу нашлась, хотя и в неудовлетворительном количестве.

Портрет отца эрудита, доктора Галицкого, висел на стене в круглой раме. Был он в военной форме, в петлицах какая-то геометрия. Чувствовался в нем фанатизм, но и суетливость характера. Автор ученого труда о взаимосвязи костного мозга и симпатической системы нервов, а одна его статья даже была переведена на немецкий. Человек, любивший похихотать при случае, имел он в себе одного из тех бесов, который тербит и жаждет

высунуться. Желание высунуться, по-видимому, и сгубило его. Хотел бы я знать, как эта семья без денег и со связями, уже потерявшими значение, смогла вернуться из эвакуации прямо в свою квартиру, причем не особенно разграбленную.

Но случилось именно так. И Миша Галицкий рос в старой адвокатской квартире, играл Брамса на рояле, учил языки, читал Шиллера, обыгрывал сверстников в шахматы и получал пятерки, не считая четверок по физкультуре. Победитель на школьных олимпиадах, член литературного кружка дворца пионеров.

Я сидел напротив него, утонув в кресле, чувствуя от того еще большую ничтожность и слушал оратора, речь которого была инкрустирована множеством имен. Эрудит, казалось, понимал все на свете, кроме того, что было у него под носом, а именно того, что я не был благодарный слушатель, красноречия его не мог оценить, точку зрения на Лопе де Вега разделить не умел и цитировать Гейне не мог. Гейне по-немецки казался мне вершиной учености, и если я очень постараюсь, думал я, то, может быть, в конце жизни тоже смогу процитировать что-нибудь подходящее к случаю прямо из подлинника-оригинала.

Итак, я сидел в дедовском кресле эрудита, держал в руке серебряный подстаканник, пил красивого цвета чай с сахаром и застенчиво отламывал кусочки бисквита. И вдруг гений напротив меня примолк, погрузился и задумчиво сказал: "Вы знаете, они не приняли меня в университет. Наверное, из-за отца".

К тому времени я уже знал немного о цинизме властей. Нашелся просветитель, мой отчим, который, всякий раз проверяя, закрыта ли форточка, начинал в истерическом припадке виртуозно материть Оську-бандюгу, разбойника Джугашвили, садиста, кровососа. Мне становилось не по себе, его истеричность и концентрированная ненависть передавались мне, и я, тринадцатилетний пацан, дитя улицы и советской школьной системы, кричал ему с остервенением: "Замолчи! Ты сам кровосос!" Между тем припадки ненависти у моего отчима не прекращались, хотя и делались реже. Позже я как-то поймал себя на том, что слушаю эти взрывы ругани с явным удовольствием. Но, как я уже сказал, по части познания совцинизма был я еще на уровне букваря.

Признание Галицкого меня поразило. Этот юный человек

со взрослым интеллектом и еще не проснувшейся душой, рожденной для получения золотой медали, достойный ее более, чем любой лоботряс, которого я когда-либо знал, в университет принят не был, а я, слушавший его, как профессора, несший безмозглый бред на коллоквиуме, принят был. Огорчения моего не надо пояснять. Но одно обстоятельство должно быть упомянуто. Бедняга Галицкий, встретив меня, не набросился тут же с новостями столь печального свойства, но имел выдержку взрослого человека вести светскую, на его взгляд, беседу и лишь потом без рисовки и аффектации заметить между прочим, что его не приняли в университет, о чем я уже догадывался, не найдя его имени в списках.

Чувствовалась в нем также едва ли не врожденная отвлеченность от быта. Казалось, бытовые мелочи просто никогда не бывали в поле его внимания. И еще — какой-то ореол интеллигентности. Где он сумел насмотреться и нахвататься всех этих чуть уловимых жестов, интонаций и положений тела в пространстве, которые противоречили всему позитивному в том вульгарном мире, который окружал меня в "глубинке". После этой встречи я больше его в Ленинграде не видел, и, однажды вспомнив о нем, понял, что это был жадный до знаний и приключений интеллект, лишенный духовного начала, которое все еще мирно спало на дне его существа, и сколько нужно было бы вынести этому человеку бед и несчастий, чтобы духовная сторона его личности могла, наконец, пробудиться.

Галицкий — тупиковый ход моего повествования, которое имеет лишь начало и, возможно, преждевременный эпилог. Середина в нем отсутствует, ибо я не слышал о Галицком тридцать один год.

Совсем недавно я ехал из штата Мэйн в Нью-Йорк. Вдруг я вспомнил, что в милях двадцати в университетском городке живет мой приятель, с которым меня связывали профессиональные интересы. Захотелось отдохнуть после утомительной поездки и вместе с тем повидаться с этим добрым человеком, который уже десять лет аккуратно посылает мне рождественские поздравления.

Университет выглядел обычно: псевдоготика среди простор-

ных газонов. Без труда я разыскал нужное мне здание и в ожидании лифта стал читать объявления. Традиционный гомосексуальный осенний вечер — танцы, напитки... Вилли Тупервеер — ничего не ест и поднимает тяжести втрое больше своего тела... ЦРУ — долой с кампуса!... *Профессор Майкл Галицкий из Лондона: Манифест коммунистической партии как литературный шедевр. Лекция вторая...*

Я вошел в лифт, почти физически ощущая, как работает механизм памяти. До начала лекции оставалось двадцать минут.

Вадим Крейд

ГЛЕБ СЕМЕНОВ *

ПАМЯТИ САМИХ СЕБЯ

Живем себе, кропаем и корпим.
Треск духовых оркестров нестерпим.
Ни полстроки в угоду не изменим:
Мы будем воду пить за неимением
вина, есть голый хлеб, вдыхать густой,
благословенный смрад воспоминаний.
Всегда кому-то столбик со звездой,
а десятеро — камня безымянней.

Зарытые, да есть ли нам число!
И нас в порыве доблести несло
топтать поля истории — мы тоже
наверное, могли!.. Но подытожа
нули успехов и нули потерь,
мы, видит Бог, себя не омрачали
нехваткой славы, — присно и теперь
у нас совсем другой вариант печали.

Свидетельствовать — тоже ремесло!
Чтоб бывшее быльем не поросло,
но обросло легендой или сплетней,
скрипи наш гроб! На улице соседней
то в память, то по случаю, то в честь
при всем народе выцветают флаги.
А женщины готовы предпочесть
нас, лишних в триумфальной колыхаге.

Нам даже удастся честно спать.
И примерещит ежели опять
казенный дом и позднюю дорогу,
из-под простынь выпрастываем ногу
и тешим лицемерным холодком...
Ах! жить бы все на берегу высоком,
не лязгать ни затвором, ни замком
и небо не выламывать из окон!

Ленинград

РЕВОЛЮЦИЯ

Со дня революции прошло почти семьдесят лет. Большинство ее участников и свидетелей ушло в иной мир. Живой опыт жизни превратился в историю, в сочетание символов, в миф — героический и трагический, будничный и праздничный одновременно — как монгольское нашествие, опричинина, крещение Руси или реформы Петра. За почти пять лет моей работы экскурсоводом я рассказал о революции, быть может, тысячам людей. Некоторые из них остались в моей памяти.

Погожий осенний день. Сверкающие купола церквей, стеклянные стены Дворца Съездов, бронзовая мемориальная доска на здании Арсенала, зеленая патина пушек омыты прозрачным солнечным светом. Я иду к асфальтовой площадке, с которой буду говорить о том, что вот, в этом здании с зеленым куполом и плещущимся на ветру красным флагом "жил и работал Владимир Ильич Ленин — создатель коммунистической партии Советского Союза и Советского государства". Впереди группы — шарообразная, в ярком платье еврейка; потное лицо, длинный мясистый нос (такие носы я видел до этого только на карикатурах в советской прессе), черные, роскошные кавказские усы. Цепкой рукой она тащит, как на буксире, маленького человечка, наоборот, мужа, с уныло опущенными усами и безразличными, потухшими глазами.

— Товарищ экскурсовод, — слышу я ее гортанный, с сильным акцентом голос, — вы нам рассказывали о Джоне Риде, о его книге "Десять дней, которые потрясли мир". Так вот, товарищ экскурсовод, эту книгу при Сталине читать было нельзя. Она была запрещена.

Что это, вопрос? Провокация? Надо быть начеку. Совсем недавно, на Красной Площади, какой-то парень, брызнув мне в лицо паранойей и ненавистью, выкрикнул вопрос-лозунг: "А почему евреи убили Ленина?" Сколько раз мне приходилось слышать что-нибудь в этом роде: "Ильич вон как скромно жил, а у этих уже коммунизм".

Мое лицо каменеет маской официальной бесстрастности: "Я ничего об этом не знаю". Но ей не нужен мой ответ. Это не был вопрос, просто хотелось поделиться знаниями.

— А Сталин тоже в этом здании жил, там где и Ленин, — голос ее отчетливо слышен каждому члену моей группы... Сталин. От этого имени словно электрический ток проходит сквозь человеческие тела; они вздрагивают, лица инстинктивно поворачиваются к желтому зданию с зеленым куполом. В этом имени — мистика тайны, дразнящей, пряной, запретной. Хрущевым никто не интересуется, его имя вызывает одну лишь улыбку. Но Сталин — совсем другое дело. Сталин и Ленин — две ипостаси единого бога. Ленин-Христос — "самый человечный человек", снизошедший к заботам простого смертного. Я часто видел, как глаза, особенно у старушек, увлажнялись у его памятника или у мавзолея в религиозном восторге, умилении и материнской нежности. С Ильичом, даже бронзовым, фамильярничать нельзя; можно разве что положить к подножию букетик, что и делают некоторые из моих экскурсанток школьного возраста.

— Товарищи, — говорю я, расставив своих клиентов полукругом, — в этом здании Владимир Ильич написал многие из своих последних работ, такие, например, как "Детская болезнь левизны в коммунизме", "Очередные задачи Советской власти" и "Странички из дневника". Здесь же он беседовал и с известным английским писателем Гербертом Уэллсом, посетившим нашу страну в период иностранной интервенции и разрухи. Уэллс был писателем-фантастом. Он мечтал о перелетах в другие миры, о создании новой породы людей. Он верил во всеислие человеческого разума, но даже ему планы Ильича по превращению России в могучую социалистическую державу казались несбыточными, слишком смелыми. Он назвал Ленина "Кремлевским мечтателем". Но жизнь показала правоту Ильича, в нашей стране

создано развитое социалистическое общество. Мы приступили к постройке коммунизма.

— Да, он не верил, а мы победили, — в глазах моей знакомой победный блеск. Ее тело наливается упругой силой. Она похожа на борца-олимпийца, приветствующего восторженную толпу. Гордым взглядом триумвира она обводит притихшую группу, а затем поворачивается ко мне. На ее лицо тучкой набегает презрение: я, жрец, проповедующий истину, сам в нее не верю. Вместо восторга откровения она читает в моих глазах усталость и скуку. Но так весело светит солнце, так гордо реет над куполом красный флаг, так смиренно лежат наваленные штабелями у стен Арсенала трофейные французские пушки, что не стоит слишком долго сосредоточиваться на сером, безысходном неверии какого-то заблудшего, даже если он — экскурсовод Кремля. Еще раз пообеда взглядом экскурсантов, она говорит с той категоричностью, с которой обычно изрекают "вечные истины": "Мы победили и будем побеждать".

2

— Да что же это там такое происходит. Страшно подумать! Народ ведь легко может потерять всё, что он с таким трудом завоевал у империалистов. Я давно подозревала этого Садата, давно не доверяла ему, теперь он окончательно разоблачил себя. Нужны решительные действия, только они, быть может, смогут предотвратить надвигающуюся катастрофу.

В глазах моей собеседницы неподдельная тревога и полная уверенность в том, что и для меня предательство Анвара Садата — дело первостепенной важности и источник танталовых мук. Я веду экскурсии по революционной тематике и поэтому должен непрестанно думать о мировой революции.

Между тем мы пробиваемся сквозь толчок. Какие-то бабки отчаянно трясут перед нами свои заношенным шмотьем. А дальше — очередь то ли за продовольствием, то ли за колготками. Но она не видит ни этой очереди, ни изъеденных молью воротников под каракуль.

— Они хотят расчленить фронт. Оторвать Египет от прогрессивного лагеря и оставить Сирию и Палестинскую Организа-

цию Соппротивления один на один с империалистическими хищниками.

В ее голосе, суровом как голос советского диктора, объявляющего о начале войны, — негибкая воля солдата.

— Нет, я не верю, что египетский народ, в первую очередь, египетский рабочий класс, будет все это терпеть. Он сметет этого Садата.... Ребята, быстрее! — покрикивает она на свое отстающее стадо. Ей, наверно, за пятьдесят, но ее шаг пружинист, по-спортивному легок, она обгоняет своих пэтэушников.

В ее мужской жилистой силе нет ничего искусственного; не думаю, что она часами бегала по корту или просиживала дни у массажисток, как это делают сухие, поджарые американки в отчаянной борьбе со временем и старостью. Вся эта сила, сложенная работа мышц дались ей естественно, во время лыжных пробегаов или копки картошки на полях подшефного колхоза. Она мало что видит вокруг, не замечает небранной грязи, не видит гипсовых монстров-пионеров, украшающих садик, через который мы проходим, не видит злых и уставших лиц прохожих: — "Что будет с Сирией? Как вы думаете?"

Она не была антисемиткой, она ни разу не упомянула ни Израиль, ни сионизм, ни разу не сделала упрек в адрес "отдельных граждан еврейской национальности", прельщенных сионистской пропагандой и покинувших социалистическое отечество. Все это — и сионизм, и "отдельные граждане еврейской национальности", и Израиль — для нее столь ничтожны, малоприметны по сравнению с величием борьбы между силами прогресса и силами реакции.

У нее не было жалоб на содействительность. Она не упрекала молодежь в испорченности, рабочий класс, — в любви к халтуре, чиновников — в бюрократизме. Ее теодицея была тотальной и религиозно целостной.

Лишь однажды звенья цепи ее Weltanschauung'a слегка треснули. Подойдя к одному из объектов, я назвал имя какого-то "знатного большевика, ветерана ленинской гвардии". — "А вы знаете, что с ним было в тридцать седьмом? Сталин..." — процедила она сквозь зубы.

Я понял, что где-то там, в сорокалетнем колодце времени, в зыбких образах прошлого, рваной беспорядочной ветошью хра-

нящихся на чердаках памяти, у нее осталось воспоминание о чьей-то руке, основательно полоснувшей бритвой по горлу ее семьи. И машина времени, помимо, быть может, ее воли, отправила ее в далекое детство, когда она, девочкой-подростком, испуганно забившись в угол, широко раскрытыми глазами смотрела на людей, уводивших в утреннюю прохладу еще рассветающего дня кого-то ей очень близкого.

Быстро сменив тему, она сказала со счастливой гордостью: "Мой старший брат погиб в Испании". И от того, как она сказала об этой смерти, совсем для нее нестрашной, а какой-то даже почетной и престижной, как правительственная награда или диплом хорошего университета, повеяло романтикой и рыцарством. "Отец мой был на царской каторге. Да, он был закован в кандалы". В кандалах тоже не было ничего трагического; подобно лавровому венку, они облагораживали всех. "И еще, знаете, он лично знал Луначарского". "Да, Луначарский был образованным человеком, — ответил я, — и любопытным мыслителем. А его рассуждения о марксизме, они были напечатаны в период реакции, весьма любопытны. Я читал кое-какие его работы этого периода, когда он был увлечен "богостроительством".

Она посмотрела на меня с укоризной и непониманием: как я, идеологический работник, жрец, мог вспомнить об искушениях и должных быть забытыми грехах одного из коммунистических святых.

— Он сам потом высмеял всю эту поповщину. И вообще, Дмитрий Владимирович, как-то вы мало нам рассказываете, какая-то жидковатая у вас выходит экскурсия.

Она сказала это без угрозы, просто, по-товарищески.

— Ну, нам пора. Ребята, пойдемте к метро. У кого нет пятка, я дам.

Мы подошли к станции. Она вскочила на ленту эскалатора:

— Ребята, за мной!

Выстроившись в линию, пэтэушники исчезли вместе с ней в глубине метро.

— Ребята, не отставать! — я еще долго слышал ее звонкий, постепенно затихающий голос. Мраморная облицовка вестибюля метро была цвета спекшейся крови. Экскурсия "Бои на Пресне" кончилась. Я честно заработал свои три рубля восемьдесят восемь копеек.

3

Серый, промозглый туман разлагающейся слизью окутывает улицу, крошащийся кирпич, выцветшие шелушащиеся стены. Рядом со мной идет женщина средних лет, за нами гуськом плетутся усталые дети. Под моими бутсами чавкает грязь. Я веду экскурсию по Красной Пресне. Обычно мало кто заказывает экскурсии по революционной тематике, но сейчас — юбилей революции 1905 года и гурты школьников гонят к местам революционных боев.

Я подхожу к предпоследнему на моем маршруте объекту — памятнику Ленину, точной копии кремлевского. Этот, правда, победнее, для районного пользования: гипс вместо бронзы. Я расставляю детей полукругом, впереди — моя учительница. У нее опавшие щеки, мешки под глазами, а сами глаза с нежностью устремлены на гипсового монстра. На всей ее предпенсионной фигуре, на блеклом, бесцветном лице — печать бесконечной усталости. Где-то там, в прошлом остались отсюда почти неразличимые молодость, любовь, вера в призвание, надежда. А впереди — старость, нищенская пенсия и смерть. У нее не было древней веры ее отцов и дедов и смерть не была для нее предметом абстрактных рассуждений. Тяжело дыша и хватаясь за сердце на подъемах — вся экскурсия по Пресне состояла из этих бесчисленных подъемов и спусков, — она уже слышала ее неробкие звонки. С надеждой всматриваясь в гипсовое лицо вождя, в алюминиевую краску его зрачков, вслушиваясь в мою быструю скороговорку, она подсознательно искала утешения, какой-то теплоты, которая могла бы согреть ее хотя бы на несколько минут. Но ни гипсовый вождь, ни я не давали надежды. "Подвиг пресненских рабочих не пропал даром. Их жертвы были не напрасны. В крепости царской монархии была пробита первая брешь, которая, неуклоно расширяясь, подтачивала старый порядок".

Мы двигались к метро. "Анна Петровна! — услышал я плаксивый детский голосок, — а контрольная завтра будет? Может, отменим?" — "Будет!" — огрызнулась она в ответ. Подойдя ко мне поближе, она сказала с какой-то жалостливой безнадежностью: "Ах, как это все, Дмитрий Владимирович, грустно!"

“Что?” — “А все, Дмитрий Владимирович, все, — Она сцепила пальцы рук. — Вы нам рассказали про столько великих людей. И все они умерли, и все мы должны умереть. История, я, знаете, преподаю историю — очень грустная вещь, если посмотреть на нее с философской точки зрения”. Она тяжело вздохнула: “Но детям этого я, конечно, не говорю... нужно работать”.

Мы подошли к остановке. Она пересчитала детей и, обернувшись ко мне, сказала: “Спасибо. Большое спасибо за экскурсию”. И улыбнулась. В ее улыбке мелькнуло что-то жалкое, смиренно-безнадежное, детское, мелькнуло и исчезло.

Она последней нырнула в черную пасть метро, и я услышал ее злобный, визгливый голос: “Ты у меня доиграешься, Степанов! Завтра же вызову родителей”. Я не слышал ее больше. Монотонно гудел пустой эскалатор, внизу с шумом проносились поезда.

Дмитрий Шляпентох

В. Петров

КАЛИОСТРО

Воспоминания и размышления о М.А. Кузмине

Публикация Г. Шмакова

Надо было подняться на пятый этаж большого петербургского дома в тихой Спасской улице, которая, впрочем, давно уже называлась тогда улицей Рылеева. Надо было три раза нажать на кнопку коммунального звонка. Тогда открывалась дверь, и за ней возникала атмосфера волшебства. Там жил человек, похожий на Калиостро — Михаил Алексеевич Кузмин.

Он был одним из жильцов захламленной и тесной коммунальной квартиры тридцатых годов. Кроме Кузмина и его близких, в ней жило многолюдное и многодетное еврейское семейство, члены которого носили две разных фамилии: одни были Шпитальники, другие — Черномордики. Иногда к телефону, висевшему в прихожей, выползала тучная пожилая еврейка, должно быть глуховатая, и громко кричала в трубку: "Говорит старуха Черномордик!". Почему-то она именно так рекомендовалась своим собеседникам, хотя было ей, на вид, не больше чем пятьдесят или пятьдесят пять. А однажды Кузмин услышал тихое пение за соседскими дверями. Пели дети, должно быть

Всеволод Николаевич Петров — недавно скончавшийся советский искусствовед, автор ряда работ о "Мире Искусства".

Рукопись получена из СССР.

вставши в круг и взявшись за руки: "Мы Шпиталь-ники, мы Шпи-тальники!". Кузмин находил, что с их стороны это — акт самоутверждения перед лицом действительности.

Также жил там косноязычный толстый человек по фамилии Пипкин. Он почему-то просил соседей, чтобы его называли Юрием Михайловичем, хотя на самом деле имел какое-то совсем другое, еврейское, имя и отчество. Если его просьбу исполняли, то он, из благодарности, принимался называть Юрия Ивановича Юркуна тоже Юрием Михайловичем. Почему он так любил это имя и отчество — из пиетета ли к Ю.М. Юрьеву или по иным причинам — осталось невыясненным.

Иногда из соседней квартиры сюда являлись звонить по телефону грузины по фамилии Веселидзе. О них я не сохранил воспоминаний.

Управдом из бывших прапорщиков, излюбленный персонаж рисунков Ю.И. Юркуна, относился с почтением к писательской профессии. Он говорил, что когда-нибудь будет на доме мраморная доска с надписью: Здесь жили Кузмин и Юркун, и управдом их не притеснял". Как видно, он рассчитывал и на свою долю посмертной славы.

Наискосок, на бывшей Надеждинской, находилась когда-то квартира Бриков, друзей Кузмина. И уже была доска: "В этом доме жил Маяковский".

Кузмин уверял, что любит коммунальные квартиры: в них не так скучно. Однако, при всей уживчивости и общительности нрава, при всей своей приветливой легкости он все же, я думаю, должен был страдать от тесноты и недостатка покоя в этой нескудной квартире.

Кузмин вместе с Юрием Ивановичем Юркуном занимал две комнаты с окнами во двор. Одна из них была проходной — та самая, где работал Михаил Алексеевич и где главным образом шла жизнь. Хозяева там писали, рисовали, музицировали.

Там принимали гостей. Шпитальники, Пипкин, Веселидзе и Черномордики иногда проходили мимо них на кухню. Во второй комнате скрывалась старушка Вероника Карловна, мать Юркуна. Гости туда не допускались.

В комнате Кузмина стоял белый рояль, нарочно слегка расстроенный, чтобы он звучал как клавесин. Стоял между окнами

маленький письменный стол, покрытый толстым стеклом; над ним шла книжная полка с полным собранием сочинений Д'Аннунцио, которого Михаил Алексеевич любил, несколько стыдясь этого пристрастия. Над книгами висела старинная икона св. Георгия. Была кушетка, несколько стульев и огромный стенной шкаф, беспорядочно набитый книгами и папками, в которых хранились рисунки и всевозможные коллекции Ю.И. Юркуна.

На круглый обеденный стол ставили самовар. Жизнь шла открыто. Каждый день от пяти до семи приходили гости. Они являлись без приглашения и могли приводить с собой своих знакомых. Михаил Алексеевич сидел за самоваром и разливал чай.

Он говорил иногда, что его самовар станет когда-нибудь историко-литературной реликвией и попадет в музей. Этого не случилось. После ареста Ю.И. Юркуна все вещи Михаила Алексеевича исчезли бесследно. Сохранилась только любительская фотография, изображающая Кузмина за самоваром.

После чая Михаил Алексеевич садился к роялю и играл, чаще всего, Моцарта или Дебюсси, а изредка что-нибудь пел вполголоса. При этом от гостей не требовалось молитвенного молчания; они продолжали громко разговаривать под музыку.

Весной 1933 года меня привел в этот дом художник К.Е. Костенко, мой сослуживец по Русскому музею. Мы пришли в приемные часы, между пятью и семью. За столом уже сидело довольно большое общество. Михаил Алексеевич был у самовара. Вместе с ним принимали гостей Юрий Иванович Юркун, молодой и красивый, как Дориан Грей, и Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина, жена Юркуна. С ними обоими я вскоре очень подружился. Среди людей, которых встретил в тот день за чайным столом у Кузмина, я помню Константина Вагинова, поэта и переводчика Бенедикта Лившица, и Бориса Сергеевича Мосолова, друга поэтов, которого знали и любили Гумилев, Пяст, Г. Чулков и Вячеслав Иванов.

К.Е. Костенко и я тогда же получили приглашение — раз навсегда — приходить в любой день от пяти до семи. Но Костенко, насколько я помню, больше не появлялся в кузминском доме. А я стал завсегдатаем.

Я думаю, что мне следует представить читателям человека, от лица которого пойдет дальнейший рассказ. В самом деле, кто же этот "я", рассказывающий о поэте? Двадцатилетний юноша, начинающий историк искусства, безмерно увлеченный эпохой Кузмина и ее культурой? Или же — усталый стареющий человек, который через тридцать с лишком лет вызывает в памяти события и впечатления своей юности, и, волей-неволей, видит их теперь сквозь призму прожитой жизни и накопленного опыта?

Автор хотел бы, чтобы его — теперешнего — вовсе не было на этих страницах.



В начале тридцатых годов Кузмин был, мало сказать, очень известен — он был знаменит. Полоса непризнания и забвения, позднее так надолго скрывшая его поэзию, тогда еще не наступила. Она лишь приближалась. Литературные и околослитературные юноши моего поколения отлично знали книги Кузмина. Для меня он был одним из любимых поэтов. Потому я так обрадовался возможности познакомиться с ним, а, войдя в дом Михаила Алексеевича, я испытал такое чувство, будто знаю его уже очень давно, чуть ли не с тех пор, когда, еще подростком, впервые читал "Александрийские песни" и "Нездешние вечера" или "Приключения Эме Лебефа" и "Комедию о Евдокии из Гелиополя". Кузмин был похож на свои книги. Живое общение с поэтом создавало тот же образ, который возникал и при чтении его стихов. Я думаю, что это — одно из свидетельств цельности его натуры и органичности дарования. Он выразил себя в искусстве с несравненной простотой, непосредственностью и естественностью.

Гораздо позднее я прочитал во "Встречах и впечатлениях" А. Я. Голovina следующие строки, которые цитирую здесь с трудом и против воли: "Когда я думаю о М. А. Кузмине, мне представляется полутемная комната, заставленная старинной мебелью, таинственная и строгая: лунное сияние заливает мягким серебристым светом тусклое золото старых резных рам, янтарно-смуглое красное дерево, портреты, ковры, гобелены... Когда я вижу прекрасные старинные вещи, затаившие в себе чью-то давнюю жизнь, впитавшие в себя радости и тревоги многих поколений ... я вспоминаю Кузмина и его стихи".

Так можно было бы писать о каком-нибудь эпигоне Кузмина, но не о нем самом. Люди моего поколения смотрели на Кузмина другими глазами, ценили и любили в нем совсем другое, не стилизованное и старинное, а живое и современное.

Начав когда-то с людьми "Мира Искусства", Кузмин пошел дальше их, оказался тоньше и восприимчивее к веяниям самой жизни. В двадцатых и в первой половине тридцатых годов, когда идеи экспрессионизма и порожденного им сюрреализма в самом буквальном смысле слова носились в воздухе, без труда пересекая любые государственные границы, именно Кузмин подхватил и развил их с неподражаемой оригинальностью. Сборник "Форель разбивает лед", в котором так остро увиден новейший послевоенный Запад, а также многие стихотворения двадцатых годов были вполне "своими" для поэтического авангарда постреволюционной эпохи.

Что же представляет собой поэзия Кузмина, столь непохожая на то, что создавали его современники, совсем отдельная, опережающая развитие литературных течений эпохи. И, вместе с тем, неотделимая от нее, могущественно повлиявшая на современную поэзию, от камерной лирики снобов из "Аполлона" до грандиозной и трагической "Поэмы без героя" Анны Ахматовой.

Наука о литературе еще не дала ответа на эти вопросы.

Кузмин, быть может в большей степени, чем кто-либо из его современников, обладал тем, что можно назвать поэтическим отношением к действительности — иначе говоря, умением видеть поэзию во всех явлениях жизни, самых обыденных, будничных и непритязательных, даже в тех, которые, по представлениям его эпохи, считались "непоэтичными". К мотивам его поэзии можно было бы отнести слова о "живой жизни", сказанные в одном из романов Достоевского. "Живая жизнь, то есть не умственная и не сочиненная, — говорит Достоевский, — есть нечто до того прямое и простое, до того обычное, ежедневное и ежеминутное, до того прямо на вас смотрящее, что именно из-за этой прямоты и ясности невозможно поверить, чтоб это было именно то самое, чего мы вечно с таким трудом ищем".

Это "прямое, простое, обычное и ежеминутное" Кузмин умел раскрыть в образах природы и в мире обыденных предметов, наполняющих повседневное течение жизни человека, и нашел способ сделать этот мир одним из определяющих мотивов своей лирики. Пастернак называл лирические перечисления Кузмина "приемом мгновенного и мимо-

летного затрагивания пейзажа и задевания за него в вещах большой лирической скорости”.*

Ход поэтического мышления Кузмина в каком-то смысле противоположен мышлению символистов. Кузмин стремился неземное поднимать до звезд, а небесное и звездное осмысливать и истолковывать как живущее на земле.

Отзыв о Кузмине Головина характерен: так воспринимали Кузмина его первые ценители, люди круга “Мира Искусства”. Они видели в нем только то, что было в них самих. Они считали его стилизатором, эстетом и “романтиком”, в самом неопределенном и несколько пошловатом смысле этого термина. В таком толковании его творчества есть немало ложного, поверхностного и даже обывательского. Поэтическое мышление Кузмина непрерывно росло, развивалось и изменялось. Он был сложнее и значительнее, чем казалось его современникам, даже близким ему людям “Мира Искусства”.

Кузмин вышел из их среды и сквозь всю жизнь пронес некоторые взгляды и убеждения, восходящие именно к “Миру Искусства” — представление об искусстве как об истинной и бессмертной реальности, более достоверной, чем окружающая действительность, которая нередко оказывается мнимой, обманчивой и кажущейся; непоколебимое равнодушие к социальной проблематике, всегда игравшей такую важную роль в русском искусстве и культуре; наконец, некоторые капризы вкуса, любовь к Бердслею, Уайльду, Д’Аннунцио и ко всей духовной атмосфере модерна.

Я думаю, что здесь же следует искать источник слабых и уязвимых сторон творчества Кузмина, проявившихся, главным образом, в его прозе, особенно в больших романах, вроде “Нежного Иосифа”, “Мечтателей”, “Плавающих и путешествующих” и “Тихого стража”, с их нелепой, порою даже безвкусной сентиментальностью и странным мистицизмом, окрашенным какой-то грязноватой эротикой и переходящим иногда в непереносимую пошлость — которая, должно быть, коренилась глубоко в самой эпохе, потому что от нее не был свободен ни один из больших художников модерна. Сам Михаил Алексеевич не мог этого видеть; он принадлежал своей эпохе и считал, что “Тихий страж” — одна из его лучших книг.

* Г. Шмаков. Михаил Кузмин. В сборнике “День поэзии — 68”, Л., “Сов. Писатель”, 1968, стр. 115.

Ничего подобного нет в его стихах. Поэзия Кузмина рождается из лирического переживания, настолько глубокого и непосредственного, и выражает такую огненную силу чувства, что в ней исчезает и сгорает дотла все нечистое: сентиментальность становится растроганной нежностью, а эротическая мистика превращается в просветленную духовность.

В отличие от людей "Мира Искусства", Кузмин был философом. Его отношение к действительности и даже его эстетизм выросли на почве цельного мировоззрения, сложившегося в итоге глубокого изучения античных мыслителей — от пифагорейцев и Платона до Плотина, александрийцев и гностиков.

По верному определению Г. Шмакова, "Крылья" — непонятый современниками философский роман (пусть даже незрелый или неудавшийся).

Стилизация Кузмина опиралась не только на широкую образованность, нередкую в его поколении, но и на острую и проницательную интуицию, которой нелегко найти аналогию в русском искусстве и литературе. П.П. Муратов писал в предисловии к "Образам Италии" об "удивительно проникновенном изображении христианского Рима в "Комедии об Алексее человеке Божьем". Вяч. И. Иванов, разбирая "Повесть об Елевсиппе" и "Подвиги великого Александра", указывал на "превосходный исторический колорит".

Тот же Вяч. И. Иванов, сам теснейшим образом связанный с романтизмом, настойчиво подчеркивал, что Кузмин — не романтик, "поющий и не слышащий"; он — эхо (в том особенном смысле, какой вкладывал в это слово Пушкин).

В романтизме Кузмин любил одного Гофмана; вся бунтарская и хаотическая стихия романтизма с ее трагическим безумием и чрезмерной, нередко ложной патетикой оставалась чужда его гармоничной и цельной, хотелось бы сказать, — гетеанской натуре. Любовь к Гофману, впрочем, тоже не была безоговорочной. Мне кажется, что Гофман привлекал Кузмина чертами, родственными искусству XVIII века, а не романтизму.

Однажды, играя, по моей просьбе, отрывки из оперы "Ундина", написанной Гофманом, Михаил Алексеевич сказал:

— Гофман всегда уверял, что преклоняется перед Моцартом. А в своей музыке оказался гораздо ближе к Бетховену. И это очень досадно!

Я хочу еще раз вернуться к цитированным строкам Головина. Мне кажется, что комната, описанная им, могла быть у деятелей старшего поколения "Мира Искусства", обеспеченных людей и утонченных коллекционеров — у Сомова, Дягилева или Нувеля, у самого Головина, наконец. Но невозможно представить себе ничего более противоположного тому, что в действительности было у Михаила Алексеевича. Ни резных рам, ни красного дерева, ни гобеленов я у него не видел, и склонен думать, что их никогда у него и не бывало — даже не потому, что Кузмин прожил свою жизнь отнюдь не в богатстве, а доживал ее в нужде. Он просто был выше суетной страсти к вещам, выше любви к уюту. Он жил в проходной комнате с висячей лампочкой под жестяным колпаком, среди рыночной мебели, не замечая ее и не нуждаясь в декорациях, потому что владел чудесным даром превращать в поэзию все, к чему прикасался. Бедная комната с некрасивыми вещами становилась таинственной и поэтичной, потому что в ней жил поэт.

* *
*

Выше я сравнил Кузмина с Калиостро. Конечно, это не относится к его внешности. Михаил Алексеевич нисколько не напоминал тучного и суетливого итальянца, так замечательно изображенного в "Новом Плутархе". Но, подобно своему герою, Кузмин обладал магической силой и зачаровывал людей. Облик Кузмина запечатлен во множестве портретов и не раз описан мемуаристами. Мне остается только рассказать, как выглядел поэт в последние годы жизни.

Если бы удалось хоть на минуту отвлечься от очарования, которое так непобедимо действовало на всех, кто знал Михаила Алексеевича, то, пожалуй, можно было бы сказать, что он выглядит старше своих лет. Его матово-смуглое лицо казалось пожелтевшим и высохшим. Седые волосы, зачесанные на лоб, не закрывали лысины. Огромные глаза под седыми бровями тонули в глубокой сетке морщин.

Таким изображают его почти все фотографии и некоторые поздние, натуралистические, впрочем, совершенно непохожие портреты; я имею в виду известную литографию Верейского и менее известный но где-то воспроизводившийся рисунок Е.И. Кржижановского. Если сравнивать с ранними портретами — хотя бы головинским или сомовским — становится заметно, что весь облик Кузмина с годами сделался строже и четче, графичнее, если можно так выразиться.

А если довериться сохранившимся любительским фотографиям, то может создаться впечатление, что Кузмин — это маленький худенький старичок с большими глазами и крупным горбатым носом.

Но это впечатление ложно. Фотографии ошибаются — даже не потому, что объектив видит не так, как глаз человека, а потому, что аппарат не поддается очарованию. А здесь все решалось именно силой очарования. Слова "старик" или "старичок" так несовместимы с обликом Кузмина, что, наверное, никому и не приходили в голову. Михаил Алексеевич был настолько непохож на других людей, что не подпадал под типовые определения.

Почти то же можно сказать о его поэзии. Она не поддается классификации.

Обычно, за неимением другого ярлыка, Кузмина причисляют к символистам. Сами символисты не считали его своим. Блок по поводу выступления Кузмина в групповом журнале "Труды и дни" с раздражением писал Андрею Белому, что "Кузмин на наших пирах не бывал". Правда, это не мешало символистам, в первую очередь именно Блоку, а также Бальмонту и Вячеславу Иванову понимать и очень высоко ценить поэзию Кузмина. В 1908 году Блок писал: "Милый Михаил Алексеевич, читаю вашу книгу вслух и про себя... Господи, какой вы поэт и какая это книга! Я во все влюблен, каждую строку и каждую букву понимаю... Долго жму ваши руки и крепко, милый, милый. Спасибо".

Были попытки непосредственно связать поэзию Кузмина с акмеизмом, но они едва ли убедительны. Некоторых критиков и историков литературы сбивала с толку статья Кузмина "О прекрасной ясности", напечатанная в "Аполлоне" почти одновременно с программными анти-символистскими статьями Гумилева и Городецкого. Однако, в воззрениях Кузмина, и тем более в его творчестве, очень мало общего с акмеистической или какой бы то ни было групповой программой.

Мне вспоминается, как однажды кто-то из молодых гостей Кузмина стал хвалить стихи Гумилева и восхищаться гумилевской ясностью.

Михаил Алексеевич вмешался в разговор очень решительно.

— Да, — сказал он, — Такая тупая ясность!

Акмеисты не любили стихов Кузмина и тоже не считали его своим. Лучше сказать, что они *не всегда* любили поэзию Кузмина, и отзывались о ней иногда восторженно, а чаще — с холодностью и равнодушием. В 1916 году О.Э. Мандельштам писал: "Кузмин пришел от волжских берегов с раскольничьими песнями, итальянской комедией

родного домашнего Рима и всей старой европейской культурой, поскольку она стала музыкой — от "Концерта" Джорджоне в Палаццо Питти до последних поэм Дебюсси". В более поздней статье (1922) он писал: "Пленителен классицизм Кузмина. Сладостно читать живущего среди нас классического поэта, чувствовать гетевское слияние "формы" и "содержания", убедиться, что душа наша не субстанция, сделанная из метафизической ваты, а легкая, нежная Психея. Стихи Кузмина не только запоминаются отлично, но как бы припоминаются (впечатление припоминания при первом же чтении), vyplывают из забвения (классицизм)".

В устах Мандельштама — это особенно большая похвала. Он был убежден, что настоящие стихи следует именно "припоминать уже при первом чтении, выверяя каждое слово на своем опыте или соотнося со своей основной идеей, той самой, что делает человека личностью". Но в последних строках статьи уже чувствуется холодок осуждения: "Однако, "кларизм" Кузмина имеет свою опасную сторону. Кажется, что такой хорошей погоды, какая случается особенно в его последних стихах, и вообще не бывает".

В великолепно написанной статье "Вульгата" (1923), Мандельштам в следующих выражениях говорит о Кузмине и Ходасевиче: "Это типичные младшие поэты со всей свойственной младшим поэтам чистотой и прелестью звука". В контексте статьи Мандельштама "младшие" значит — второстепенные. Продолжаю цитату: "Для Кузмина старшая линия мировой литературы как будто вообще не существует. Он весь замешан на канонизации младшей линии, не выше комедии Гольдони и любовных песенок Сумарокова. В своих стихах он довольно удачно культивировал сознательную небрежность и мешковатость речи, испещренной галлицизмами и полонизмами. Зажигаясь от младшей поэзии Запада... он дает читателю иллюзию совершенно искусственной и преждевременной дряхлости русской поэтической речи. Поэзия Кузмина — преждевременная старческая улыбка русской лирики".

Гумилев в рецензии на "Осенние озера" пошел еще дальше в отрицании Кузмина, назвав его поэзию "салонной". Правда, этот убийственный эпитет сопровождается множеством вежливых оговорок, но они не меняют сути дела.

Впоследствии я слышал от А.А. Ахматовой, что, по ее убеждению, рецензия Гумилева навсегда оттолкнула Кузмина от всей группы акмеистов.

Я думаю, впрочем, что не следует с чрезмерной категоричностью отрывать Кузмина от той художественной проблематики, которая занимала акмеистов в пору создания "Цеха" и продолжала в дальнейшем влиять на творчество больших поэтов, входивших в состав группы. Почти одновременные выступления Кузмина и Гумилева с теоретическими статьями в "Аполлоне" свидетельствуют о том, что оба поэта делали общее дело, преодолевая наивную и прямолинейную метафизику символизма.

В те годы Мандельштам писал в статье "Природа слова": "Русские символисты... запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь... Все преходящее только подобие. Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Неужели ни один из этих образов сам по себе неинтересен, роза — подобие солнца, солнце — подобие розы т.д.?.. ...Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс "соответствий", кивающих друг на друга... Никто не хочет быть самим собой".

Впрочем, литературные разногласия не всегда переносились на личные взаимоотношения поэтов. Гумилев сердечно любил Кузмина как человека, и, мне кажется, разглядел в нем нечто очень существенное и характерное. У Гумилева была теория, согласно которой у каждого человека есть свой истинный возраст, независимо от паспортного и не изменяющийся с годами. Про себя Гумилев говорил, что ему вечно тринадцать лет.

— А Мишеньке (то есть Кузмину) — три.

— Я помню, — рассказывал Гумилев, — как вдумчиво и серьезно рассуждал Кузмин с моими тетками про малиновое варенье. Большие мальчики или, тем более, взрослые так уже не могут разговаривать о сладком — с такой непосредственностью и всепоглощающим увлечением.

В самом деле, в стареющем, поразительно умном и необыкновенно широко образованном Кузмине иногда проскальзывали черты детского чистосердечия, ясности и непосредственности, какие могут быть свойственны разве только трехлетнему ребенку. (Рассказ Гумилева я записываю со слов О.Н. Гильдебрандт).



Портрет Кузмина работы К. Сомова (1909)

Часто бывая на дневных чаепитиях у Михаила Алексеевича, я познакомился, вероятно, почти со всеми людьми, окружавшими его в последние годы жизни.

Самыми близкими друзьями Кузмина были в ту пору Радловы. Кузмин очень любил Анну Дмитриевну Радлову, называл ее "поэтом с большим полетом и горизонтами" и восхищался ее внешностью, в которой находил черты сходства с Линой Кавальери, но, вместе с тем, и что-то лошадиное: "Помесь лошади с Линой Кавальери". Дружба распространялась на все семейство Радловых, то есть на Сергея Эрнестовича, известного режиссера, а также на его брата Николая Эрнестовича, очень образованного и остроумного человека, превосходного критика, но неважного художника.

Впрочем, ирония Михаила Алексеевича не щадила и друзей. Про Анну Дмитриевну ему случалось говорить, что она "генеральша бестолковая", а на Николая Эрнестовича он досадовал за портрет, написанный в двадцатых годах, а позднее находившийся в Пушкинском доме. Кузмин изображен там держащим в руках свою книгу "Нездешние вечера".

Мне, по службе в Русском музее, пришлось однажды взять этот портрет из Пушкинского дома на какую-то выставку. Автомобиль мне, естественно, не полагалось, и я шел с Васильевского острова пешком с портретом в руках. Когда я рассказал об этом Кузмину, он посмеялся, а потом проговорил полушутя, полувсерьез, и как-то совсем по-детски:

— А я-то думал, что вы мне друг. Только подумать, вы несли в руках эту гадость, шли с ней через мост, и не выбросили в Неву!

— Почему вы считаете портрет таким плохим? — спросил я.

— Вы же его видели. Что уж тут комментировать! — ответил Михаил Алексеевич.

— К тому же что за нелепая мысль изображать меня с моей собственной книгой! Я никогда не читаю моих книг. Я в них вижу одни только недостатки.

И, помолчав, прибавил:

Впрочем, если бы эти стихи написал кто-нибудь другой, они мне, может быть, нравились бы.

Знакомые Радловых становились знакомыми и посетителями Кузмина. Это были артисты, люди театра, художники. Кузмин часто говорил, что всю свою жизнь прожил среди художников. В молодости он был близок с Сомовым и со всем кругом старшего поколения "Мира Искусства", позже — с Судейкиным и особенно с Сапуновым. Все они так или иначе отразились в поэзии Кузмина, а иные имели на нее немалое влияние.

В сборнике "Форель разбивает лед" есть стихотворение под заглавием "Мечты пристыжают действительность", где появляются тени исчезнувших друзей:

Летний сад, надутый гений,
Бестолковый спутник Лева,
Иностранных отделений (Сомов) (Бакст)
Доморощенный Вольтер

В том же сборнике, во "Втором вступлении":

Непрощенные гости
Сошлись ко мне на чай.
Тут хочешь, иль не хочешь,
С улыбкою встречай

Художник утонувший
Топочет каблучком, (Сапунов)
За ним гусарский мальчик (поэт Всеv. Князев)
С простреленным виском

Более раннее стихотворение — "Сапунову", написанное после гибели художника, невольным виновником который был Михаил Алексеевич:

Не знал, другая цель нужна ли,
Как ярче сделать завиток,
Но за тебя другие знали
Как скромный жребий твой высок.

Всегда готов, под мышки ящик,
Дворец раскрасить, иль подвал,
Пока иной, без слов, заказчик
От нас тебя не отозвал.

Сказал: "Я не умею плавать",
И вот отплыл плохой пловец,
Туда, где уж сплетала слава
Тебе лазоревый венец.

В последние годы жизни Кузмин продолжал дружить с художниками. Постоянно бывал у него последний обломок "Мира Искусства", учтивый и чинный петербуржец, скромнейший человек и пленительный художник Дмитрий Исидорович Митрохин. Почти так же часто появлялся петербуржец совсем иного типа, близкий к кубизму живописец и график Владимир Васильевич Лебедев, которого Кузмин считал несравненным мастером, но несколько холодным и слишком рассудочным художником. Навездом из Москвы нередко появлялись у Кузмина В.А. Миклашевский, Т.В. Маврина, Н.В. Кузьмин, а также А.А. Осмеркин и А.Г. Тышлер, которые, в отличие от большинства художников, любили и понимали стихи.

Изобразительное искусство вошло и в самый дом Кузмина вместе с О.Н. Гильдебрандт-Арбениной, женой Юркуна, бывшей актрисой, покинувшей театр ради живописи. Художником стал и Ю.И. Юркун, к некоторому неудовольствию Михаила Алексеевича: он чрезвычайно высоко ставил писательское дарование Юркуна, и считал, что тот должен заниматься литературой, а не рисунками.

К Юркуну часто приходили молодые художники. Среди них Михаил Алексеевич особенно выделял П.И. Басманова, с большой проницательностью угадав в нем оригинальный и сильный талант.

Он подарил Басманову очень хороший и несомненно подлинный рисунок Сурикова, и сказал при этом:

— Вы любите Сурикова; а мне вот больше нравятся ваши акварели.

Иногда, очень редко, в кузминском доме появлялась компания веселой молодежи, не художественной, не литературной и даже не околосредственной. Ее приводил талантливый музыкант и весьма светский молодой человек кн. Петр Андреевич Гагарин: с ним приходила его прелестная жена и два или три прия-

теля. Михаил Алексеевич любил молодые лица и радовался их появлению.



Однако, большинство посетителей кузминского дома все-таки составляли поэты. Очень разные, непохожие друг на друга, и по большей части далекие от той поэтической культуры, носителем которой был сам Кузьмин, они все тянулись к нему, потому что высоко ценили его мнение, свойственную ему тонкость понимания стихов, точность и молниеносную быстроту его реакций и умение дать верный совет.

Я не застал того времени, когда Кузьмин дружил с Хлебниковым или, позже, с Пастернаком. Но я перевидал у него немало поэтов — кажется, из всех живших тогда поколений.

Выше я уже назвал Бенедикта Лившица и Анну Радлову. За чайным столом у Михаила Алексеевича я встречал Сергея Спасского, Рюрика Ивнева, Виссариона Саянова и Сергея Нельдихена.

Вагинов, Хармс и Введенский приходили читать Кузьмину и слушать его советы. Представители поэтического авангарда тех лет, особенно самого крайнего левого фланга, подчеркнуто выделяли Кузьмина из среды поэтов старшего поколения и, кажется, только с ним одним и считались. Это, впрочем, относится не только к поэтам авангарда.

Однажды поднимаясь по лестнице, я заметил тучного и, как мне показалось, не очень молодого человека, который, пыхтя и отдуваясь, с трудом забирался на пятый этаж.

В первую секунду я принял его за Пипкина, описанного выше жильца кузминской квартиры. Но он окликнул меня:

Вы идете к Кузьмину?

— Да, — сказал я.

— Подождите. Пойдемте вместе. Я Багрицкий.

За столом у Кузьмина не было принято читать стихи. За чаем шел только общий разговор. Мне запомнилось, с каким вниманием и почтительностью Багрицкий обращался к Кузьмину и слушал его. Тогда мне думалось, что это странно. Казалось бы, что общего между ними?

В другой раз Михаил Алексеевич пригласил меня прийти не в обычные дневные часы, а вечером, чтобы познакомиться с поэтом, которого он особенно ценил. Это был Андрей Николаевич Егунов, поэт, прозаик и ученый эллинист, выступавший в литературе под псевдонимом "Андрей Николев". Он жил тогда где-то в ссылке, за стовой зоной, и потому очень редко появлялся у Кузмина.

Егунов был, пожалуй, единственным человеком и едва ли не единственным поэтом, в котором я замечал что-то общее с Кузминым. Эти неуловимые черты сходства проявлялись не только в стихах Егунова или в его блистательной прозе, лирической и насмешливой, но и в самом стиле мышления, даже в манере говорить и держаться. Он и за столом сидел как-то похоже на Кузмина, так же уютно и с такой естественной и непринужденной грацией. Впрочем, ни в его манерах, ни в его творчестве не было ничего подражательного.

Ю.И. Юркун стал показывать свое собрание репродукций.

— Я тоже собираю картинки, — сказал Егунов. — И делаю с ними некоторые эксперименты. Иногда прихожу к интересным результатам.

— Каким? — спросил Юрий Иванович.

— Я комбинирую, — объяснил Егунов. — Например, вы помните картину Репина "Не ждали"? Там в двери входит бывший арестант, вроде меня, возвращенный из ссылки. Я подобрал по размеру и на его место вклеил Лаокоона со змеями.

Мы вообразили картину Репина с Лаокооном.

— Да, — сказал Михаил Алексеевич. — Действительно, не ждали!

Среди поэтов еще более молодого поколения самыми заметными были Иван Алексеевич Лихачев и мой университетский товарищ Алексей Матвеевич Шадрин. Оба они писали хорошие стихи, а позднее стали очень известными переводчиками. Они уже тогда знали множество языков и обладали необыкновенной начитанностью.

Я упоминаю об этом, потому что вся атмосфера кузминского дома характеризовалась поразительно высоким уровнем образованности.

Недостижимым примером был сам Михаил Алексеевич.

Нельзя назвать ни одного сколько-нибудь значительного явления европейской духовной жизни, искусства, литературы, музыки или философии, о котором он бы не имел собственного, ясного, вполне компетентного и самостоятельного мнения.

Круг его интересов и пристрастий чрезвычайно характерен для русской культуры начала XX века, созданной, или, лучше сказать, насажденной деятелями "Мира Искусства" и младшим поколением символистов. У Кузмина дело шло из первых рук. Он сам был среди тех, кто насаждал эту культуру.

Основу его образованности составляло знание античности, освобожденной от всего школьного и академического, воспринятой, быть может, через Ницше — хоть Михаил Алексеевич и не любил его — и, в первую очередь, через большую немецкую филологию. Книгу Эрвина Родэ "Die Psyche" Кузмин читал постоянно — чаще, чем Священное Писание, по собственным его словам.

Почти минувя средневековье, в котором его привлекали только отзвуки античного мира, вроде апокрифических повестей об Александре Македонском, интересы Кузмина обращались к итальянскому Возрождению, особенно к Флоренции кватроченто с ее замечательными новеллистами и великими художниками: Боттичелли и молодым Микельанджело.

Отблески искусства кватроченто, флорентинского и венецианского, глубоко проникли в поэзию Кузмина, возникая иногда даже там, где строй его поэтической речи был сознательно и подчеркнуто простонародным, а тема — русской и неожиданно современной.

Вот стихотворение, которого никогда не издавалось:

Не губернаторша сидела с офицером,
Не государыня внимала ординарцу,
На золоченом, закрученном стуле
Сидела Богородица и шила.

А перед ней стоял Михал-Архангел.
О шпору шпора золотом звенела,
У палисада конь стучал копытом,
А на пригорке полотно белилось.

Архангелу Владычица сказала:
— Уж право я, Михайлушка, не знаю
Что и подумать. Неудобно слуху.
Неназванной быть страна не может.

Одними литерами не спастися.
Прожить нельзя без веры и надежды,
И без царя, ниспосланного Богом.
Я — женщина — жалею и злодею,
Но этих за людей я не считаю.
Ведь сами от себя они отверглись,
И от души бессмертной отказались.
Тебе предам их. Действуй справедливо.

Умолкла, от шитья не отрываясь,
Но слезы не блеснули на ресницах,
И сумрачен стоял Михал-Архангел,
А на броне пожаром солнце рдело.
"Ну, с Богом!" —

Богородица сказала,

Потом в окошко тихо посмотрела
И молвила: пройдет еще неделя,
И станет полотно белее снега.

Мне кажется, что от образов этого стихотворения исходит золотое сияние, как от картин Джентиле Беллини или Джорджоне.

От итальянского Возрождения внимание Кузмина устремлялось к елизаветинской Англии с ее великой драматургией: далее — к Венеции XVIII века с *commedia del arte*, волшебными сказками Гоцци и бытовым театром Гольдони; еще далее — к XVIII веку в дореволюционной Франции, к Ватто, аббату Прево и Казотту, и, наконец, к немецкому Sturm und Drang'у и эпохе Гете.

В этом широком и сложном духовном мире русский элемент занимал сравнительно небольшое место и падал на более поздние эпохи. К образам и темам допетровской Руси и, в частности, к древнерусской иконе и литературе Кузмин прикоснулся когда-то через старообрядчество, с которым сблизился в годы молодости. Потом этот интерес ослабел и сменился, в конце концов, равнодушием.

Михаил Алексеевич иногда подшучивал над моим русофильством и уверял, что впервые встречает человека, способного запомнить все княжеские усобицы и разобраться в генеалогии владетельных семейств удельного времени.

В культуре XIX века Кузмин особенно любил уже названного мною Гофмана, а также Диккенса, Бальзака, Пушкина, Достоевского и Лескова.

— Из пары Гофман — Эдгар По я выбираю Гофмана, в нем больше чувства. Но слишком логичен, холоден и интеллектуален, — говорил

Михаил Алексеевич. — А из пары Диккенс — Теккерей выбираю Диккенса, потому что Теккерей для меня слишком социален.

Современную западную литературу в тридцатые годы знали мало, в сущности, только урывками. Книги с трудом проникали через границы и были редки. "Новыми" считались книги предшествующего десятилетия. Правда, имена Джойса и Пруста иногда мелькали в газетной полемике. В.О. Стенич переводил Джойса, но я не помню, чтобы Михаил Алексеевич когда-нибудь упоминал это имя. Об Олдосе Хаксли он говорил с уважением.

Меня удивил его отзыв о Прусте. Кузмин сказал, что проза "Поисков утраченного времени" кажется ему слишком совершенной и недостаточно живой, он сравнил ее с прекрасным мертворожденным младенцем, заспиртованным в банке.

Впрочем, это впечатление объяснялось тем, что Михаил Алексеевич вначале прочел Пруста не по-французски, а в переводах А.А. Франковского. Позже отзывы Михаила Алексеевича совершенно переменились. Ему, конечно, не могло не быть близким искусство Пруста и его эстетика, уходящая глубокими корнями в культуру модерна. Последние книги Пруста, написанные несколько наспех и не столь отточенные, нравились Кузмину гораздо больше первых.

В двадцатых годах Кузмин много и охотно переводил Ренье, но репутацию этого писателя считал преувеличенной. Он находил его вялым, слишком статичным и описательным — в общем, неспособным к стремительному развитию действия. В заметках "Чешуя в неводе" он назвал его "эстетическим Чеховым". Однажды Кузмин сказал: "Я бы, в конце концов, ничего не имел против Ренье, но мне страшно надоели его поклонники".

Самым любимым из новых французов был для него Жироду. Я думаю, что он привлекал Кузмина своей таинственностью и поэтичностью. Однако, мне представляется, что чтение французских авторов было для Михаила Алексеевича не более, чем развлечением. По-настоящему были важны для него только немцы и австрийцы. Кафку, кажется, он не знал, а особенно любил Густава Мейринка, впрочем, не "Голем", которого все читали в тридцатых годах, а другой роман, никогда не издававшийся по-русски — "Ангел западного окна".

Я часто слышал от Михаила Алексеевича, что в течение всей жизни, никогда не разочаровываясь, он любил то, что полюбил в детстве —

Пушкина, Гете, "Илиаду" и "Одиссею", исторические хроники Шекспира.

Перевод "Прощания Гектора с Андромахой", опубликованный в шестом номере журнала "Звезда" за 1933 год, был, насколько я знаю, последним печатным выступлением Кузмина и последней данью его вечной любви к Гомеру.

Разумеется, я мог назвать здесь лишь главные пристрастия Михаила Алексеевича, вовсе не претендуя на исчерпывающий каталог его знаний.

В действительности, его эрудиция была шире и систематичнее того, что я упомянул. Она была в равной степени свободна и от тупого прихват-доцентского педантизма и от дилетантского верхоглядства. Она казалась такой же естественной и непринужденной, как все в Кузмине. Ему было легко и радостно знать и помнить то, что он любит.

Нетрудно представить себе, какое впечатление могла производить эта эрудиция на людей моего непросвещенного и невежественного поколения. Мне она казалась всеобъемлющей. Но когда я однажды сказал об этом Кузмину, он очень серьезно и скромно ответил мне, что это не так.

— По-настоящему я знаю только три предмета, — сказал Михаил Алексеевич. — Один период в музыке: XVIII век до Моцарта включительно, живопись итальянского кватроченто и учение гностиков. А, скажем, античную литературу, да и вообще античность Адриан Иванович Пиотровский знает лучше, чем я. А Смирнов лучше меня знает шекспировскую эпоху.

Более чем когда-либо я досаую здесь на свою немзыкальность. В жизни Кузмина и в его духовном мире музыка занимала огромное место, может быть, большее, чем живопись, история или философия. Когда-то он готовился к профессиональной композиторской деятельности и в течение многих лет писал музыку. Но я не умею рассказать о ней.

Критика, впрочем, не раз отмечала, что стихи Кузмина "не музыкальны" в том смысле, в каком, например, музыкален Блок. Лирические интонации Кузмина лишь редко бывали "поющими"; преобладали интонации разговорные, не чуждающиеся прозаизмов.

Но музыка, как мне представляется, была заложена не в поверхностном слое поэтического мышления Кузмина, влияющем на фактуру стиха, а где-то в глубинных слоях, определяющих более существенные структурные особенности его лирики.

Не следует ли именно в музыкальной культуре Кузмина искать источник и опору несравненного композиционного мастерства, каким характеризуется вся его поэзия?

Впрочем, я решаюсь лишь поставить этот вопрос и не беру на себя смелости дать ответ.



Чтобы очертить круг людей, близких Кузмину в позднюю пору его жизни, мне нужно назвать еще несколько имен.

Одной из центральных фигур этого круга был Лев Львович Раков, историк, сотрудник Эрмитажа, позже ставший оригинальнейшим писателем. Я тогда еще не знал замечательной прозы Ракова, которая никогда не печаталась, и мог восхищаться лишь его блистательным остроумием и дарованием рассказчика. Ему посвящена книга стихов Кузмина "Новый Гуль" (1924), полная пожеланий и предсказаний счастья и славы.

Вслед за ним назову Алексея Алексеевича Степанова, тоже историка, сотрудника историко-бытового отдела Русского музея. Степанов не был профессиональным деятелем искусства — ни художником, ни артистом, ни критиком. Но он превосходно знал театр, особенно любил и понимал балет. Именно театральные интересы объединяли его с Кузминым.

В тридцатых годах Михаил Алексеевич почти не писал стихов. Одним из немногих исключений, о которых я знаю, было стихотворное послание А.А. Степанову. Я запомнил только маленький отрывок:

...и, новый Магомет,
Все жду я в гости гору
К себе — на склоне лет...

Оба — и Л.Л. Раков и А.А. Степанов — были очень красивыми, элегантными и светскими молодыми людьми. Вместе с ними в дом Кузмина проникали отголоски светской жизни, которая еще теплилась в начале тридцатых годов, пока люди не стали бояться друг друга и избегать общения, как это вскоре случилось. Михаил Алексеевич сам был светским человеком, и светские темы его интересовали.

Мне запомнилось, как однажды Л.Л. Раков с увлечением рассказывал Кузмину и даже показывал в лицах выступление Стенича на каком-то вечере у общих знакомых.

— Стенич разработал следующий номер, — рассказывал Лев Львович. — Как вы знаете, он помнит наизусть огромное количество стихов, чуть ли не всю новую русскую поэзию. К некоторым стихотворениям он подобрал подходящую музыку и пел их на мотивы разных танцев. Какие-то, впрочем, очень хорошие стихи Мандельштама он пел, например, под матчиш. Получалась пародия или, во всяком случае, снижение. А Блока "Петербургское небо мутилось дождем" он пел под какой-то грустный вальс, и выходил такой пятнадцатый год, такая Россия, и такая безнадежность!

Здесь я должен сделать маленькое отступление. Валентин Осипович Стенич, переводчик Джойса, блистал в литературных кругах тридцатых годов. Его знали все. Впрочем, именно у Кузмина я почему-то ни разу с ним не встретился.

Человек, одаренный артистичностью, сверкающим остроумием и изобретательностью, необыкновенно начитанный полиглот, уступающий в эрудиции, быть может, одному только И.И. Соллертинскому — ловкий, элегантный, учтивый и обходительный, он был своего рода Бреммелем той эпохи и имел множество подражателей и завистников. Это, должно быть, и погубило его. Впоследствии он был арестован по ложному доносу и погиб в тюрьме одновременно с Ю.И. Юркуном и Б.К. Лившицем.

Возвращаясь к дому Михаила Алексеевича, я должен назвать еще одного человека — в совершенно ином роде.

Это был один из стариннейших знакомых Кузмина, знавший его едва ли не с детских лет: Николай Васильевич Чичерин, брат первого наркома иностранных дел, высокий, очень худощавый старик с седой бородой клинышком, с прекрасными старомодными манерами и чрезвычайно аристократической внешностью.

Не то из-за своей бородатости, крайне редкой в тридцатые годы, не то из-за не менее редкого уже в те годы аристократизма, Чичерин казался явлением какого-то совсем иного мира. Михаил Алексеевич относился к нему по-дружески, но не без некоторой иронии.

Чичерин считал себя композитором. Когда-то в юности он

сочинил романс и с тех пор в течение сорока лет непрерывно его исправлял и усовершенствовал, задолго предвосхитив одного из персонажей "Чумы" Камю, который никак не мог написать рассказа, потому что все время работал над улучшением вступительной фразы.

Николай Васильевич садился к роялю и, сам себе аккомпанируя, негромко пел козлиным голосом новые варианты своего романса.

Михаил Алексеевич очень серьезно слушал его и давал советы.

* *
*

Кузмин охотно вспоминал, что в его жилах течет французская кровь. Одна из его бабушек была дочерью французского эмигранта. В самой внешности Михаила Алексеевича внимательные наблюдатели замечали что-то французское. Недаром в молодости в кружке Вячеслава Иванова ему дали прозвище "аббат". Однажды за веселым ужином в ресторане молодой Кузмин подавился куриной костью, и Вяч. Иванов шутил, что аббату очень подходит умереть, подавившись пуляркой. На это Кузмин сердито ответил, что ему вообще не подходит умирать ни от каких причин.

Нечто галльское было и в его духовном облике, в складе его ума, быстрого, ясного и иронического, в его безупречном чувстве меры и, может быть, в характере таланта, с редким в русской лирике композиционным чутьем; наконец, даже в строе его фантазии, несколько суховатой и всегда логичной.

Но Кузмин был таким французом, каких во Франции, я думаю, не бывает. Французская кровь была привита к старинному родословному древу ярославских и пензенских дворян. Культурно-психологический тип, выразителем которого был Кузмин, мог сложиться только в России, более того — *только в русском дворянстве с его всемирной отзывчивостью и тем "всепримирением идей", о котором писал Достоевский.* Читатель знает, что речь идет совсем не об эклектизме, да Кузмин и не был эклектиком.

Подобно некоторым излюбленным персонажам Достоевского, Кузмин "не мог не уважать своего дворянства". Он любил

начертание и звук своей старинной фамилии и раздражался, если ее писали неправильно, с мягким знаком — "Кузьмин". "Это не моя фамилия", — говорил Михаил Алексеевич.

Марина Цветаева в своих воспоминаниях о единственной своей встрече с Кузминым зимой 1916 года — "Нездешний вечер" — хорошо рассказала о его природном изяществе — именно природном и потому естественной-пленительном, но не удивляющем — и с замечательной меткостью разглядела в нем главное — очарование.

Я цитирую: "Как вам понравился Михаил Алексеевич?" — (спрашивает хозяин дома, где они встретились). — "Лучше нельзя, проще нельзя" — (отвечает Цветаева).

Я думаю, что очарование Кузмина слагалось из двух элементов. Первым была доброжелательная внимательность к людям, живой интерес ко всякому человеку, с которым ему доводилось общаться. Вторым, не менее важным, — была аристократическая простота.

Цветаева, разумеется, знала и любила поэзию Кузмина и воспринимала его как поэт — поэта, "с восторгом и ревностью", в первую очередь, — через стихи.

У меня на глазах случился пример более непосредственного восприятия. Моя мать была строгой, несколько даже чопорной петербургской дамой, далекой от искусства и глубоко чуждой всему богемному. Но мама восприняла Кузмина, в сущности, совершенно так же, как Цветаева, и сказала о нем почти то же самое, только чуть-чуть другими словами.

— Таких образцово светских людей, как Михаил Алексеевич, теперь уже нигде не встретишь. Какая безукоризненная благовоспитанность и какая простота! Вот у кого ты должен учиться, как нужно держать себя в обществе.

* *
*

Я знал Кузмина в печальные, быть может, самые печальные годы его жизни. Он был стар и смертельно болен. Дата его рождения, обычно указываемая в справочниках — 1875 год — неверна. Он был старше, в чем не признавался. Я знаю об этом от Ю.И. Юркуна.

Летом 1935 года, когда Михаилу Алексеевичу считалось, по паспорту, шестьдесят, он жил в Царском Селе, в писательской санатории. Я приехал навестить его вместе с моим другом, молодым поэтом Андреем Ив. Корсуном. Михаил Алексеевич очень обрадовался нам и повел на прогулку в парк.

Над голубым растреллиевским дворцом и пышными липами парка в безоблачном бледно-голубом небе летел аэроплан. Кузмин оглянулся на него и спросил нас:

— Вы не находите, что пейзаж, если ввести в него аэроплан, сразу становится каким-то старинным? — И прибавил, как будто сам себе отвечая: — Должно быть, чтобы дать почувствовать старину, нужно ее чем-нибудь чуть-чуть нарушить.

В этот старинный пейзаж с аэропланом отлично вписывалась маленькая хрупкая фигурка Кузмина с огромными, насмешливыми и добрыми глазами, с серебряными кольцами волос, едва прикрывавшими смуглую лысину — фигурка аббата XVIII столетия и, вместе с тем, барственного русского западника.

Когда мы прощались, Кузмин особенно внимательно и приветливо посмотрел на нас и сказал, что теперь, расставаясь со знакомыми, он иногда думает, что больше их не увидит.

— Мне теперь постоянно думается: "Да, Михаил Алексеевич, тебе ведь уже шестьдесят лет".

На самом деле ему было порядочно больше. Он ненавидел старость и втайне мучился мыслью о смерти. Он не курил и почти не пил вина, хотя в течение всей жизни был курильщиком и любил вино. Припадки сердечной астмы повторялись, правда, не очень часто, но с угрожающей систематичностью и ослабляли волю к творчеству. Он много работал, но только над переводами, которые тоже, как это нередко бывает, убивали его собственную поэзию.

В те годы он переводил сонеты Шекспира. Не знаю, сохранились ли эти переводы, на мой взгляд гораздо более совершенные и близкие к подлиннику, нежели все позднейшие попытки передать по-русски поэтическую речь Шекспира.

Я уже говорил, что сам Михаил Алексеевич тогда почти не писал стихов; не могу назвать ничего, кроме упомянутого послания А.А. Степанову и еще одного, очень пессимистического стихо-

творения, из которого мне запомнилась одна строчка: "И сердца систолические шумы...", навеянная болезнью и разговорами с врачом.

Очередной том "Нового Плутарха", содержащий роман о Вергилии — "Римские чудеса, или жизнь Публия Вергилия Марона, мантуанского кудесника" — оборвался на третьей (неопубликованной) главе и никогда не был дописан.

Для себя Кузмин писал только дневники. Он охотно читал их друзьям. Записи о каждодневных обыденных происшествиях и беглые размышления: например, о "пейзаже с аэропланом", записанное, по-видимому, после нашей общей прогулки по царско-сельскому парку, или о Симонетте Веспуччи и ее портрете, сделанном Боттичелли, перемежались там с воспоминаниями о детстве, об Италии и о "Башне" Вячеслава Иванова.

Мне представляется, что такая структура дневника в какой-то мере выражает отношение Кузмина к окружающей его, но, в сущности, чужой современности, к эпохе тридцатых годов, которая казалась ему тусклой и скучной.

В 1917 году Кузмин, как и многие поэты его поколения, писал стихи о русской революции:

"...проходит по тротуарам простая,
Словно ангел в рабочей блузе..."

Все, что было огненного в революции, за полтора десятка лет успело перегореть дотла; остался серый пепел, на котором выросли торжествующие мещане, персонажи книг Зощенко. Им вскоре предстояло превратиться в тупых и злобных исполнителей — или, в лучшем случае, пассивных пособников — свирепо задуманной программы унижения России и уничтожения ее культуры.

До этого превращения Кузмин, по счастью, не дожил, и, я думаю, едва ли его предчувствовал. Современники еще казались ему более смешными, чем страшными. Естественно, однако, что с ними у Кузмина не могло возникнуть взаимного понимания, и он, мне кажется, *смертельно скучал* в этой новой эпохе.

Настоящее не было для него настоящим, то есть *подлинным и несомненным*; оно воспринималось как нечто случайное и ошибочное. Настоящим, то есть истинной и неоспоримой реаль-

ностью, было для него прошлое, и Кузмин в своем дневнике спасался от тридцатых годов в воспоминания о родительском доме в Ярославле, о путешествиях в Италию и Египет, о людях "Башни" Вячеслава Иванова, свидетелях молодости и славы поэта.

Здесь, однако, необходима оговорка. Менее всего я хотел бы внушить впечатление, будто Кузмин фрондировал. *Он просто скучал.* Политика была ему органически чужда, а современность — глубоко неинтересна. Она ничего не могла дать его поэзии. Внутренне отталкиваясь от эпохи, не принимая ее, так же, как и она его не принимала, Кузмин сохранял достаточно выдержки, чтобы не ворчать и не терять приветливости к окружающим, даже веселости, по крайней мере в те промежутки, когда сердечная астма не напоминала о себе слишком настойчиво. Чувствуя, что жизнь неприметно уходит, ускользает от него, как песок между ладонями, он даже, может быть, прилеплялся душой к этой скучной и чуждой современности, которая, как бы она ни проявлялась, но все-таки была живой.

В окружавшей его молодежи, в А.М. Шадрине, И.А. Лихачеве, в молодых художниках и, может быть, во мне он ценил искренний и бескорыстный интерес к его творчеству, и ко всему, что было ему близко и дорого в культуре. Иногда он дарил мне книги, однажды — на день рождения — подарил прекрасную персидскую миниатюру, и был очень доволен, когда я принялся изучать итальянский язык.

— Можно вам позавидовать, — говорил Михаил Алексеевич. — Сами подумайте, сколько перед вами откроется: Данте — ведь он совсем не похож на переводы; новеллисты и поэты Возрождения, и как новую книгу будете читать "Scritti inutili"* Гоцци.

Я не писал стихов и не могу поэтому рассказать, как разговаривал Кузмин с молодыми стихотворцами.

Но Кузмину можно было читать не только стихи. Он обладал глубоким и тонким пониманием изобразительных искусств, и сам не раз выступал как художественный критик. Среди тех,

* "Бесполезные записки"

кто писал о художниках "Мира Искусства", Кузмину принадлежит очень видное место. Его превосходная статья о Нарбуте может, на мой взгляд, служить образцом критического эссе.

Однажды я попросил разрешения прочитать Михаилу Алексеевичу какую-то свою искусствоведческую работу. За давностью лет я уже не могу вспомнить, о чем именно шла речь в моей статье. Думаю только, что статья была очень юношеской и незрелой, и, конечно, не заслуживала того внимания, с каким отнесся к ней Михаил Алексеевич. Во время чтения я это довольно ясно почувствовал, и мое смущение не укрылось от Кузмина. Ему, должно быть, хотелось меня похвалить и ободрить. Он сказал мне:

— Вы любите и понимаете то, о чем написали, и это, конечно, главное. Но вы пишете блестяще, а это нехорошо. С блеском пишут только второстепенные авторы: и от блеска совсем недалеко до безвкусицы. У вас ее, слава Богу, нет, и я убежден, что никогда не будет. Я в вас верю. Но для людей вашей, или, лучше скажем, нашей общей профессии блеск — это постоянный и самый опасный соблазн. Почти все критики стараются писать об искусстве с блеском, и любят себя больше, чем искусством. Вот, например, Абрам Эфрос, которого вы, вероятно, уважаете, пишет так блестяще, что нужно все время зажмуриваться — и невыносимо читать. И притом поминутно срывается в безвкусицу.

— Он теперь перевел "Vita nova". Перевел плохо, но тут с него невелик и спрос. А в предисловии написал с ослепительным блеском, что Данте был "раскулаченный патриций", и, наверное, очень собой доволен. Но это уже слишком!



В начале моих воспоминаний я говорил об атмосфере волшебства, в которую входил каждый, переступив порог кузминского дома. Здесь все казалось особенным и несхожим ни с чем, ранее виденным и пережитым — и люди, и разговоры, и круг интеллектуальных интересов, и, прежде всего, сам Михаил Алексеевич — живое воплощение духа искусства. Волшебством была поэзия, которой он дышал, как другие люди дышат воздухом.

Поэзия пронизывала весь строй его мысли и уклад его жизни, одухотворяла действительность и открывала перед внутренним взором поэта то, чего другие не умели увидеть.

Силу поэтического прозрения, свойственную Кузмину, я почувствовал особенно остро, когда впервые услышал его замечательные стихи о переселенцах.

При всей моей тогдашней неопытности, я не мог не понять, что сюжет и декоративная обстановка, навеянные, быть может, романом Диккенса "Мартин Чезлвитт", обладающие, правда, необыкновенной изобразительной силой и гипнотизирующей реальностью — все же представляют собой нечто внешнее, что дело не в Америке и ее первых поселенцах, что стихи эти Кузмин написал о себе самом и обо всех нас, о том, что нас окружает и ждет в будущем. Ведь Кузмин и сам был невольным переселенцем в чужую эпоху. Я не побоюсь сказать, что в его стихах есть нечто пророческое. Ниже я еще вернусь к ним.

В тот вечер Кузмин пригласил меня остаться после обычного дневного чаепития. Гости разошлись. За бутылкой белого вина мы остались вдвоем — Михаил Алексеевич, Ю.И. Юркун и я.

По моей просьбе Кузмин сначала играл на рояле и пел слабым, необыкновенно приятным голосом "Александрийские песни" и отрывки из "Курантов любви".

Потом он начал читать.

В устах Кузмина чтение стихов ничем не напоминало выступления с эстрады. Он читал очень просто, даже несколько монотонно, лишь изредка подчеркивая голосом какое-нибудь слово или оборот речи, без аффектации и распева, совсем непохоже на Мандельштама и Ахматову.

Я впервые услышал тогда стихи двадцатых годов, не вошедшие ни в один сборник (в том числе и поразительных "Переселенцев"), а также пьесу "Смерть Нерона" и третью главу "Римских чудес".

Читая эту главу, Кузмин пожаловался, что роман о Вергилии пишется гораздо труднее и медленнее, чем "Калиостро".

— Раньше я умел импровизировать, — говорил Михаил Алексеевич. — Мне почему-то никак не удавалось сесть за стол и начать писать "Калиостро". Все что-нибудь мешало. Издатель Беленсон стал приставать ко мне — когда же будет рукопись.

Чтоб отвязаться, я сказал, что уже пишу. Беленсон пришел ко мне. Я взял чистую тетрадку, и, глядя в нее, прочел ему всю первую главу. А потом написал ее, именно так, как тогда читал. Почти слово в слово.

В тот удивительный вечер, о котором я сейчас говорю, Кузмин читал мне чуть ли не до середины ночи. Я не решаюсь рассказывать о своих впечатлениях. Литературная критика не составляет здесь моей цели. Любое описание было бы ниже и слабее тогдашних ощущений.

Михаил Алексеевич, должно быть, устал и несколько взволновался после продолжительного чтения. Он вышел проводить меня в прихожую и остановился в дверях, маленький, седой, очень изящный, одетый в короткий меховой тулупчик. Мне навсегда запомнился его силуэт в прямоугольной раме двери. Он напоминал угодника со старой русской иконы — побледневший и истончившийся, почти как бесплотный дух.

Это было 1 декабря 1934 года. Мы не знали тогда, что в тот день переломилась эпоха. В Смольном был застрелен Киров. Вскоре поднялась первая большая волна арестов и высылки. Люди стали бесследно и неожиданно исчезать. Едва ли не в каждой семье были жертвы. Из числа постоянных посетителей кузминского дома исчез кн. П. А. Гагарин. Больше я никогда его не видел.

Я думаю теперь, что судьба проявила благосклонность к Кузмину, послав ему смерть накануне бури 1937 года, которая погубила столько близких ему людей, начиная с Ю. И. Юркуна, и, конечно, не пощадила бы и Михаила Алексеевича. Он мог бы стать одной из первых жертв. Ведь даже его вполне аполитичные и невинные, но все-таки ежедневные чаепития с гостями настолько противоречили нравам эпохи, что должны были казаться властям если не преступными, то по крайней мере весьма подозрительными.

Кузмин умер в Куйбышевской районной больнице ранней весной 1936 года. Когда-то он сам себе напроорочил:

Я знаю, я буду убит
Весною, на талом снеге...
Как путник усталый спит,
Согревшись в теплом ночлеге,

Так буду лежать, лежать,
Пригвожденным к тебе, о мать.

Я сам это знаю, сам,
Не мне гадала гадалка...

Он похоронен на Волковом кладбище. В гробу он лежал строгий, странно помолодевший и похожий на Данте. Серебряные пряди волос, которыми он обычно прикрывал лысину, легли ему на лоб, как лавровый венок.

В день похорон с утра дул пронзительный петербургский западный ветер и падал мокрый снег. Погребальные дроги почему-то не могли въехать во двор больницы и сстались на Литейном, где еще стоял тогда памятник принцу Ольденбургскому.

Вчетвером — А.А. Степанов, И.А. Лихачев, А.М. Шадрин и я на руках вынесли нетяжелый гроб.

Проводить Михаила Алексеевича пришли почти все те, кого я встречал в его доме. Из родных был только его племянник С.А. Ауслендер, приехавший из Москвы.

А.А. Ахматова была нездорова и не присутствовала на похоронах. Приехал ее муж Н.Н. Пунин. Шагая рядом со мной в процессии, он сказал:

— Хороним Кузмина, как Моцарта, в снежную бурю.

Церковной службы не было в тот день. Нечто вроде гражданской панихиды состоялось на кладбище перед открытой могилой.

Первым сказал, или, вернее, проямлил несколько слов председатель Союза писателей, довольно известный в те годы поэт В.Р. Его речь неприятно поразила присутствовавших. Мне — да и не мне одному — представлялось, что о Кузмине нужно говорить как об огромном поэте и необыкновенном явлении русской культуры. Р. назвал его только "известным лириком", "опытным переводчиком" и "последним символистом". Непонимание и недооценка Кузмина начались уже в день его похорон. Немногим лучше говорил С.Д. Спасский. Тяжелое впечатление от этих выступлений несколько исправила прекрасная речь В.М. Саянова. Но еще лучше говорил Ю.И. Юркун. Он очень сердечно и

просто, как будто от лица живого Михаила Алексеевича, поблагодарил всех, кто пришел его проводить.

На следующий день самые близкие друзья пришли на панихиду в Спасо-Преображенский собор. Церкви пустовали в те годы, и старенький священник, по-видимому, заинтересовался непривычной группой молодых людей, пришедших слушать панихиду.

Он очень истово молился об упокоении души новопреставленного раба Божия Михаила. (Назвать его "боярином Михаилом" мы не решились).

А прощаясь с нами, священник сказал:

— Живите долго, и живите весело!

— Несколько удивительное пожелание после панихиды, — прошептала мне на ухо О.Н. Гильдебрандт.

Я ответил, что, по-моему, это пожелание вполне христианское и мне кажется, что сам Михаил Алексеевич был бы им доволен.

* *
*

Однако, я думаю, что Михаил Алексеевич был прав, когда говорил, что ему не подходит умирать ни от каких причин.

И воспоминания о нем не подходит завершать описанием похорон, поминальных речей и заупокойной службы.

Прошло много лет, Кузмина забыли так давно, что уже стали этого стыдиться и начали понемногу вспоминать. Кажется, в 1960 году ко мне обратился главный редактор серии "Библиотека Поэта" В.Н. Орлов. Он составлял антологию "От Бальмонта до Ходасевича", где, естественно, немалое место должны были занять стихи Кузмина.

Орлову хотелось найти неизданные тексты, которые можно было бы включить в антологию. Мы оба вспомнили про стихотворение об американских переселенцах. Но ни Орлов, ни я не знали этих стихов наизусть и не располагали никакой записью. Я сделал попытку разыскать автограф или хотя бы запись стихотворения, и обошел всех тех немногих людей, которые знали Кузмина и были еще живы в 1960 году.

Попытка оказалась тщетной. "Переселенцев" не нашлось ни

у О.Н. Гильдебрандт, ни у Л.Л. Ракова, ни у О.А. Черемшановой, ни у А.М. Шадрина, ни у Е.К. Лившиц.

Последнюю надежду я возложил на феноменальную память И.А. Лихачева — и не ошибся.

Об удивительной памяти этого человека слагались легенды. Я знал о нем, что в 1937 году, сидя в тюрьме под следствием и, разумеется, не имея в камере ни книг, ни словарей, ни даже карандаша и бумаги, он в уме перевел несколько десятков стихотворений с английского, французского, испанского, португальского и других языков, которыми владел.

Потом, после приговора, он получил свидание с родными. По его просьбе они принесли ему бумагу. И.А. Лихачев записал свои переводы в тетрадь, и *пропал без вести на 22 года*.

В 1958 году он вернулся из ссылки.

Я написал ему письмо.

И.А. Лихачев приехал ко мне и на вопрос, помнит ли он "Переселенцев", ответил:

— Конечно. Я пронес эти стихи сквозь все мои тюрьмы и лагеря.

Он присел к столу как-то боком, взял бумагу, и левой рукой записал великолепным почерком без единой помарки довольно длинное стихотворение.

В то же утро я по почте послал стихи В.Н. Орлову с письмом, где рассказал о своих поисках, объяснив, что ни автографа, ни даже копии не удалось отыскать, а стихи уцелели только в памяти И.А. Лихачева. Но порукой точности текста служит его художественное совершенство.

Ночью меня разбудил телефонный звонок. В.Н. Орлов извинился, что звонит в столь позднее время. Он только что вернулся домой, нашел мое письмо — и так полон стихами Кузмина, что испытывает непреодолимую потребность поговорить о них.

С тех пор прошло еще десять лет. Антология "От Бальмонта до Ходасевича" поныне осталась неопубликованной. Поэтому я привожу стихи здесь:

Переселенцы

Чужое солнце за чужим болотом
Неистово садится на насест,
А завтра вновь самодержавно встанет,
Не наказуя, не благоволя.

Как ваши руки, Молли, погрубели,
Как опустился ваш веселый Дик,
Что так забавно толковал о боксе,
Когда вы ехали на пакетботе.

Скорей в барак! Дыханье малярии
С сиреневыми сумерками входит
В законопаченные плохо стены.
Коптит экономическая лампа
И бабушкина Библия раскрыта.

Как ваши руки, Молли, похудели,
Как выветрилась ваца красота,
А ждете вы четвертого ребенка.
Те трое худосочны, малокровны,
Обречены костями осушать
К жилью неприспособленную местность;
О Боже, Боже,

Боже, Боже, Боже,
К чему нам просыпаться, если завтра
Увидим те же кочки, и дорогу
Где палка с надписью "Проспект побед",
Лавчонку и кабак на перекрестке,
Да огороженную лужу: Капитолий.

А дети вырастут как свинопасы,
Разучатся читать, писать, молиться,
Скупую землю будут ковырять,
Да приговаривать, что время — деньги.
Бессмысленно толпиться в Пантеоне,
Тесовый мрамор жвачкой заплевав,
Выдумывать машинки для сапог,

Плодить детей, и тупо умирать,
Почти не сознавая скучной славы
Обманчивого слова: пионеры.

Поспите лучше, Молли, до полудня.
Быть может, вам приснится берег Темзы
И хмелем увитой родимый дом.

Мне кажется, что эти стихи о крушении культуры, написанные пятьдесят лет назад, вполне современно звучат и теперь. В них есть пророческая тревога о судьбах двадцатого столетия.

Пройдет еще пятьдесят, и сто, и двести лет, а эти стихи будут живы, как бы ни изменялись конкретные проблемы и формы жизни, потому что духовный смысл метафоры обладает способностью расти, вбирая в себя опыт новых поколений, становится все более широким и гибким, обретает с годами неизмеримую глубину — если только сама метафора охватывает и обобщает борьбу вечных метафизических сил, управляющих миром.

Ленинград
май-июль
1970 г.

ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ

ВЕНЕЦИЯ

Венеция, как праздник, хороша,
Венеция — Минерва в строгой каске,
Когда она сквозь ткань карандаша
Проглядывает в мраморе и краске.
Когда она глядится с высоты
В лицо морей, блюда свои затеи
И молодые развернув холсты
Любуется весельем светотени.
В косом качаньи корабельных рей,
Под свежим ветром памяти попутной,
Венеция — большая акварель
Овеяна каким то вечным утром.
Но, словно мир, Венеция стара;
Усталостью сквозит седая арка
И отблеск византийского двора
Остановился в прорезях Сан-Марко.
Устав от романтических румян,
В цветных медуз преображая виды,
Проходит Тёрнер, унося в туман
Прохладную улыбку Нереиды.

Но Муза от забвенья увела
И каждый раз по новому встречала
Далекий плеск вечернего весла
И шорох волн у старого причала.
А в солнечном свечении лагун
И до сих пор еще звучит кому-то
Турецких ядер травленный чугун,
Старинный гром далекого салюта.
Фундамент опустился и размяк,
И гондольер почти уже нелепость,
Но оседает на сырых камнях
Морская соль Родоса и Алеппо.
Гермес твоим причалам изменил,
И сети позабыли об улове
Богатый грек и хитрый армянин
Вершат судьбу былых твоих сокровищ.
И волны набегают без конца
И светится поблекшая порфира
Непобедимой прелестью лица,
Венецианским золотом Шекспира.

СЕРГЕЙ ШАРШУН

Покинув Россию в 1912 году, Сергей Иванович Шаршун жил и в 1975 году скончался в Париже, но, как художник, был почти неизвестен в русских эмигрантских кругах. В тоже время его картины выставлялись в Париже, в большинстве французских городов и заграничье. Иностранные знатоки искусства и критики говорили и писали о Шаршуне уже давно. Полотна его вызывали живой интерес и получали высокую оценку художественной элиты. Пикассо сказал о нем. "Для меня есть два художника — Хуан Гри и Шаршун". Несмотря на такие отзывы о творчестве Шаршуна, он долго оставался только "художником для художников".

С.И. Шаршун был художником оригинальным, самобытным, он никогда не подчинялся моде, не гнался за рекламой, не подписывал контрактов с продавцами картин, боясь продать свою свободу творчества. Он не примыкал ни к одной художественной группе, всегда оставался самим собой, ища свой собственный стиль, совершенствуя свою технику.

Такое кредо обрекало его на почти нищенское существование. Жил он случайной продажей какой-нибудь картины, и покупателями его часто бывали тоже художники или поэты. Среди его друзей были Пикабия, Тристан Цара, Арп, Макс Эрнст и др.

По натуре Шаршун был аскетом. Довольствовался малым: крыша над головой, стол, кровать, мольберт. Питался хлебом, молоком, овощами, фруктами, медом. Одежда его не интересовала, лишь бы прикрыть наготу. Кроме живописи, у Шаршуна были еще три страсти: любовь к путешествиям, литература, музыка. Из-за отсутствия средств путешествия ограничивались (кроме Берлинского периода) одной Францией. Для этого не на-

до было много: крепкие подошвы, мешок за плечами со скромным содержимым: одеяло, хлеб, финики, или еще что-нибудь из фруктов. Часто он ночевал под звездами, в дождь — под каким-нибудь навесом, закутавшись в одеяло. Боялся злых собак и злых жандармов, которые могли его принять за бродягу и отправить за решетку. От собак была толстая палка, а для жандармов — пара папирос, вежливая улыбка и документы в идеальном порядке, которые он протягивал первым и даже безо всякого требования. Но зато какие живописные уголки открывал он, какие чудесные пейзажи; ознакомился с архитектурой старинных соборов, посещал музеев. Его всегда тянуло к воде. Быть может, Сена напоминала ему другую реку — Волгу, на которой он вырос. В небольших книжках, которые он потом написал, река всегда присутствует, как лейтмотив.

В 30-40 годах Шаршун занимался литературой наравне с живописью. Адамович безошибочным критическим чутьем распознал его литературный дар. Хвалил его потом и Ю. Терапиано. Действительно, страницы его произведений переполнены неожиданными сравнениями, образами, свежестью выражений и поэзией, доказывающими оригинальное писательское дарование.

Я не собираюсь подвергать анализу ни литературного, ни художественного дарования С.И. Шаршуна, я буду говорить только о Шаршуне-человеке. А человек он был такой же оригинальный, как и его творчество.

В листовках "*Клапан*", "*Свечечка*", которые он печатал и рассылал друзьям, Шаршун писал о себе: "Мне свойственны, увы, не глубокие мысли, даже не трагичность, а лишь мимолетная острота, тонкость переживания, ощущение, фотографическое схватывание... Главное дело моей жизни (кроме нисхождения в преисподнюю, — это вывести на чистую воду, разгрызть орешек в существое одного человека: что такое он есть. А единственно доступный моему наблюдению субъект — я сам ... Моя тусклая, беззвездная жизнь интенсивнее вымысла. Отсюда — "Герой интереснее романа" (название его книги).

О своей работе над картинами Шаршун писал: "Мои полотна никогда не закончены. Каждая моя картина проходит два периода — горячий и ремесленный. Я вижу рисунок с закрытыми



Париж. Galerie de Seine. Февраль 1974. Последняя персональная выставка. С. И. Шаршун и А.Е. Величковский. На стене "Автопортрет" работы С.И. Шаршуна (1945). Фото Р. Герра.

глазами, как красочный фильм. Сначала вижу в красках очень ярких. Я делаю полосы телепатические на полотне. Это делается орнаментом. Очень декоративно. Вечером я подписываю картину. Утром вижу — совсем не то, и я снова начинаю работать”.

О других художниках, о выставках он писал так: Пикассо — самый проворный охотник за случайным”; “Дали — превосходный виртуоз мертвого завитка”; “Выставка картин Бекена — храм, в котором громяют славословия Ландрю, где нога скользит в человеческой крови”; “Выставка 12 лет Современного Искусства — скучные, живые картины, сляпанные из отбросов, на которых стоят на часах мусорщики”. О сюрреалистической выставке; “Есть несколько живописцев, остальные — поэты и любители. Весь упор направлен на изобретательность”.

А вот — о России: “Россия красна не Шолоховыми, Леоновыми и Хрептюковыми, а разливами “Над вечным покоем”. Исконное знамя России не серп и молот и не двуглавый орел, а Обломов и каждый русский человек в отдельности — Достоевский”.

О музыке: "Гадаю о судьбе мира по музыке"; О Мессiane (франц. композитор) сказал с юмором: О, Мессиан! Новый Франциск Ассизский созывает воробьев петь обедню"; "Шотландская атмосфера в итальянской симфонии Мендельсона"; "Клавесинную музыку Куперена и Баха воспринимаю, как живопись".

Когда у него появилась возможность купить радиоприемник, Шаршун стал писать под музыку. Многие его полотна носят названия музыкальных произведений, которыми они были навеяны. Из листовок Шаршуна можно было бы привести еще много цитат, но я выбираю самые оригинальные: "Длинная, жидкая, зазубренная пила распиливает небо"; "Птицы написали в небе строчку стихотворения"; "Флаг вильнул хвостом"; "По небу громыхают черные поезда"; "Рот обмелел"; "Художник думает глазами"; "Пирамидальный тополь — бющий из земли гейзер"; "У скрипки отвалилась рука".

Откликался Шаршун и на актуальные темы: "Человек рождается, чтобы убивать"; "Обязать каждый "боинг" — вампира, высасывателя воздуха, возмещать кислород!"; Человеческое упорство, настойчивость не перешибут ли обухом возможную катастрофу?"

Забавны у Шаршуна высказывания о женщинах (как видно, в связи с не очень удачным браком, который, однако, тянулся долго): "Женское тело-выгребная яма, издающая пленительные запахи"; "Женщина — склад детей на вынос". Но и — "Тело женщины имеет форму скрипки". Мнение о женщине зависело у Шаршуна от настроения.

Первым с Шаршуном познакомился мой муж Анатолий Величковский. Встретились они в зале Русской Консерватории в Париже на каком-то литературном собрании. После обмена рукопожатиями первым жестом Шаршуна было вытащить из кармана пачку смятых денежных билетов и начать настойчиво их совать в руки моего мужа: "Вам, наверное, нужны деньги... Вот, возьмите. Я не знаю, что мне с ними делать. Вам, наверное, они нужнее". Мой муж, растерянный и сконфуженный, попятился, но Шаршун наступал — "Возьмите же!". "Но они мне тоже не нужны!" — пробормотал мой муж и нырнул за спину какой-то

увесистой русской дамы. Это был период, когда фортуна повернулась лицом к Шаршуну.

В 80 лет к нему, наконец, пришло что-то вроде славы и его картины стали продаваться по сравнительно высоким ценам. Однако, Шаршун не мог привыкнуть к деньгам и часто даже забывал, что они у него есть. Всеми его материальными делами заведовал выбранный им душеприказчик-француз. Аскетическая жизнь Шаршуна не изменилась. Тоже скромное ателье, тот же, сваренный консержкой, овощной суп, та же кровать. Единственная роскошь, недоступная раньше — транзистор. Он говорил, что музыка дает ему темы для картин.

Раздавая деньги первым встречным русским людям (помня свою трудную эмигрантскую жизнь), сам он продолжал ходить по Парижу пешком, то ли по привычке, оставшейся с тех времен, когда экономилось каждое су, то ли из любви к "путешествиям" на своих двоих. Помогал Шаршун и своей сестре, жившей в Москве, купив ей квартиру.

Знакомство Шаршуна и Величковского не оборвалось. Что-то было у них общее, какая-то "детскость", наивность в повседневной жизни, презрение к земным благам, стремление к "чистому искусству".

Шаршун стал присылать нам свои книги, листовки, письма. Часто звонил по телефону. Муж заходил к нему в ателье. Прочитав рукопись романа Величковского "Богатый" и узнав, что денег на издание нет, Шаршун сейчас же предложил издать книгу на свой счет. Муж принял предложение, считая, что это не "милостыня", а искренняя оценка романа и желание увидеть его напечатанным. Большую роль в согласии мужа сыграл Р. Герра, поборовший, наконец, щепетильность Величковского.

Шаршун не ограничился ролью "крестного". Он написал письма русским литераторам Парижа, рекомендуя роман.

С Шаршуном я по-настоящему познакомилась на одной из литературных встреч, устраиваемых Рене Герра. В его доме собиравались по-семейному. Супруга Герра, врач Екатерина Андреевна, оказалась гостеприимной хозяйкой. На этих встречах бывали писатели, поэты и художники. Назову по памяти: Одоевцева, Величковский, Т. Величковская, Горбов, Шувалов, Озерецковский, Терапиано, Таубер, Ровская, Варшавский, Рубисова.

Т.А. Величковскую обычно сопровождал ее муж, С. Жаба — историк, эрудит, обладавший, несмотря на почтенный возраст, феноменальной памятью. Из художников бывали Ю. Анненков, Андреенко, Бушен, Эрнст, Исаев. Все усаживались за стол, где уже стояли закуски и вина. После трапезы на освобожденном от посуды столе раскладывались рукописи. Рене Герра приготавлил магнитофон. Каждое прочитанное произведение потом обсуждалось.

На одну из таких встреч мы с мужем приехали с некоторым опозданием. "Вот, знакомьтесь", — сказал Герра моему соседу. Это был Сергей Шаршун. Наружность у него была неприметная. Ростом он был невысок, в нем не было ничего запоминающегося, разве только сильно откинутаая назад голова и взгляд поверху, словно созерцавший нечто, невидимое другим. Он ждал, что я протяну ему руку, но я, повинуясь какому-то спонтанному чувству (я уже хорошо его знала по книгам и листовкам), крепко поцеловала его в обе щеки.

Мы с ним говорили о музыке, о его книгах, о живописи... Моей специальностью была музыка, с юных лет я увлекалась также и живописью, хотя только как любитель. Помню, я спросила Шаршуна, почему он последнее время пишет только белой краской. Шаршун ответил: "Потому что белая краска самая совершенная, в ней все семь цветов спектра".

И вы их видите?

Вижу! — сказал он. И, после краткой паузы. — Мысленно.

Я не осмелилась признаться Шаршуну, что предпочитаю картины периода его увлечения теософией, а полотна, навеянные тем или иным музыкальным произведением, совершенно до меня "не доходят", я не слышу в них ни Брамса, ни Баха, ни Чайковского; они, скорее, напоминают мне что-то съедобное. Какой контраст с его прежними картинами, как бы излучающими фосфорический призрачный свет, исходящий из таких же призрачных, выступающих из мрака форм: "Читательница" (1933-39 гг), "Метаморфоза" (1954 г). В этот вечер я также хотела узнать, почему он так плохо отзывается о женщинах и так не любит их.

— Я не то что не люблю их, но ожидаю от них всяких неприятностей и поэтому опасюсь.

(В неизвестном плавании находился с 1934 по 1949 г.г.)

СКАЗКА О ХАГИОГРАФНОМ АИСТЕ

(ВТОРОЕ СТРАСБОРСКОЕ СКАЗАНИЕ)

(Прво же бэнде — «Подать», заключение лирического повествования под тем же названием)

Я, участник этой сказки — живу в городе, в котором аистов нет. Они от нас на восток.

(В школьном возрасте, далеко отсюда на северо-восток — я изучал сказку von Kalifen Storch.)

Моё пристанище под крышей. Вверх — вид широкий, вниз — мутная бездна, а прямо — чаша труб... и всего в одну сторсну... буито ручеек — отчетливый словно в подзорную трубу — простор.

Но, всё бы хорошо, да подыматься больно труднс!: лестницы крутые и витые, переходы длинные да узкие, ви-ящие над пропастями, а то темнее и пещеры.

Однако, ко всему привыкнуть можно.

Слушаю эоловы арфы, аэропланнне гулы, отзвуки радио, эхо шумов города, детский плач.

Стою однажды в выступе окна и вижу — летит аист, в клюве — резиновое яйцо, со срезанным верхом, в нем прозрачная жидкость, в которой лежит на боку — маленький аист...

... И вырони он этот сосуд!..

Я встрепенулся... и вот стою в кабинете, отгороженном простенком резного дерева, не доходящим до потолка, от большего помещения: смеси химической лаборатории и собранья древностей. И поверх нагроможденных предметов — большие весы, вроде почтовых, с одной чашкой, на них

Факсимиле одного из "листочков" С. Шаршуна.

— Вы всех так расцениваете?

— Нет.. не всех, — с заминкой и, пожалуй, из любезности ответил Шаршун. Я вспомнила его неудачный брак.

В нашу следующую встречу мы говорили о его литературных вкусах. Я уже знала, что он любит Рембо, Жюль Верна, Верлена, Эдгара По, Ницше, Бодлера. Знала из его цитат, что он ценил Поплавского. О нем Шаршун сказал: "Наш эмигрантский гениальный ребенок. Тот, о которых Евтушенко писал: "Русский поэт родится с пулей в груди". Борис Поплавский в начале знакомства вручил мне визитную карточку "Аполлон Безобразов, клоун".

Я спросила, кого из нынешних русских писателей он предпочитает. Не задумываясь, Шаршун ответил, что ближе всего ему В. Набоков. Он уже знал, что я написала роман и осведомился: "О чем вы писали?"

— Как видно, вы не читаете "Возрождения", где была напечатана половина романа. — "Нет, я его не получаю."

— Если хотите, я вам пришлю один номер. Я послала ему номер с отрывком из моего романа "Смерч". Очень скоро он вызвал меня по телефону: "Присланный отрывок произвел на меня большое впечатление. Особенно сцена, где старые женщины говорят о смерти. Вы не собираетесь опубликовать роман отдельной книгой?" Я замаялась, и он повторил: "Роман надо опубликовать".

При следующих разговорах вопрос о публикации романа не возникал. Ни я, ни мой муж напомнить Шаршуну об этом не решились. Я уже думала, что он вообще забыл о моем романе. Но как-то раз, когда меня не было дома, позвонил Шаршун и предложил моему мужу сегодня же приехать к нему со мной для обсуждения вопроса об издании романа "Смерч". Мой муж от неожиданности, по обыкновению, растерялся:

Сергей Иванович, у нас две собаки. Их нельзя оставить одних. Они такого наделают...

— Ну, как знаете, — последовал лаконический ответ.

На этом разговор о печатании романа был окончен навсегда.

Вскоре после этого С.И. собрался в дальнейшее путешествие, бывшее мечтой его жизни. Сначала он хотел проехаться по Ни-

лу, но друзья отсоветовали. Здоровье Шаршуна за последнее время пошатнулось, и такое путешествие казалось рискованным. Тогда он, не советуясь ни с кем, записался в поездку-экскурсию в Эквадор. Проведя в самолете 30 часов, он прибыл на Галапагос. Перемена климата, утомление оказались для С.И. фатальными. У него там случился первый удар.

Возвратясь в Париж, подлечившись, он как будто оправился, но прежней физической бодрости уже не было. Тем не менее он снова взялся за кисть. И на 86-м году изменил свой стиль. Теперь он писал черной и красной краской. Форма стала более спокойной, закругленной ("Пейзаж Галапагоса").

Так прошло два года. Шаршун уже нигде не бывал. Звонил редко. Второй удар наполовину парализовал его, но говорить он мог до последних минут. Его поместили в одну из лучших клиник. Снова наступило улучшение, но обманчивое. Он скончался скоропостижно.

Похоронен С.И. Шаршун на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа. На похоронах было не так много людей. Кроме французских друзей, присутствовали Р. Герра, А. Величковский и А. Ланской. Ланской, уже больной, изменившийся, сказал: "Оставалось два русских художника — Шаршун и Ланской. Шаршун ушел. Очередь за Ланским...". Он тоже долго не прожил после этого.

С Сергеем Шаршуном ушел один из выдающихся русских художников. "Fou de génie", — как сказал о нем один из французских критиков. Искатель недостижимого идеала.

Н. Ровская

ИЗ ЛИСТОВОК С. ШАРШУНА

Публикация Р. Герра.

Мое дело

Главное дело моей жизни (кроме нисхождения в преисподнюю) это — вывести на чистую воду, разгрызть орешек, разобраться в сущности одного человека — что такое он есть?

А единственный, доступный моему наблюдению субъект — я сам.

Потому что по сторонам — ничего не вижу, т.е. не знаю.

Таким образом, я не больше чем — соболезнающий, интимный, тишайший наблюдатель, сиделка у постели больного, неотступно его сопровождающий — на суше, на море, и в воздухе.

...Мне от себя — не отвязаться!... Я неизлечим.

Первичное мое ощущение — непременно абсурдно.

Противно действительности и направлено — не в сторону преодоления, а — растравливания раны.

Свои страдания я не сопровождаю рассуждениями.

Как и всякий человек я — поучатель и реформатор.

Моя — тусклая "беззвездная" жизнь — интенсивнее вымысла. Отсюда "Герой интереснее романа".

Человек аскетической складки, я — оказался эротическим писателем. Но мое дело — способствовать отмиранью этой напасти.

Тело женщины имеет форму кувшина... и он ходит по воду до тех пор — пока не разобьется.

Мое зеркало — увеличительное стекло, и я кажусь себе гигантом.

Я подошел к зеркалу, но оно — ничего не отражало.

"Куда ты девался?" воскликнул я в испуге.

И он выплыл из мрака.

Если немецкий писатель определил, что они воспринимают литературу — метафизически, а французы — исторически, то — не воспринимают ли ее русские чувством?

Андрей Рублев

Сколь велика пропасть между тысячелетним, старым, и теперешним, полустолетним — временем.

Режиссеры, непричастные к православию — лишены чувства исконной русской жизни, внешне выражавшейся — в осенении себя крестным знаменем, и актер, которому поручено это непривычное дело — начинает с левого плеча.

Из-за отсутствия этого основного стержня — нарушен ритм, вынута сердце.

Поэтому толпы актеров — бездушные куклы, и фильм лишен правды — мертв.

Языческий же, русалий ("русский?") шабаш — неожиданный дивертисмент.

Татары 15-го века, конечно, не кушали или ели, а — жрали махан-конину.

— "Урус дивка, айда на муй юрт — васмуй жена будышь, якши махан-лошад, кажды дин ашат будышь".

Татар играют — киргизы.

Дали — непревзойденный виртуоз мертвого завитка. Парикмахер Шарло, протыкающий вилкой — копну женских волос.

На сюрреалистической выставке есть несколько живописцев. Остальные — поэты и любители.

Весь упор направлен — на изобретательность. Мир инженеров.

Кларнет — рог изобилия, истекающий медом.

Клавесиновую музыку Баха и Куперена — воспринимаю как живопись Кандинского и Клее. Это мой орнаментальный, родной мир.

...Ах, хорошо!

Цветы — нездешние птицы.

Куст, подстриженный парикмахером — сидит на скамье.

Осенние стулья.

Акварельной кистью метельщик — расписывает землю.

Через забор — выбросили тряпку, а она, вскочив — перебежала дорогу.

Кукольные ноги.

У скрипки — отвалилась рука.

До самого последнего времени человек рождался — чтобы убивать.

В танцующей паре мужчина водит партнершу, как дрессированную собачку на цепочке.

Люди, говорящие басом — не моего круга.

Ah, que vous êtes tous — désespérément discrets!

Почти о каждом усопшем эмигранте — пишется некролог. Потому что — все прекрасные люди... Ах, хорошо!

По-английски dead мертвый, по-русски дед — приближающийся к смерти.

Безоговорочно признаю — явление летающих блюдцев.
...Как бы я хотел — свидетельствовать о них!

В небе торжественно проследовал — военный оркестр.

Скрипка настроена — как острая бритва.

Художник графоман

Художник — думает глазами.

У художника — атрофируется речевая способность.

Я чаще слышу музыку, чем человеческий голос.

Кто-то намекнул, что Бетховен — никогда не был глухим.
Он осуществил то, к чему я стремился.

Не имея ни с кем ничего общего — могу говорить только о себе.

На "деревянной" выставке

После идущего в соседнем зале фильма о готическом искусстве, первое впечатление — убожества.

Но постепенно, "входя во вкус" этих поделок из лубка, в голову приходит мысль, что люди, живущие в любой части планеты, принадлежащие ко всем расам, на известном уровне развития "выражаются" одинаково: самоеды вырубают из дерева топором — негритянскую и полинезийскую скульптуру.

Современные чурочки Архангельской области — прекрасны.

Тысячи лет назад — творили точно также.

Знающие утверждают, что ребенок предпочитает кусок дерева — кукле, предназначенной царской дочери.

Я видел в зоологическом саду — львенка, игравшего с поленом, и приглашавшего меня — принять участие.

("Не поймет и не приметит, гордый взгляд иноплеменный красоты твоей смиренной").

Преддверие

Дерево с седым локоном.

За окном — ходит дерево.

Куча — одервеневших змей.

Ветер — потревожил грезы дерева.

Небо — полно ангелов.

Геометрические деревья.

Жаба — взгромоздилась на дерево.

Фонарь превратился на дереве — в гнездо.

Дерево высокомерно — вставило в глаз монокль.

Радужная лира.

Папиросный дым — гуляет по лесной тропинке.

На крыше лежит — вечный снег.

По горизонту — идет трехгорбый верблюд.

Рука стала — хвостом.

Обязанный палец — превратился в револьвер.

Большой палец — прилип к уху

Зуб торчит — окурком.

Голуби — искупались в радуге.

По асфальтовой дороге вечернего неба — промчался автомобиль.

Аэроплан — зажег в небе спичку.

С годами кастрюля становится — устрицей.

Актер — не ученый, работающий на человека, а — воплощенная спесь, распыливающая себя. Отвратителен своей дисциплинированностью.

Человек бессмысленный, с точки зрения разумности, философствование воспринимаю как — масляное масло.

Вий-Ремизов — умер несколько лет назад... Но вот он стоит передо мной, в локомотивной кочергарке, на вокзале Ерегнау.

Трудно ему... Никто не желает — вбить осиновый кол в угол.

Река, текущая на север — стоит на голове.

Страшно за Голландию. Тороплюсь насладиться ее сокровищами.

Каждый раз возвращаюсь в Париж с одинаковым чувством: как и везде, и люди, и воздух — те же.

Знаменитые вина

Вино — не пью, но во французском Кагоре, родине того, которое в православной России служило причастием, чтобы узнать вкус, за завтраком — заказал стакан.

Против обычно кисленьких, он: густ, тепел и сладок.

В занимательном португальском городе — Порто о вине не подумал.

Но мне захотелось увидеть реку Доуро в глубине страны, понаблюдать на ходу — своеобразное парусное суденышко, виденное на причале.

Впрочем, оно восстановило в памяти — волжские косоушки.

Они были — двух родов. Одна, поменьше — ладья.

Другая — высокая и круглая, как арбуз.

Покрашены, в своей естественный — деревянный цвет.

Португальский же кораблик — жгуче черный.

На волжский арбуз — поставлен высокий помост, на котором водолив капитан управляет длинным веслом-рулем.

Парус — прямой, шире бортов и невысокий.

Суденышко катит по реке — две-три бочки вина порто. [...]

В испанской Малаге о вине вспомнил — задним числом, но купил пачку сушеного винограда.

Однако, малагская сладость далась мне — другого порядка: побродив по экзотическому саду в порту и по старинным развалинам, на следующий день, в расшатанном трамвае отправился в рыбацью деревню.

Вслед за мельчавшими виллами — начались лачуги.

Несколько десятков человек, впрягшись в рыбацкий баркас, тянуло его по песку.

Я ступил на тротуар, ко мне подошел босой выродок, смесь старика с дитятей, и приниженными жестами показал, что — голоден.

Я дал — песету. Он — не скрыл радости.

...И в то же мгновенье дети облепили меня, как мухи.

Смятый, я отдал им мешочек с остатками китайских орешков и мелочь и — бросился в тот самый трамвай, в котором приехал.

Преддверие

Родился на пороге Азии, но его не переступил.

С волчьим паспортом — покружил по паутиновой сети Западной Европы: через Гибралтарский пролив — мерещилась Африка, с датской стороны — видел шведскую. Перескочил из Парижа в Лондон.

Голодный паек. Толчея в ступе.

Подготовка к междупланетному путешествию.

Дорогой букет

Все теперешние реки изобилуют раками.

Для вас жизнь — неиссякающая золотая россыпь, текущая в рот медом. Я же стою у мелкого ключика, непрерывно прокладывая ему путь меж неуголимого песка и ядовитой тины.

По крыше — шагают листья.

Я знал Пастернака в 1922-23 гг. в Берлине.

На остановке метро из ближней двери — вышел мальчик, но он тотчас вошел в дальнюю — уже взрослым человеком.

Несет длинный хлеб, словно ошипанного гуся, за шею.

Голуби трепыханьем крыльев — произвели косой дождь.

В русскую плавную речь вставил кованную, из медных кубиков — испанскую фразу.

Строка в биографию И.Ф. Стравинского

Во время занятия Парижа немцами нас, несчастную богему подкармливали всякие сердобольные учреждения.

Я всегда садился за дальний, пустующий стол.

Часто находились соотечественники и мы говорили по-русски.

Но, случилось, что я оказался один.

И вот, сидевшая особняком "роскошная дама", которую я замечал и раньше, обратилась ко мне с французской фразой.

Ей — давно за пятьдесят. Несомненно — француженка-северянка, фламандка: белокурая, нос с горбинкой.

Одета по старой моде: огромная кружевная шляпа, мантилья и кофточка из черного гипюра.

Заявив, что будет говорить по-французски, потому что так ей легче, она сообщила, что всю жизнь была гувернанткой в Петербурге, в семье, носившей двойную сербскую фамилию, что это она обучила Стравинского французскому языку, так как семьи были связаны, и дети Стравинские у них бывали ежедневно.

Я произнес слово — гений.

"Ну что Игорь за гений, вот его брат, тот был действительно — гениален!" — воскликнула она.

"...Да, не думала, что придется умирать во Франции!", —

поделилась она своей печалью, опять-таки по-французки, но это был лишь "перевод с русского"... понимать же нужно было — "на чужбине".

Дальше, она рассказала, что лето семьи проводили в имении — "grand comme deux départements français", а находилось оно — в Бугульминском уезде.

Я восторженно слушал.

"Для того, чтобы попасть в него, мы ехали в Москву, оттуда, поездом же — до Нижнего, где пересаживались на пароход и спускались по Волге"... Дальше она не помнила. Выручил я: "Выплыли до Самары, затем еще раз садились на поезд и ехали сто шестьдесят верст до моего родного города — Бугуруслана, где вас ждали тройки и везли, добрую сотню верст, до имения".

— Да.

Больше я гувернантку не видел, но с тех пор мне стало понятно — почему, слушая ранние произведения Стравинского, я всякий раз — настораживался. [...]

Иссушающее дело — подысканье рифмы.

Горечь — целительна. Сладость — разрушительна.

Секундная стрелка — бросилась в объятья циферблата.

Телеграфное гуденье клавесина.

Берлиоз — заклинатель змей.

Кто займется эмигрантским композитором, Полем?

Слушая музыку западноевропейских композиторов на народные мотивы, становится понятно, что их индивидуальное творчество является — естественным, непрерывающимся ее продолжением.

Тогда как между русской, народной, и индивидуальной — ров не заполнен до краев. Она еще является — приобретением со стороны.

Адамович, когда его волосы были нафиксатуарены менее обычного — напоминал Писарева.

Иногда ему бывали свойственны — хулиганские, есенинские замашки.

Он — любил Вагнера.

Идеализированный же его образ — написал К. Померанцев.

Я обязан Г. Адамовичу — моей литературной карьерой.

Старость — мудрость

В предчувствии смерти — становимся мудрыми. Накоплению мудрости способствует — опыт и времяпрепровождение.

L'invisible escalier, qui mène, en chaire et en os — au ciel.

Самый злостный притворщик — Время.

Брось случайно взгляд на Кронос-метр, и стрелка безошибочно — прикинется мертвой.

Злость это — эгоизм.

Уверенность — следствие удачи.

Птичий голосок — мерцает, переливается, как хрустальная венецианская подвеска.

Павлин — сменил свою голову — на змеиную.

Птичка-ряполовка, ползет тропинкой — по-змеиному.

Коты детскими голосами — вызывают друг-друга на смертный бой.

Облако — палитра.

Фонарь — сеет дождь.

Сжалившись — впустил несколько снежинок в дом.

Устрица — плевок моря.

Сухие листья, падая в траву, — становятся цветами.

По безмерному океану над головой — прогремел цинковый, саксофонный шторм.

Кошачьи зеленые, хищные глаза — повисли над улицей.

В 75 лет я — еще ничего не сделал.

Свои произведения я — не кручу и не ломаю, не подслащаю и не подрумяниваю, или обогащаю — ужасами и философией.

А — в клоочущем хаосе — терпеливо начинаю определять границы, и кончаю — медленным выявлением стройности, цельности Сознания.

Св. Ф. Ассизский, и не он один — повернул вспять, убедившись, что сгореть в один раз и воссоединиться с Творцом есть — лишь сладостный соблазн.

Вчера, в магазине, примеряя одежду — рассматривал себя в трехстворчатое зеркало... и узнал, что — я сутул, что у меня "руки короткие", плечи покаты, что в бедрах — я шире, чем в плечах... а много лет назад... Je suis fort de poitrine. Конечно, по всегдашнему, находил некоторое сходство между своим профилем и Гоголя, когда ему было 25 лет.

В этом возрасте, изощреннейше-саркастичнейший муж — был щеголем, волосы зачесаны сатанински-обольстительным коком... а мои, всего на днях — подстрижены... почти под машинку, и кок торчит — малой, курносой шишечкой.

За время ¼-столетней жизни я значительно приблизился образом и подобием к А. Жиду, пройдя через сходство с Грибоедовым... Но вот, потроша себя, исследуя палеонтологически, я — постепенно сполз на нижнюю часть лица — губы и подбородок и, "лавируя" створками зеркала, как парусами, — с изумлением и, увы! — с очевидностью убедился, что нижняя часть моего лица — обезьянья!

Узкая челюсть — выдвинута далеко вперед, а длинная верхняя губа лежит на ней — почти горизонтально, волнистая и подвижная.

(Есть духовые музыкальные инструменты "с лежащими вентилями").

Губы шимпанзе или верблюда, губы вегетарианца.

Владимир Соловьев прятал свое лошадиное лицо под бороду... и мне, пожалуй, так будет спокойнее — надеть подобную маску на себя... даже несмотря и на то, что... кто же носит теперь бороду?

...Но, в моем возрасте это менее бросается в глаза.

Однако, я не забываю, что — если уйду от суда людского...

(Из архива Р. Герра)

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 нем.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250

О ПОЭЗИИ ОЛЬГИ АНСТЕЙ

Недавно умершая поэтесса Ольга Анстей представляет собой счастливое исключение эмигрантской поэзии своей глубокой привязанностью к церкви и своими замечательными стихами о неразделенной любви. Ее стихотворение "Я примирилась, в сущности, с судьбой" — одно из лучших любовных стихотворений современности. Привожу ее полностью:

Я примирилась, в сущности, с судьбой,
Я сделалась уступчивой и гибкой,
Перенесла, что не ко мне, — к другой
Твое лицо склоняется с улыбкой,

Не мне в твой зимний именинный день
Скобленный стол уставить пирогами,
Не рвать с тобою мокрую сирень
И в желтых листьях не шуршать ногами...

Но вот когда подумаю о том,
Что в немощи твоей, в твоём закате
Со шприцем, книжкой, скатанным бинтом
Другая сядет у твоей кровати,

Не звякнув ложечкой, придвинет суп,
Поддерживая голову, напоит,
Предсмертные стихи запишет с губ,
И гной с предсмертных пролежней обмоет
И будет, став в ногах, крестясь, смотреть

В помолодевшее лицо — другая...
О Боже мой, в мольбе изнемогаю:
Дай не дожить...

Дай прежде умереть.

Конечно, в такого рода стихах неизбежно присутствует горечь, тайная обида. Но чаще всего О. Анстей далека от таких чувств. Она говорит: "Любовь не судит — любит". "Без любви обиды не под силу/ А любовь снесет любую ношу."

Начинается сборник стихотворений "На юру" строчками:

Крепко держусь за просфорку озябшей рукой:
Это с тобою нас вяжет последняя ниточка

Тут "озябшая рука" рисует не Николин день, 19-е декабря, а другое — озябшую, тоскующую в одиночестве душу, которая несет с собой "воспоминаний бережную ошупь". А дальше — остров воспоминаний: "Колодезь Дианы в Мюнхене", где "мы когда-то медлили вдвоем".

Но неизбежно и иное: душа порою видит спутника насквозь: "Позор его оглядки осторожной" и "мерцанье лживой ауры". И тогда она говорит:

Но если в час, условный час когда-то
Почудятся за дверью воровато
Ступающие мягкие шаги,
Я слух! Вся слух
Вся слух любви

Так идет эта любовная повесть, пока не подступит смертный час любимого. И тогда вырываются эти замечательные, приведенные мною вначале стихи.

Но еще больше сильна в О. Анстей вера в Бога, любовь к родному, разрушенному войной Киеву, апокалиптические чувства конца эпохи, может быть, всего мира:

Нам бы прочь бежать с земли!
Догадаться мы давно могли!
Нас давно закаты стерегли...

И дальше:

Ориона крест разъят!
Погнут Северный Венец!
Конец!

Но есть и вечное, то, чему не суждено исчезнуть:

Но не рушится одна
Колокольня. Средь разрухи гробовой
Грозною кивает головой.
От земли уже отделена
Зыблется в иных мирах она,
Там, где не проходят времена.
В небеса возносится живой.

Эти "иные времена" живы для О. Анстей, и она твердо знает о тех мирах, где "не проходят времена".

Это ее торжество, и одновременно — торжество церкви, с которой она органически связана, больше даже, чем со своей неразделенной любовью.

Сильна в ней и привязанность к семье, к дочери, маленьким внукам. И еще *это великолепное чувство презрения к деньгам*. Да, ее мир — не мир жадной торгашеской Европы. Она ищет только творческого покоя, и не отдаст его за "двухнедельную бумажку чека".

И еще сильна любовь к поэзии — родной стихии, к поэтам: "Что Бог привел вас слышать и узнать." Она твердо знает:

И мы званы!
И мы вкушаем брашен
И пьем живую воду из кратир,
И боги мы, и нам никто не страшен.

Этими торжествующими словами хочется кончить отзыв о поэте Ольге Анстей.

Екатерина Таубер
1986 г.

КЛАД ПРОШЛОГО

Среди стихов Вл. Высоцкого особое внимание привлекает одно стихотворение, которое с самой первой строки — "Зарыты в нашу память на века" — с исключительным проникновением раскрывает характер прошлого. Как в повседневной жизни людей, так и в историческом процессе автор обнаруживает запутанные, иронические отношения, которые нам, беспомощным свидетелям времени, не дано расплести.

Две первые строки —

Зарыты в нашу память на века
И даты, и события и лица,

вводят тему прошлого: Мы зарываем в памяти то, что нам дорого, "старый клад" прошлого. Но вот, как нам кажется, пришло время откопать этот клад, использовать его в нашем новом настоящем. Неожиданно для себя мы сознаем, что боимся, как бы окаменелое прошлое не вмешалось в насущные вопросы настоящего.

Мы нуждаемся в прошлом, однако, не в том прошлом, каким оно в действительности было. Мы жонглируем фактами прошлого, подгоняя их к требованиям и страстям сегодняшнего дня.

В стихотворении Высоцкого "старый клад" превращается в заржавленную мину, которая может взорваться под слоем настоящего. Стихи Высоцкого аллегорически отражают душевный кризис послесталинского поколения. Зарытый в памяти клад прошлого притягивает, манит каким-то неопределенным обещанием. Какое обещание схоронено на дне колодца — нам не раскрыть. Соединяя в себе свойства живой воды и зеркала, колодец разочаровывает искателя, чье лицо "неясно" отражается в воде. Кто этот человек? Он осторожно приближается к зловещему колодцу прошлого, он заблудился и не может найти дороги "домой", к духовному спокойствию.

И поток годов унес с границы
стрелки — указатели пути.

После десятилетий забвения и самодовольства человек

больше не узнает свой изуродованный образ.

Кто этот человек, эти люди, которых манит клад прошлого?

Одни его лениво ворошат,
другие неохотно вспоминают,
а третьи даже помнить не хотят.

Все, до некоторой степени, виновны в страшных событиях тридцатых годов хотя бы тем, что молчали. Ощувив в глубине души угрызения совести, люди оборачиваются назад, чтобы найти источник своей боли. Очнувшийся народ пытается освободиться от уже неприемлемого состояния невинности, в котором он жил. Прошлое неумолимо, оно заколдовало; человек стоит недвижимо и молчаливо перед своим колеблющимся, плохо различаемым лицом.

И в тот момент, когда мы, читатели, сами околдованы образом колодца, поэт вводит в симфоническую ткань стиха образ глиняного сосуда:

Осторожно с прошлым, осторожно,
не разбейте глиняный сосуд.

Этот блистательный по своей выразительности образ является ответственным звеном в структурной и эмоциональной пластике стихотворения. Зыбкие воды колодца незаметно уступают место хрупкому сосуду, который превращается во второй половине стиха в заржавленную мину. Мне кажется, что Высоцкий хочет сказать, как опасно копаться в колодце народной памяти. Сначала наталкиваешься на хрупкий глиняный сосуд, а под ним лежат зарытые в нашем сознании мины прошлого. Такое столкновение с прошлым не под силу слабому человеку, человеку, у которого нервы "не из каната".

Цветущей земле, казалось бы, грозит неминуемый взрыв. Но вот, почти на грани гибели, какие-то люди бросаются спасать эту землю и живущих на ней людей от осмысления прошлого, от самосознания. Заржавленные мины прошлого

...берут умелыми руками
и взрывают дальше от людей.

Кто они, эти таинственные "спасатели", желающие предотвратить катастрофу? Это останется неразрешенной загадкой замечательного стихотворения В. Высоцкого.

Б. Шер

РОМАН ГУЛЬ

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД

С ФРОНТА

Была осень 1917 года. Мы стояли в Бессарабии. Голубые, морозные, душистые бессарабские дни. Желто-красно-зеленые деревья. Высокое, золотое, негреющее солнце. Красивый народ в кожаных, с рисунками, безрукавках. Белые хаты, внутри увешанные самотканными коврами богатых, ярких тонов... Я полюбил Бессарабию...

По утрам, полуодетый, выбегаешь в сливовый сад, умываешься ледяной водой, пахнувшей какой-то особенной свежестью, вбираешь грудью морозный аромат слегка заиндепевшего утра и вспоминаешь где-то читанное: "Каждое утро, душа моя, у порога своего дома ты встречаешь весь мир"...

Около старенькой церкви — митинги толп вооруженных людей в серых шинелях. Злобные речи почти без смысла. Знамена с надписями: "Мир без аннексий и контрибуций", "Долой войну", "Смерть буржуазии"...

Речи, полные злобы и ожесточения, рев толпы и тысячи машущих в воздухе рук...

Разливалась стихия.

*Книга Р. Гуля, впервые напечатанная в Берлине в 1921 г., давно уже стала библиографической редкостью. В настоящей публикации автор раскрыл инициалы, под которыми упоминались многие действующие лица в первых изданиях, и внес отдельные исправления в текст. — *Ред.*

Получил телеграмму: "Именье разграблено, проси отпуск". Командир отпускает, обнимает, провожает. Еду в обозе второго разряда. Сел на поезд. Все серо — все переполнено. Серые шинели лежат на полу, сидят на скамьях, лежат на полках для вещей. Тронулись. Я смотрю на лица солдат: на всех одна и та же усталая злоба и недоверие.

С дороги пишу письмо знакомым: "Кругом меня все серо, с потолка висят ноги, руки... лежат на полу, в проходах... Эти люди ломали нашу старинную мебель красного дерева, рвали мои любимые старые книги, которые я студентом покупал на Сухаревке, рубили наш сад и саженные мамой розы, сожгли наш дом... Но у меня нет к ним ненависти или жажды мести, мне их только жаль. Они полужвери, они не ведают, что творят".

Узловая станция. Вокзал, платформа, пути запружены тысячами людей в сером. Они все едут-бегут с войны. И это "домой" в них так сильно, что они замерзают на крышах поездов, убивают начальников станций, ломают вагоны, сталкивают друг друга...

Поезда нет. Матерная брань превращается в рев: "Вставить ему штык в пузо — будет поезд!" — "Для буржуев есть поезда, а для нашего брата — подожди!" — "Пойдем к начальнику!".

Тихо подходит поезд. Все лезут в окна. Звон разбитых стекол, матерная брань... Сели. Плохо едем, останавливаясь на каждом разъезде.

День, два...

Поздний вечер. Подъезжаем к родному городу. Тот же старенький вокзал. Зал I класса. Вон стоит знакомый носильщик. Прохожу. Сажусь на извозчика.

Темные улицы. Лошадь тихой рысью бежит по мягкому снегу, комя ударяются в передок. Извозчик, чмокая, постегивает лошадь кнутом.

Я смотрю на каждый дом, на каждый переулок. Все знаю. Все знакомое. Вот, сейчас подъеду. Вот, вижу дальний огонь в столовой. Подхожу к двери. Что-то замирает, дрожит, сладко рвется у меня в груди. Сильная радость наполняет меня, и одновременно слегка грустно. Шаги за дверью. Отперли. Иду по коридору, отворяю дверь. Из столовой ко мне бросается мама, обнимает, плачет...

ДОМА

Я несколько дней живу у себя, в семье, с любимыми людьми. Я не хочу ничего. Я устал от фронта, от политики, от борьбы. Я хочу только ласки своей матери. Я помню, я думал — истинная жизнь любящих людей состоит в любовании друг другом. Я чувствовал всю шкурную мерзость всякой "политики". Я видел, что у прекрасной женщины Революции под красной шляпой вместо лица — рыло свиньи. Я искал выхода. Я колебался. В душе подымались протесты и сомнения, я пытался убедить себя: "все это плохо, но не надо отстраняться, надо взять на себя всю тяжесть реальности, надо взять на себя даже грех убийства, если понадобится, и действовать до конца..."

И мне показалось, что я себя убедил...

Был сочельник. Звонок. Я удивлен: входит прапорщик нашего полка Крутицкий. Он сибиряк. Зачем он приехал? Я догадываюсь. Крутицкий разбинтовывает ногу и передает мне письмо моего командира: "Корнилов на Дону. Мы, обливаясь кровью, понесем счастье во все углы России... Нам предстоит громадная работа... Приезжайте. Я жду Вас... Но если у Вас есть хоть маленькое сомненье, тогда не надо".

Я напряженно думаю. День, два. Сомненье мое становится маленьким-маленьким. "Может быть, я просто боюсь?" — спрашиваю я себя. Может быть, я "подвожу теории" для оправдания своей трусости? Как зверски и ни за что дикие люди убили Марью Владимировну Лукину, соседнюю помещицу. Тысячи других... — Нет, я должен и я готов. Я верю в правду дела! Я верю Корнилову! И я поеду. Поеду, как ни тяжело мне оставить мать, семью, уют. И одновременно со мной думает и страдает мама.

Я решил. Мама готова перенести новую боль.

Зимние сумерки темным узором ложатся на зеленую гостиную. Слышно, как около дома поскрипывает на морозе деревянный тротуар. В гостиной нет огня. Я сижу с мамой. Она плачет и тихо говорит: "Мне очень больно, но будет еще больнее, если ты поедешь и разочаруешься, если ты не найдешь там того, о чем думаешь". Я об этом думал, я этого боюсь, но гарантия — имя Корнилова и Учредительное Собрание. Мы оба

хотим верить. И я верю.

Был, кажется, третий день Рождества. Мы уезжали, семь человек офицеров. Солдатские документы, вид солдатский, мешки — все готово. Пора идти.

Мама зашивает ладанки, надевает на нас с братом и беззвучно плачет. Мы ободряем. Прощаемся. И я чувствую на щеках своих слезы матери.

Синий вечер. В воздухе серебрятся блески. Небо звездное. Мы идем на вокзал. На душе грустно, но успокоением служит: добровольно иду делать большое дело.

Вокзал набит солдатами. Все переполнено. Брат и другие попали в уборную уходящего поезда и уехали. Я и Эраст Ващенко остались. Мы сидим среди солдат — на полу. Подходит солдат нашего полка, о чем-то развязно говорит. Под утро, усталые, с трудом садимся в поезд и едем на Дон...

НА ДОН

Следующий день зимний, яркий. Поезд тихо тащится по снежным полям, подолгу стоит на станциях. Помню станцию Лиски. Оттуда я послал маме шифрованную телеграмму. Пересели и едем.

Ночью — обыск. В вагоне темно. Вошли люди с фонарем, в солдатских шинелях, с винтовками.

— Документы предъявите... У кого есть оружие, сдавайте, товарищи.

Подожли ко мне. Я закрыл глаза и притворился спящим, прислонившись к окну вагона.

— А это чей чемодан? — у меня был мешок-вьюк. — Ваш, товарищ? — Товарищ! — сказал он и взял меня за плечо. Я "проснулся": — Мой. — Откройте! — Открываю. Он роется. — А документы есть? — Есть. — Я лезу в карман. — Ну ладно — И проходят дальше.

Утро. Слава Богу, переехали на казачью сторону. Народу в поезде стало мало. Я не бывал на Дону: вглядываюсь в людей, смотрю в окна. Вошли несколько казаков с винтовками, шашка-

ми. Сели рядом. Разговаривают. Я ищу новых, бодрых настроений — преграды анархии.

Казак лет 38, с рябым зверским лицом, с громадным вихром из-под папахи, сильным голосом говорит: "Ежели есаул сам хочет, пушай и стоит, а мы четыре года постояли, с нас будя. Прошлый раз на митинге тоже стал: "Станичники, вы себя защищаете, казацкую волю не погубите" (он представил есаула). "Четыре года слухали" — мрачно отозвался хмурый молодой казак.

Вскоре они вышли из вагона. Я понял, что эти казаки — из частей, стоявших на границе области на случай вторжения большевиков. Из разговора их было ясно: они самовольно расходились по домам, открывая дорогу войскам Крыленко...

Ст. Каменская. Я вышел из вагона. На платформе много военных — солдат, офицеров, встречаются юнкера. Офицеры в погонах. Чувствуется оживление, приподнятость. Едем дальше.

Я думаю: "Скоро Новочеркасск. Туда сбежалось лучшее, лихорадочно организуется. Отсюда тронется волна национального возрождения. Во главе — национальный герой, казак Лавр Корнилов. Вокруг него объединилось все, забыв партийные, классовые счета..."

"Учредительное Собрание — спасение Родины!" — заявляет он. И все подхватывают его лозунг. Идут и стар и мал. Буржуазия — Минины. Офицерство — Пожарские. Весь народ подымается. Организуются национальные полки, армии. Реют флаги, знамена. Оркестры гремят какой-то новый гимн. "На Москву" — отдает он приказ. "На Москву" — гудит везде.

И армия возрождения, горящая одной страстью — счастье родины, счастье народа русского, идет как один. Она почти не встречает сопротивления. Бегут обольстители народные, бегут авантюристы и предатели.

Казак Корнилов спаял всех огнем любви к нации. Он спас родину, и передает власть представителям народа — Учредительному Собранию.

Россия сильна счастьем всех граждан. Она могуча своей свободой.

Она говорит миру "свое слово", и в слове этом звучит что-то простое, русское, христианское.

В воображении бегут радостные картины. Поезд быстро мчит меня к Новочеркаску.

НОВОЧЕРКАССК

Яркие морозные дни. Деревья улиц белы от инея. В голубом небе блещут золотом купола Новочеркасского собора.

В городе оживление; плавно несутся военные автомобили, шурша по снегу; крупной рысью пролетают верховые казаки; скользят извозчичьи сани, звеня бубенчиками; поблескивая штыками, проходят небольшие части офицеров и юнкеров.

На тротуаре трудно разойтись; мелькают красные лампасы, генеральские погоны, разноцветные кавалеристы, белые платки сестер милосердия, громадные папахи текинцев.

По улицам расклеены воззвания, зовущие в "Добровольческую армию", в "партизанский отряд есаула Чернецова", "войск. старш. Семилетова", в "отряд Белого дьявола — сотника Грекова".

Казачья столица напоминает военный лагерь.

Преобладает молодежь — военные.

Все эти люди — пришлые с севера. Среди потока интеллигентных лиц, хороших костюмов иногда попадаются солдаты в шинелях нараспашку, без пояса, с озлобленными лицами. Они идут, не сторонясь, бросая злобные взгляды на офицерские погоны. Если б это было в Великороссии — они сорвали бы их, но здесь иное настроение, иная сила.

В воскресное утро идем в собор, к обедне. Великолепный храм полон молящимися; в середине, ближе к алтарю, группа военных, между ними ген. Алексеев, худой, среднего роста, с простым, типично военным лицом.

На паперти встречаю кадета-выборжца Н.Ф. Езерского. С первых же слов Н.Ф. горячо говорит о ген. Корнилове и Добровольческой армии, верит, что Корнилов объединит вокруг себя людей разных направлений и создаст здоровую национальную силу. Он говорит о тяжелой борьбе окраин с центром и верит, что первым удастся победить и снова сплотить возрожденную Россию.

ЗАПИСЬ В АРМИЮ

Через два дня приехал мой командир, полк. Василий Лаврович Симановский и мы идем записываться в бюро Добровольческой армии.

Подшли к дому. У дверей — офицер с винтовкой. Доложил караульному начальнику, и нас провели наверх.

В маленькой комнате прапорщик-мужчина и прапорщик-женщина записывали и отбирали документы. Подпоручик опрашивал: "Кто вас может рекомендовать?"

— Подполковник Колчинский, — называю я близкого родственника ген. Корнилова.

Подпоручик делает мину, пожимает плечами и цедит сквозь зубы: "Видите ли, он, собственно, у нас в организации не состоит".

Я удивлен. Ничего не понимаю. Только после объясняет мне подполк. Колчинский: офицеры бюро записи — ставленники Алексева, а он — корниловец; между этими течениями идет скрытый раздор и тайная борьба.

Мы записались. Знакомимся с заведующим бюро и общением, гв. полк. Хованским. Низкого роста, вылощенный, самодовольно-брезгливого вида, полк. Хованский говорит, аристократически растягивая слова и любясь собой: "Поступая в *нашу* (здесь он делает ударение) армию, вы должны прежде всего помнить, что это не какая-нибудь рабоче-крестьянская армия, а офицерская".

После знакомства разместились в общежитии. Меня поражает крайняя малочисленность добровольцев. Новочеркасск полон военными разных форм и родов оружия, а здесь, в строю армии — горсточка самых молодых армейских офицеров.

ШТАБ АРМИИ

С каждым днем в Новочеркасске настроение становится тревожнее. Среди казаков усиливается разложение. Ожидается выступление большевиков. Каледин попрежнему нерешителен. Войсковой круг теряется.

Штаб Добровольческой армии решает перенестись в Ростов.

Верхом, со своими адъютантами, переехал туда Корнилов. В этот же день переехал полк Василий Лаврович Симановский и мы, первые офицеры его отряда.

В Ростове Штаб армии — во дворце Парамонова. Около красивого здания — офицерский караул. У дверей часовые.

Стильный, с колоннами зал полон офицерами в блестящих формах. Среди них — плотная, медленная фигура Деникина. В штатском, хорошо сшитом костюме он больше похож на лидера буржуазной партии, чем на боевого генерала. Из угла в угол быстро бегают нервный, худой Марков. Появляется начальник штаба — молодой, надменный ген. Романовский, хитрый Лукомский с лицом городничего, старик Эльснер; из штатских — член I-й Думы Аладьин в форме английского офицера, сотрудник "Русского Слова" — маленький горбатый Лембич, живой, худенький брюнет, матрос Баткин, Борис и Алексей Суворины.

Но и с перенесением штаба в Ростов общая тревога за прочность положения не уменьшается. Каждый день несет тяжелые вести. Казаки сражаться не хотят, сочувствуют большевизму и неприязненно относятся к добровольцам. Часть из еще не сформированных войск перешла к большевикам, другие разошлись по станицам. Притока людей из России в армию нет. Командующий объявил мобилизацию офицеров Ростова, но в армию поступают немногие — большинство же умело уклоняется.

НА ВОКЗАЛЕ

В это время в сто человек сформировался отряд полк. Симановского и через несколько дней мы несем первую службу — занимаем караул на станции Ростов.

Настроение в городе тревожное. Вокзал набит народом. То там то сям собираются кучки, говорят, озлобленно смотрят на караульных.

Офицеры караула арестовали подозрительных: громадного роста человека с сумрачным лицом, "партийного работника", пьяного маленького лакея из ресторана, человека с аксельбантами и полковничьими погонами, офицера-армянина и др.

Пьяный лакей, собрав на вокзале народ, кричал: "Ахвицера,

юнкаря — это самые буржуи, с кем они воюют? с нашим же братом — бедным человеком! Но придет время — с ними тоже расправятся, их тоже вешать будут!”

Ночь он проспал в караульном помещении. “Отпустите его, только сделайте внушение, какое следует” — говорит утром полк. Симановский поручику Злобину.

Мимо меня идет Злобин и лакей. Злобин делает мне знак: войти в комнату. Вхожу. Они за мной. Злобин запер дверь, вплотную подошел к лакею и неестественным, хриплым голосом спросил: “Ну, что же, офицеров вешать надо?” — “Что вы, ваше благородие, — подобострастно засюсюкал лакей, — известное дело — спьяна сболтнул”. — “Сболтнул!.. твою мать!” — кричит Злобин, размахивается и сильно кулаком ударяет лакея в лицо раз, еще и еще... Лакей пошатнулся, закрыл лицо руками, протяжно завыл. Злобин распахнул дверь и вышвырнул его вон.

— Что вы делаете? И за что вы его? — рванулся я к Злобину.

— А, за что? За то, что у меня до сих пор рубцы на спине не зажили... Вот за что, — прохрипел Злобин и вышел из комнаты.

Я узнал, что на фронте солдаты избили Злобина до полусмерти шашками.

Человека с полковничьими погонами и странно привешенными аксельбантами допрашивает полк. Симановский: “Кто вы такой?” — “Я — полк. Заклинский”, — нетвердо отвечает опрашиваемый и стоит по-солдатски, вытянувшись. — “Где вы служили?” — “В штабе северного фронта”. — “Вы генерального штаба?” — “Да”. — “А почему у вас погон золотой и с синим просветом?” Заклинский мнется, смущается: “Я кончил пулеметную школу”, — выпаливает он. — “Так, — тянет полковник. — А почему вы носите аксельбанты так, как их никогда никто не носил?” Заклинский молчит. — “Ракло ты, а не полковник! Обыскать его!” — звонко кричит полк. Симановский.

Заклинский вздрагивает, бледнеет и сам начинает вытаскивать из карманов бумаги. Его обыскивают: бумаги на полковника, поручика и унтер-офицера. — “К коменданту”, — отрезает полк. Симановский.

На вокзале офицер-армянин просил часового продать ему патроны. Часовому показалось это подозрительным, он аресто-

вал его. При допросе офицер теряется, путается, говорит, что он "просто хотел иметь патроны".

Полк. Симановский приказывает его отпустить. Офицер спускается с лестницы. Кругом стоят офицеры караула. Вдруг поруч. Злобин сильно ударяет его в спину. Офицер спотыкается, упал, с него слетели шпоры и покатились, звеня по лестнице...

Многие возмутились, напали: "Что это за безобразие! Одного вы бьете, другого с лестницы спускаете! Что у нас — застенок, что ли! Да он и не виноват ни в чем. Это черт знает что такое!". Злобин молчит.

Время сменяться. Все налицо, кроме подпор. Крупенина. Вчера вечером после караула он пошел на Темерник*, сейчас уже вечер, а его нет.

Сменились, выстроились. Колонной по отделениям, четко отбивая шаг по звонкой мостовой, идем по залитому огнями вечернему городу. Тенора бравурно, отрывисто запевают:

Там где волны Аракса шумят
Там посты дружно в ряд
По дорожке стоят.

И гулко подхватывают все:

Сторонись ты дорожки той,
Пеший, конный не пройдет живой!

На тротуарах останавливаются прохожие, извозчики сворачивают с дороги.

Утром, недалеко от вокзала, на путях нашли труп подпор. Крупенина; он лежал ничком, с раздробленным черепом.

НА НОВОЧЕРКАССКОМ ФРОНТЕ

Красная армия наступает с севера на Новочеркасск и на Ростов с юга и запада. Красные войска сжимают кольцом эти города, а в кольце мечется Добровольческая армия, отчаянно сопротивляясь и неся страшные потери. В сравнении с надвигаю-

* Расположенный около вокзала рабочий поселок, большевистки-буйно настроенный.

щимися полчищами большевиков число добровольцев ничтожно. Они едва насчитывают 2000 штыков, а казачьи партизанские отряды есаула Чернецова, войск. старш. Семилетова и сотника Грекова — едва ли 400 человек. Сил не хватает. Командование Добровольческой армии перекидывает измученные небольшие части с одного фронта на другой, пытаясь задержаться то здесь, то там.

Наш отряд послан на ст. Горную.

Вечером на вокзале погрузили обоз и тихо, без огней, отъезжаем. В вагонах полутемно и холодно. Почти никто не говорит. Иногда звякнут штыки сцепившихся винтовок.

Офицер в углу обтирает затвор полрой шинели и пробует, щелкает им. Другой смотрит в темное окно с убегающими фонарями. Из соседнего вагона сквозь шум поезда слабо доносится военная песня, как будто ее поют далеко-далеко.

Тихо. Поезд мерно постукивает колесами. Ночь. Серые фигуры склонились, держа меж колен винтовки. Дреmlют. Засыпают.

В окна ползет серый рассвет. Поезд с медленным визгом остановился. Станция. По путям ходят усталые фигуры с винтовками.

— Кто приехал? — Отряд полк. Симановского.

— Наконец-то, а то хоть пропадай, нас всего пятьдесят человек, вторую неделю не спим, — недовольно и со злобой отвечает партизан... Полк. Симановский идет к начальнику участка ген. Абрамову. Генерал сам недавно приехал, у него нет никаких определенных сведений.

Известно: противник многочислен. Приказано: держаться во что бы то ни стало. Нужна разведка. Два паровоза, один с вагоном I класса, другой с площадкой с пулеметами, рядом идут на ст. Сулин*. В первом — ген. Абрамов, полк. Симановский и несколько офицеров, во втором — пулеметчики. Поезда остановились у моста под Сулином. Ген. Абрамов, полк. Симановский и офицеры выходят на станцию.

Увидя подъехавшие поезда, сюда сходитсЯ народ. Мы стоим с винтовками у комнаты, где генерал говорит с начальником станции. Нас окружили рабочие, смотрят злобно и не желают

* Заводский, рабочий поселок.

этого скрыть, разговаривают меж собой, к нам не обращаясь.

Генерал вышел. Идем по платформе. За нами — все, слышны какие-то замечания, смешки. Мы остановились у лавочки, покупаем. И все становятся кругом. Я, торопясь, плачу деньги: "Эй, господин, получите-ка" — "Забыли, наверное, нынче господ нет" — серьезно и резко отрезает кто-то из толпы.

Ген. Абрамов выдвинул к Сулину паровоз с пулеметной площадкой, но не прошло получаса, как с противоположной стороны к станции подъехали два эшелона большевиков с бронированным поездом впереди. Наш поезд отступал, обстрелянный артиллерией и пулеметами, а по отступающему поезду жители Сулина стреляли из винтовок. Большевики заняли Сулин.

Мы стоим на Горной в поездах, охраняясь полевыми караулами. На случай наступления большевиков — выбрана позиция. В вагонах день проходит в питье чая, разговорах о боях и пеньи песен... Из караула пришел подпор. Кленовой и кап. Минервин. Подсели к нашему чайнику. — "Сейчас одного 'товарища' ликвидировал", — говорит Кленовой. — "Как так?" — спрашивает нехотя кто-то. — "Очень просто, — Кленовой отпивает чай, — стою в леске, вижу, 'товарищ' идет, крадется, оглядывается. Я за дерево — он прямо на меня, шагов на десять подошел. Я выхожу, винтовку наизготовку, конечно, — хохочет Кленовой, — "Стой!", говорю. Остановился. "Куда идешь?" — "Да вот домой, в Сулин", — а сам побледнел. "К большевикам идешь, сволочь! шпион ты... твою мать!" "К каким большевикам, что вы, домой иду!" — а морда самая комиссарская. Знаю, говорю... вашу мать! Идем со мной" — "Куда?" — "Идем, хуже будет, говорю" — "Простите, говорит, за что же? Я человек посторонний, пожалейте" — "А нас вы жалели, говорю... вашу мать?! Иди!...". Ну и "погуляли" немного. Я сюда — чай пить пришел, а его к Духонину направил..." — "Застрелил?" — спрашивает кто-то. — "На такую сволочь патроны тратить! Вот она, матушка, да вот он, батюшка". Кленовой приподнял винтовку, похлопал ее по прикладу, по штыку и захохотал*.

* Кленовой в мирное время был артистом плохого шантана. Глядя на него, я часто думал: что привело его в Белую армию? Погоны? Случайное офицерство? И мне казалось, что ему совершенно все равно, где служить: у белых ли, красных ли — грабить и убивать везде было можно.

СУЛИН

Полк. Симановский задумал взять Сулин обратно. Но так как силы были неравны, то план, рассчитанный всецело на дисциплинированность и паничность противника, строился немного фантастично.

Ночью храбрейший офицер, георгиевский кавалер, шт.-кап. князь Чичуа должен был с десятью офицерами пробраться в тыл большевистских поездов, взорвать пути, обстрелять, короче, произвести панику в тылу противника, а отряд по этому сигналу ударит в лоб и с флангов на станцию.

Была холодная ночь. Дул сильный, колючий ветер. Часть отряда пошла прямо по железной дороге, а другая, с полк. Симановским, поехала влево, по частной ветке.

Подъехали к будке, слезли. Вдали сквозь метель заревом светит Сулин. Князь Чичуа с десятью офицерами быстро ушел вперед. Артиллеристы устанавливают два орудия на бум, по направлению вокзала. Вся пехота пошла, скрылась в чернобелой степи.

Ночь черна, ни звезды. Ветер поднял в степи метель, носит белесыми столбами снег, не пускает вперед и протяжно воет на штыках. Дорогу замело. Впереди проводник сбивается, разыскивает и ведет. Дошли до большого белого оврага, перелезли и остановились. По ветру доносится лай собак — это в Сулине. Теперь недалеко. Здесь будем ждать сигнала.

Метель не перестает. Ветер еще злее. Мерзнут руки, лицо, ноги. Каждый напряженно прислушивается: не будет ли сигнала — взрыва. Прошел час, прошел другой, сигнала нет. Хотя бы скорее, думает каждый, пошли бы вперед, быстро согрелись бы. Ветер с воем налетает, засыпает снегом. Люди жмутся один к другому, ложатся на снег. Свертывается один, второй, третий.

На белом снегу — темно-серое пятно: это все, плотно прижавшись друг к другу, лежат в кучке и каждый старается залезть поглубже, согреться, спрятаться от ветра. Один полковник ходит около серого пятна, постукивает ногами и руками и, волнуясь, ждет сигнала...

Выстрел! Один, другой.

Темная куча зашевелилась, люди вскакивают и сразу как

будто не холодно. Вот опять: та-та-та, пачками. И тихо.

— Видно, заметили наших, — шопотом говорит кто-то.

— Перебили, может, — еще тише говорит другой.

Та! — отдельный выстрел, и все замерло.

Опять один за другим ложатся, прячась от холода, и опять полковник ходит около темного пятна, но теперь он больше волнуется.

— Знаете, — тихо говорит он мне, — боюсь, не попались ли. Подстрелят кого-нибудь, не уйдешь ведь по такому снегу.

Скоро рассвет. Надо идти, а князя нет. Люди поднимаются. Идем в вагоны, торопимся: рассветет — заметят.

В степи показались какие-то фигуры. "Смотрите, люди, вон, люди, — зашептал один, другой, — вон, вон, с винтовками". Каждый хватается за винтовку, снимает с плеча, по телу пробегает холодная дрожь.

— Может, наши, князь, — говорит кто-то.

Несколько человек идут вперед, "Кто идет?!" — "Свои, свои, князь", — отвечают фигуры. Все довольны, винтовки на ремень, спешат к нашим.

— Ну, как? Это по вас стреляли?

Князь докладывает полковнику:

— Невозможно, г-н полковник: только стали к Сулину подходить, по нас караулы сразу огонь открыли; залегли, переползли, хотели другой дорогой — то же самое.

— Вот как, охраняются хорошо, сволочи, а я думал, что они дрыхнут всю ночь. Ну, идемте, идемте, слава Богу, что никого не ранили.

Вкатываем орудия на платформу, едем "домой", на Горную.

Только что приехали, ген. Абрамов показывает приказ: немедленно отъезжать, противник пытается отрезать нас у Персиановки. Поезд, не останавливаясь, мчит к Новочеркаску. Успеем ли проскочить?

Проехали Персиановку. Новочеркаск. В вагон вбегает офицер: "Господа, Каледин застрелился!" — "Быть не может?! Конiec казакам, теперь на Дону все кончено. Куда же мы пойдем?".

Вечером приехали к Ростову. С вокзала отряд идет в казармы с песней, но песня не клеится, обрывается, замолкает.

Я с полк. Симановским поехал в штаб армии. Там суета.

Полковника вызвал Корнилов: "Сейчас же поедете на Таганрогский фронт. Знаю, что вы устали, измучены, с фронта, но больше некого послать, а там неладно".

ХОПРЫ

Утро. Мы на вокзале. На Таганрогский фронт. Ждем состава. На платформе публика. Добровольцы поют, и гулко разносится припев:

Так за Корнилова! За родину! За веру!
Мы грянем громкое ура!

Кончили песню.

Князь, князь! Наурскую! Наурскую! Просим!!

Все расступаются кругом, поют, хлопая в ладоши, а красивый мингрелец, князь Чичуа, несется по кругу в национальном танце...

— Браво! Браво!

Подали состав. Шумно садятся в вагоны. Некоторых провожают близкие. Около нашего вагона подпор. Кленовой. Его провожает молодая женщина с добрым, хорошим лицом. Она плачет, обнимает и крестит его.

Сели. Едем. Ст. Хопры. Здесь фронт. На путях несколько поездных составов: классные вагоны — штабов, товарные — строевых, площадки с орудиями.

Командует участком гв. полковник Кутепов. Людей, как всегда, очень мало. На позиции — Георгиевский полк. В нем восемьдесят солдат и офицеров. Это штаб полный: командир, помощник, адъютант, зав. хозяйством, командир батальона, начальник связи и др. Мы стали резервом.

Мороз сменился оттепелью. Капает сверху, под ногами грязно. В товарных вагонах — холодно. Раньше стоявшие здесь рассказывают: "Вчера бой был, сильный, понесли большие потери, но отбили и даже пленных взяли".

— Там на станции сестра большевистская, пленная и два латыша, — говорит, влезая в вагон, прап. Крылов.

— Где? Где? Пойдем, посмотрим!

— Ну их к черту, я ушел... Ну и сестра! — говорит Крылов,

держит себя как!

— А что?

— Говорит: я убежденная большевичка... Этих латышей наши там бить стали, так она их защищает, успокаивает. Нашего раненого отказалась перевязать.

— Вот сволочь! — тянет кто-то.

— Пойдемте, посмотрим.

— Да нет, их в вагон приказано перевести.

Часть вылезла из вагона и пошла к станции.

Немного спустя ко мне быстро подошел шт.-кап. кн. Чичуа: "Пойдемте, безобразие там, караул от вагона отпихивают, хотят заколоть пленную сестру".

Мы подошли к вагону с арестованными. Три офицера во главе с подп. Кленовым и несколько солдат Корниловского полка с винтовками лезли к вагону, отпихивали караул, ругались: "Чего на нее смотреть... ее мать!.. Пустите! Какого черта еще!"

Караул сопротивлялся. Кругом стояло довольно много молчаливых зрителей. Мы вмешались.

— Это безобразие! Красноармейцы вы или офицеры?!

Поднялся шум, крик.

Бледный офицер с винтовкой в руках, с горящими глазами, кричал князю: "Они с нами без пощады расправляются! А мы будем разводы разводить!" — "Да ведь это пленная и женщина!" — "Что же, что женщина?! А вы видали, какая это женщина? Как она себя держит, сволочь!" — "И за это вы ее хотите заколоть, да?"

Крик, шум увеличивался.

Из вагона выскочил возмущенный полковник Симановский, кричал и приказал разойтись.

Все разошлись.

Подпор. Кленовой шел, тихо ругаясь матерно и бормоча: "Все равно не я буду, заколю". Я припомнил, как его, плача, провожала и крестила женщина с добрым, хорошим лицом.

Солдаты расходились кучками. В одной из них шла женщина-доброволец. Они, очевидно, были в хорошем настроении, толкали друг друга и смеялись.

— Ну, а по-твоему, Дуська, что с ней сделать? — спрашивал

курносый солдат женщину-добровольца.

— Что? Завести ее в вагон да и... всем в затылок, до смерти,
— лихо отвечала "Дуська"*.

ПЕРВЫЙ РАССТРЕЛ

В то время благодаря агитации, с одной стороны, и внезапному страху приближения большевиков, с другой, поднялись казаки ближайших к Ростову станиц. Поднялись, главным образом, старики. Кто в чем, бородатые, на разномастных конях, с разнообразным оружием, казаки напоминали войска Ермака, Разина, Булавина.

Как-то раз на станцию возвращается разъезд таких казаков. Они едут, галдят. Впереди на великолепном рыжем англичанине, в кавалерийском седле с мундштуками — старый казак.

— Откуда конь-то такой, станичник?

— Большевистский, захватили, — отвечает казак. Он легко спрыгнул с коня и подвел привязать к изгороди. Казаки спешились. Обступили коня. Наперебой, громко крича, рассказывают, как они захватили разъезд. Восторгаются добычей.

Нервный конь перебирает мускулистыми, крепкими ногами и бочится. Другой казак подвел захваченную кобылу. Кобыла — хуже. Всем нравится рыжий англичанин. Казаки спорят о нем и нападают на старика.

— На что он тебе?! Отдай молодому! Все равно продашь!

Старик отнекивается: "Да я же его взял!" — "Ты взял, а я где был?" — кричит, вскидывая головой и размахивая руками, молодой казак-претендент.

Во время спора я заметил среди них высокого, черноусого, с бледным лицом солдата в серой хорошей шинели. Он стоял немного поодаль, не вмешиваясь в разговор.

Это ваш, казак? — спросил я старика.

— Нет, их — захватили, — нехотя отмахнулся он. Ему

* Позднее по приказу командующего эту добровольцу "Дуську", женщину типа городской проститутки, в одной из кубанских станиц подвергли телесному наказанию за присвоение офицерской формы.

было не до разговоров, казаки отбивали коня в пользу молодого.

Пленного никто не замечал, все были увлечены спором о коне. Солдат не выдержал, дернул крайнего казака за рукав и тихо спросил: "Ну, куда же мне-то?" Тот недовольно обернулся: "Постой... ребята, кто-нибудь, отведите-ка пленного к начальнику. Ведерников, отведи ты", — приказал казак и опять все загалдели вокруг коня.

Ведерников нехотя вышел из толпы. Солдат, на ходу поправляя пояс, двинулся за ним.

Я стоял — смотрел на галдеж казаков, но вдруг сзади услышал разговор проходивших солдат: "Видал, поймали одного, сейчас будут расстреливать". Я пошел вместе с ними к путям. Навстречу мне солдаты Корниловского полка с винтовками в руках вели этого самого черноусого солдата. Лицо у него было еще бледнее, глаза опущены. Со всех сторон из вагонов выпрыгивали и бежали люди: смотреть.

Черноусого солдата вели к полю. Перешли последний путь. Я влез в вагон. Выстрел — один, другой, третий.

Когда я вышел, толпа расходилась, а на месте осталось что-то бело-красное. От толпы отделился, подошел ко мне молодой прапорщик.

— Расстреляли. Ох, неприятная штука. Все твердил: "За что же, братцы, за что же?" — а ему: "Ну, ну, раздевайся, снимай сапоги". Сел он сапоги снимать. Снял один сапог: "Братцы, — говорит, — у меня мать-старуха, пожалейте!" А тот, курносый солдат-то наш: "Эх, да у него и сапоги-то дырявые..." и раз его, прямо в шею, кровь так и брызнула".

Пошел снег. Стал засыпать пути, вагоны, расстрелянное тело...

Мы сидели в вагоне. Пили чай.

У ГЕН. КОРНИЛОВА

На другой день от офицеров отряда я и шт.-кап. князь Чичуа выехали в Ростов к ген. Корнилову — просить его не разлучать нас с нашим начальником, полк. Симановским*.

* Отряд мог быть влит в другую часть.

Было около 9-ти часов утра, когда мы пришли в переднюю штаба и вызвали адъютанта Корнилова, подпор. Долинского. Он привел нас в приемную, соседнюю с кабинетом генерала.

В приемной, как статуя, стоял текинец. Мы были не первые. Прошло несколько минут, дверь кабинета отворилась, вышел какой-то военный, за ним Корнилов, любезно провожая его.

Л.Г. был одет в штатский потертый костюм, черный, в полосу, брюки заправлены в простые солдатские сапоги, костюм сидел мешковато.

Он поздоровался со всеми. "Вы ко мне, господа?" — спросил нас. — "Так точно, ваше высокопревосходительство". — "Хорошо, подождите немного", — и ушел.

Дверь кабинета снова отворилась. Корнилов прощался со штатским господином. — "Пожалуйста, господа". Мы вошли в кабинет, маленькую комнату с письменным столом и двумя креслами около него:

— Ну, в чем ваше дело? Рассказывайте, — сказал генерал и посмотрел на нас. Лицо у него — бледное, усталое. Волосы короткие, с сильной проседью. Оживлялось лицо маленькими, черными, как угли, глазами.

— Позвольте, ваше высокопревосходительство, быть с вами абсолютно искренним.

— Только так, только так и признаю, — быстро перебил Корнилов.

Мы излагаем нашу просьбу. Корнилов, слушая, чертит карандашом по бумаге, изредка взглядывая на нас черными пронизательными глазами. Рука у него маленькая, бледная, сморщенная, на мизинце — массивное дорогое кольцо с вензелем.

Мы кончили.

— Полковника Симановского я знаю, знаю с очень хорошей стороны. То, что у вас такие отношения с ним — меня радует, потому что только при искренних отношениях и можно работать по-настоящему. Так должно быть всегда у начальников и подчиненных. Просьбу вашу я исполню.

Маленькая пауза. Мы благодарим и хотим просить разрешения встать, но Корнилов нас перебивает:

— Нет, нет, сидите, я хочу поговорить с вами... Ну, как у вас там, на фронте?

И генерал расспрашивает о последних боях, о довольствии, о настроении, о помещении, о каждой мелочи. Чувствуется, что он этим живет, что это для него "всё".

В моем рассказе промелькнуло: "Я видел убитых на платформах". Корнилов восторгнулся, вспыхнул, блеснувшие глаза остановились на мне:

— Как на платформах! В такую погоду! Почему?! Разве нет вагонов?!

Ответить на вопросы я не могу. Корнилов взволновался, быстро пишет что-то на клочке бумаги*. Разговор продолжался. В конце его Корнилов спросил, где мы служили на фронте и когда узнал, что в его армии, задержал нас, расспрашивая: а были там-то? а были в таком-то деле?

Генерал прощался. "Кланяйтесь полк. Симановскому", — говорил он нам вслед. Выходя из кабинета, мы столкнулись с молодым военным с совершенно белой головой. "Кто это?" — спрашиваю я адъютанта. Он улыбается: "Разве не знаете? Это — белый дьявол, сотник Греков. Генерал узнал, что он усердствует в арестах и расстрелах и вызвал, кажется, на разнос".

Пройдя блестящий зал штаба, мы вышли. Корнилов произвел на нас большое впечатление. Что приятно поражало всякого при встрече с Корниловым — это его необыкновенная простота. В Корнилове не было ни тени, ни намек на бурбонство, так часто встречаемое в армии. В Корнилове не чувствовалось "Его Превосходительства", "генерала от инфантерии". Простота, искренность, доверчивость сливались в нем с железной волей и это производило чарующее впечатление.

В Корнилове было что-то "героическое". Это чувствовали все и потому шли за ним слепо, с восторгом, в огонь и в воду. Казак Корнилов казался "национальным героем". Кругом же были "просто генералы". И когда я узнал от близких к Корнилову лиц про интриги вокруг него, я понял, что это происходит именно поэтому.

* Позднее я узнал, что генерал требовал по этому поводу объяснений от начальника участка.

ЧАЛТЫРЬ

Мы с князем возвращались на фронт. За несколько дней положение на Таганрогском фронте изменилось. Поднялись казаки ближайших станиц (вернее, их искусственно подняли, так как настрояние казаков было неуверенное), и хорунжий Назаров, начальник партизанского отряда, решил ударить с ними на село Салы, где, по сведениям, находились большевики. Разведки достаточной не было. Хорунжий бросился "на ура" и налетел на значительные силы большевиков с артиллерией.

Казаков разбили. Они в беспорядке бежали, оставив под Салами раненых и убитых. Подъем упал, казаки замитинговали: "нас продали", "нас предали", "опять ахвицарá!"

Подъезжая к Хопрам, мы застали такой митинг. Казаков пробовал уговорить новый начальник участка ген. Черепов, но бесполезно; казаки решили расходиться по домам. Пробовал уговорить их и священник ст. Гниловской с распятием на груди*. Он поднимал казаков, ходил с ними в бой, но теперь они его не слушали: "Чего нам говорить! Сами знаем, что делать! Идем по домам!. Нет, где этот начальник наш, туды его мать? Где он... мать его... Убежал, сволочь**.

Казаки разошлись. Их выступление только обострило положение. К нашему отряду придана часть кавалерийского дивизиона полк. Гершельмана и мы двинулись к селу Чалтырь, на окраине которого и расположились.

Село Чалтырь — очень богатое. Жители его — армяне. Мы ждали радушного приема, но жители сторонятся нас, стараются ничего не продавать, а что продают, то по крайне дорогой цене. В разговорах с ними пытаешься рассеять неприязненное отношение, но наталкиваешься на полное недоверие и злую подозрительность.

Стоим день. На другой, поздним вечером, получен приказ: отойти на Хопры.

Вышли в степь. Мороз, ветер, темь, метель. Засыпает снегом, трудно вытаскиваются ноги, колонна растянулась по одно-

* Священника ст. Гниловской, взяв станицу, повесили большевики.

** Это относилось к Назарову, который, действительно, был уже в Ростове.

му. Идем, вязнем в снегу, остановились — дороги нет. Ветер налетает, гудит по винтовкам. "Провод телефонный ищите! По нему пойдем!" — кричит кто-то. Люди толпятся, как стадо, мерзнут, ругаются, лезут по снегу искать дорогу. Слышны голоса: "руки отморозил", "давай сюда винтовку!", "оттирай, оттирай скорей!" Начинается легкая паника. Трут друг другу руки, лицо. Более слабые стонут.

Наконец, нашли дорогу, опять поплелись по глубокому снегу. То и дело слышно: "Пожалуйста, потри, потри, совсем замерзла, не слышу, ей Богу".

Кто-то едет навстречу, поровнялся с головой колонны и все остановились. По ветру доносится раздраженный голос полк. Симановского: "Так чего же раньше не телефонировали! Я людей обморозил!" — "Генег'ал отменил пг'казание, — отвечает лейб-улан полк. Гершельман, — вам надо возг'атиться в Чалтыг'ь".

Среди отряда ропот, ругань: "Сволочи, это всегда у нас так! Сидеть в вагоне — не в степи мерзнуть! Безобразие, не могли раньше позвонить!"

— Я впег'ед поеду, полковник, — говорит Гершельман, садится в сани и скрывается в холодной темноте.

Повернули назад. Теперь еще холоднее, ветер бьет в лицо. Люди торопятся, сбиваются с дороги, еще чаще слышится: "Потрите, господа, ради Бога! Ох, не могу идти!" Останавливаются кучками, некоторых оттирают, других еле-еле ведут под руки.

— Господа, капитан в поле остался! — кричит кто-то.

— Ну что же делать, из села пошлем подводу, — отвечают другие, торопясь вперед.

Огоньки — пришли в Чалтырь. Проверка людей — трех не достает. В поле едет подвода и два офицера, искать. Из ста двух человек шестьдесят обморозились. Тяжело обмороженных отправляют на Хопры и в Ростов.

Полк. Симановский требует теплых вещей. "Выслано, выслано", — отвечают из штаба, а мы ничего не получаем по-прежнему. Весь отряд обвязан бинтами, платками, тряпками.

БОЙ

А ранним утром следующего дня в хату вбежал офицер: "Господин полковник, большевики наступают!" — "Как, где?" — "Разъезды уже в село въезжают, а там показались цепи".

— В ружье! всем строиться! выходить!

День зимний, яркий. Торопясь, выбегают из хат люди, поблескивая на солнце штыками. Эта окраина села возвышенней: видно, как к противоположной подъезжают конные — игрушечные солдатики, а на ярко-белой линии горизонта появились черные, густые цепи.

— Вторая рота построиться! Будем залпами стрелять по разъездам, — кричит полк. Симановский.

Рота вытянулась серой лентой. Лица напряжены, слегка бледны. Никто ничего не говорит. Щелкнули затворы, взлетели винтовки, шеренга ошетибилась.

— Ротта — замерли — пли! — Гремит залп. Черненькие, игрушечные фигурки-кавалеристы остановились, метнулись.

— Ротта — пли! — Залп. Фигурки повернулись, вскачь несутся к цепям.

— Скачут, сволочи, — бросает полковник, — рота — пли!.

Вж... вж... шуршит в ответ шелковой юбкой первая шрапнель и за нами вспыхивает белое звонкое облачко:

— Перелет, — говорит кто-то.

На взмыленной, задохнувшейся лошади подскочил ординарец: приказано отойти к Хопрам. Начали отступление. По белому топкому снегу, сияющему миллионами цветов и блесток, растянулись черными пятнами две цепи, а сзади, застилая горизонт, густыми черными полосами движутся на нас большевики.

— Смотрите, у них кавалерия на фланге, — говорит кто-то. Видно, как справа от пехотных цепей, мешаясь, неровно колыхается кавалерия.

Глухой выстрел. Приближаясь, свистит снаряд. По нас? Нет, перелет. По первой цепи. С визгом и звоном взрывает белый снег граната, оставляя черное пятно. Люди упали. Все ли встанут? Нет, встали все, цепь движется.

Чаще, чаще свистят, рвутся снаряды. Большевики движутся быстро, наседают. Скачет второй ординарец: приказано занять

позицию южнее станции Хопры — станцию оставили.

Перелезли поросший кустарником овраг, рассыпались по возвышенности и залегли. Впереди открытая белая степь, по ней ползут черные полосы-цепи, влево и вправо от них уступами колышется кавалерия. Над нами звонко рвутся белые облачка шрапнелей. Около нас с визгом роят землю гранаты. Но вот и за нами приятно гроыхнуло: наши бьют. Еще, еще, и через головы с воем уходят снаряды. Все жадно ловят: как разрывы?

"Недолет!" "Хорош!" "Прямо по цепям!" — слышатся возгласы.

Артиллерия бьет часто и метко. В цепях большевиков замешательство. Залегла первая — остальные остановились. Видно, как смыкаются, толпятся. "Смотрите, смотрите, товарищи минтунгут!"

Вместо цепей на снегу уже пятна, неровные, колеблющиеся. Вот опять медленно расходятся. Передняя цепь двинулась вперед, наступают. Рвутся их снаряды и клокочут уходящие наши. Пулеметчик прижался к пулемету. Пулемет ожесточенно захлопал, дрожит, выбрасывает струйку белого дымка и рвется вперед, как скаковая лошадь. Пиу... пиу — свистят, мягко тыкаясь, пули. Защелкали винтовки. Серые фигуры вжались в белый снег. Лица бледны, серьезно-ожесточенны. Глаза выбирают черные точки на противоположной дали, руки наводят на них винтовки, глаза зорко целятся.

Мы — горсточка. Единственная наша защита — артиллерийский огонь. Полк. Симановский зовет меня: "Сейчас же на будке возьмите лошадь, скачите к начальнику участка, доложите, что на нас наступает два полка пехоты, охватывают фланги батальона по два, кроме того, с флангов кавалерия... Спросите приказаний и не будет ли подкреплений".

Я сажусь верхом. Усталая лошадь не хочет итти. Бью ее, скачу.

На крыше вагона офицер и генерал Черепов. Генерал в биннокль смотрит в даль — на бой. Сидя верхом, приложив руку к козырьку, докладываю приказание пол. Симановского и прошу распоряжений.

Вдали слышатся разрывы снарядов, ружейная пальба и пулеметы.

Генерал Черепов секунду молчит. — "Голубчик, доложите все это генералу Деникину, он здесь в поезде, в другом, сзади".

Еду, ищу. "Вагон командующего?" — "Вон, второй вагон-салон".

Спрыгиваю с лошади, вхожу в вагон. "Вам кого?" — спрашивает офицер в красивой бекеше и выходных сапогах. "Генерала Деникина, с донесением". — "Сейчас". Выходит Деникин. В зеленой бекеше, папаше, черные брови сжаты, лицо озабочено, подает руку: "Здравствуйте, с донесением?" — "Так точно, ваше превосходительство".

Повторяю донесение: "Полк. Симановский приказал спросить, не будет ли подкрепления и не будет ли новых приказаний?"

Лицо Деникина еще суровее. "Подкреплений не будет", отрезает он.

— Что прикажете передать полк. Симановскому?

— Что же передать? Принять бой! — с раздражением и резко говорит генерал.

Сажусь на лошадь. Проносится злобная мысль: хорошо тебе в вагоне с адъютантами "принимать бой". Ты бы там "принял". И тут же: ну что же Деникин мог еще сказать? Отступить ведь некуда, подкреплений нет. Стало быть, все ляжем.

"Ну, что?" — кричит издалека полк. Симановский. — "Подкреплений не будет. Ген. Деникин приказал принять бой", — отвечаю я, спрыгивая с лошади. — "Деникин? Он здесь? Вы ему все сказали?" — "Все". — "И принять бой?" — "Да". — "Стало быть, всем лечь. Хорошо", — говорит полк. Симановский и в голосе его злоба.

Несут раненых. "Куда ранен?" — "В живот", — тихо отвечают несущие.

Цепи наступают. С ревом, визгом рвутся гранаты, трещат винтовки, залились пулеметы. Все смешалось в один перекачывающийся гул.

Но вот первая большевистская цепь не выдержала нашей артиллерии, дрогнула, смешалась со второй. По дрогнувшим цепям чаще затрещали винтовки, ожесточенней захлопали пулеметы, беспрерывно ухает артиллерия. Большевики смешались,

отступают, побежали.

Отбили. И сразу тяжесть свалилась с плеч. Стало легко. "Слава Богу". Смолкают винтовки, пулеметы, редко бьет артиллерия.

Полк. Симановский стоит около цепей на холмике. К нему идет ген. Деникин с адъютантом. Полковник рапортует. Деникин сумрачно смотрит на цепи. — "А это что у вас за люди, полковник?" — "Это цепочка для связи, ваше превосходительство". — "Людей нет в цепи, а вы столько отвлекаете для связи? Как же это, полковник? Ведь вы же "необыкновенный"*.

Кончился бой. Смеркалось. В тишине вечера молчаливо сходятся усталые люди.

Ночью на краю оврага заняли маленькую дачу из двух комнат. Все повалились на пол, заснули мертвым сном.

Из караула приходит офицер, расталкивает: "Вставай, смена!"

Сейчас, ладно, — бормочет спросонья смена, лениво встает, берет холодную винтовку и, потягиваясь, выходит на мороз из душной, битком набитой комнаты.

Всю ночь полк. Симановский пишет рапорта ген. Черепову с просьбой позаботиться о теплых вещах и довольствии.

Рассвет чуть бледнеет. Люди на ногах. Внутри неприятно тянет, сосет: "сейчас опять наступление, бой".

Измятый вчера снег розовеет. Выкатывается край багряного солнца. Люди лежат в цепи час, два. Но большевики не наступают, даже артиллерия молчит. От взводов остаются дежурные — остальные уходят греться.

Так мы стоим на этой позиции несколько дней. Мы не отдыхали с выхода на Сулин, почти все обморожены, теплых вещей нет, довольствия — почти нет, многие заболели — уехали в Ростов.

Полк. Симановский просит о нашей смене. Долго отказывают. Наконец, нас сменяет отряд "Белого дьявола" в 30 человек и кап. Чернов с 50 офицерами.

Мы едем в Ростов.

* Полк. Симановский был очень близок к ген. Корнилову, за что его не любили генералы штаба.

ОПЯТЬ У КОРНИЛОВА

Рано утром с вокзала полк. Симановский посылает меня с докладом к ген. Корнилову.

С обвязанным обмороженным лицом, в холодных сапогах, в холодной шинели я иду в штаб армии. У дверей блестящий караульный офицер-кавалерист грубо спрашивает: "Вы кто? Вам кого?" — "Я к ген. Корнилову." — "Подождите". — "Позовите адъютанта генерала, подпор. Долинского".

Вышел Долинский, провел меня в свою комнату, соседнюю с кабинетом генерала. "Подождите немного, там Романовский и Деникин, я доложу тогда... Ну, как у вас дела?" — любезно спрашивает адъютант. Я рассказываю: "Не ели почти три дня, обмерзли все, под Хопрами пришлось туго. Корниловцы на станции раненых своих бросили..." Он смотрит мимо меня: "Да, да... ужасно, но, знаете, у нас тоже здесь каторга..."

В кабинете смолкли голоса, в комнату вошел Корнилов. Я передаю записку полк. Симановского и докладываю. "Столько обмороженных! Не получали консервов?! До сих пор нет теплого! — кричит Корнилов, хватаясь за голову. — Идемте сейчас же за мной".

Быстрыми шагами, по диагонали, генерал перерезает зал штаба, где все с шумом вскочили, вытянулись и замерли. Мы входим в кабинет нач. снабжения, ген. Эльснера.

— Генерал, выслушайте, что вам доложит офицер отряда полк. Симановского, — грубо говорит Корнилов, поворачивается и уходит.

Я докладываю. Эльснер нетерпеливо морщится: "Это неверно, все было выслано..."

— Не могу знать, ваше превосходительство, мы не получали. Мне приказано доложить вам.

Он нетерпеливо слушает: "Не знаю, этого не могло быть. Ваша фамилия?"

Я вышел в зал. Одни офицеры штаба бесшумно скользят по паркету новыми казенными валенками, другие шумно топают новыми солдатскими сапогами, а у нас на фронте ни того, ни другого. И здесь, как всегда и везде, фронт и штаб живут разной жизнью, разными настроениями.

Это ясно сказалось, когда полк. генерального штаба Климов перебил рассказ полк. Симановского о тяжелом положении фронта своим возмущением: "Нет, вы знаете, какое у меня кiproко вышло с Романовским! Вчера мне замечание, да в какой форме, в каком тоне!.. Ну, сегодня он ко мне обращается, а я такую морду сделал! раз, два, наконец, очень любезен стал".

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОСТОВА

В этот приезд в Ростове ощущалась необыкновенная тревога. Обыватели взволнованы, чего-то ждут, по городу носятся жуткие слухи о приближении большевиков, слышны удары артиллерии. До Ростова уже начали долетать тяжелые снаряды из Батайска. На улицах появились странные, чего-то ждущие люди, собираются кучками, что-то обсуждают. Но штаб армии спокоен — и мы собираемся отдохнуть.

Рано утром 9 февраля 1918 года, когда мы еще спали, в казармы вбежал взволнованный полк. Назимов: "Большевистские цепи под Ростовом!" — "Как? Не может быть?" — "Мои студенты и юнкера уже ушли в бой".

Приказ: никому не отлучаться, быть в полной боевой готовности. Вышли на двор (мы на краю города) — слышна артиллерийская, ружейная, пулеметная стрельба. Стоя здесь, мы оказались резервом.

С каждым часом стрельба близится. На дворе около казармы уже рвутся снаряды. Артиллерия гудит кругом и в три часа дня получен приказ: оставляем город, уходим в степи. Мы назначены в арьергард.

Офицеры бросают свои вещи. Большая комната-склад завалена бекешами, выходными сапогами, синими, зелеными галифе, шапками, бельем. Некоторые торопливо переодеваются в лучшее — чужое. Некоторые рубят вещи шашками и сыпят матерную брань.

Мы в шинелях, с винтовками, патронташами, с мешками на спинах ждем выступления. В комнатах тихо. Все молчат, думают. Настроение тяжелое, почти безнадежное: город обложен, мы захвачены врасплох. Куда мы идем, и сможем ли вырваться

из города?

Откуда-то привели в казармы арестованного, плохо одетого человека. Арестовавшие рассказывают, что он кричал им на улице: "Буржуи, пришел вам конец, убегаете! Никуда не убежите, постойте!" Они повели его к командующему участком, молодому генералу Бобровскому. Генерал — сильно выпивши. Выслушал и приказал: "Отведите к коменданту города, только так, чтоб никуда не убежал, понимаете?"

На лицах приведших легкая улыбка: "Так точно, ваше превосходительство".

Повели. Недалеко в снегу расстреляли.

А в маленькой, душной комнате генерал угощал полк. Симановского водкой. "Полковник, ей Богу, выпейте". — "Нет, ваше превосходительство, я в таких делах не пью". — "Во-от, а я, наоборот, в таких делах и люблю быть в пол-свиста", — улыбается генерал.

Темнело. Кругом гудела артиллерия. То там, то сям стучал пулемет. Вдруг в комнату вбежала обтрепанная женщина с грудным ребенком на руках. Бросилась к нам. Лицо бледное, глаза черные, большие, безумные: "Голубчики, родненькие, скажите мне, правда, маво здесь убили?" — "Кого? Что вы?" — "Да нет, мужа маво два офицера заарестовали на улице, вот мы здесь живем, недалечка, сказал он им что-то... Миленькие, скажите, голубчики, где он?" Она лепетала, как помешанная; черные большие глаза умоляли. Грудной ребенок плакал, испуганно-крепко обхватив ее шею ручонками. "Миленькие, они сказали, он балашавик, да какой он балашавик! Голубчики, расстреляли его? Мне сказывал сейчас один".

— Нет, что вы, тут никого не расстреливали, — попробовал успокоить ее я, но почувствовал, что это глупо и пошел прочь.

А она все твердила: "Господи! Да что же это? Да за что же это? Родненькие, скажите, где он?"

Я подошел к нашим сестрам: Тане и Варе. Они стоят печальные, задумчивые. "Вот посоветуйте, идти нам с вами или оставаться, — говорит Варя. — Мама умоляет не ходить, а я не могу и Таня тоже". — "Советую вам остаться: ну куда мы идем? Неизвестно. Может быть, нас в первом переулке пулеметом встретят. За что вы погибнете? За что вы принесете такую боль

маме?" — "А вы?" — "Ну, что же мы, мы пошли на это". Варя и Таня задумались.

Совсем стемнело. Утихла стрельба. Мы строимся. Все тревожно молчат. На левом фланге второй роты в солдатских шинелях, папах, с медицинскими сумками за плечами Таня и Варя.

— Сестры! А вы куда? — подходит к ним полк. Симановский.

— Мы с вами.

— А взвесили ли вы все? Знаете ли, что вас ждет? Не раскатысь?

— Нет, нет, мы все обдумали и решили. Мы уже послали письмо маме, взволнованно-тихо отвечают Таня и Варя.

Толпимся, выходим на двор. В дверях прислуживавшие на кухне женщины плачут в голос: "Миленькие, да куда же вы идете, побьют вас всех, Господи!"

ОТСТУПЛЕНИЕ АРМИИ

Тихий синий вечер. Идем городом. Мигают желтые фонари. На улицах — ни души. Негромко отбивается нога. Приказано не произносить ни звука. Попадают темные фигуры, спрашивают: "Кто это?" — Молчание. — "Кто это идет?" — Молчание. — "Давно заждались вас, товарищи", — говорит кто-то из темных ворот. — Молчание.

Город кончился — свернули по железной дороге. Свист — дозоры остановились. Стали и все, кто-то идет навстречу.

"Кто идет?" — "Китайский отряд сотника Хоперского". Подошли: человек тридцать китайцев, вооруженных по-русски. — "Куда идете?" — "Ростов, большевик стреляй". — "Да не ходите, город оставляем, куда вы?" — говорим мы идущему с ними казак. Казак путается: "Мы не можем, нам приказ". — "Какой приказ? Армия же уходит. А где сотник?" — "Сотника нет".

Китайцы ничего не хотят слушать, идут в Ростов, скрылись в узкой темноте железной дороги...

"И зачем эту сволочь набрали, ведь они грабить к большевикам пошли", — говорит кто-то. — "Это сотник Хоперский, он

сам вывезенный китаец, вот и набрал. В Корниловский полк тоже персов каких-то наняли...”

Дошли до указанной в приказе отступления будки. Здесь мы должны пропустить армию и двигаться в арьергарде.

Мимо будки в темноте снежной дороги торопится, тянется отступающая армия. Впереди главных сил, с мешком за плечами, прошел Корнилов. Быстро прошли строевые части, но обоз бесконечен.

Едут подводы с женщинами, с какими-то вещами. На одной везут ножную швейную машину, на другой торчит граммофонный рупор, чемоданы, ящики, узлы. Все торопятся, говорят вполголоса, подгоняют друг друга. Одни подводы застревают, другие с удовольствием обгоняют их.

Арьергард волнуется. Хочется скорее уйти от Ростова: рассветет, большевики займут город, бросятся в погоню — нас всего 80 человек, а тут бесконечно везут никому ненужную поклажу. Наконец, обоз кончился и мы отходим на станицу Александровскую. В Ростове слышна стрельба, раз долетело громовое “ура”. В Александровской на улицах казачьи патрули, казаки настроены тревожно. И не успели мы остановиться, как от станичного атамана принесли бумагу: немедленно уходите, казаки не хотят подвергать станицу бою.

Отступаем на Аксай. Уже день. Расположились по хатам. Опять от станичного атамана такая же бумага. Полк. Симановский резко отвечает. Ночью аксайские казаки обстреливают наши посты. Полк. Симановский грозит атаману вызвать артиллерию, “сместить станицу”.

Сутки мы охраняем переправу через Дон. Здесь сходятся части, отступающие из Новочеркасска и Ростова. По льду едут орудия, подводы, идут пешие.

Кончилась переправа, и мы уходим через Дон в степи на ст. Ольгинскую.

(Конец первой части)

ИЗ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Публикация Ю. Фельштинского

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЬМА Н.И. АСТРОВА К ГЕНЕРАЛУ А.И. ДЕНИКИНУ 5 апреля 1919 г.

Темой моего письма является опять настояние на том, что молчать нельзя и что проводимые нами действия в смысле "порядка управления" таковы, что мы со всей нашей системой обрекаемся на полный неуспех. Нужна теперь комбинация слов и действий, яркая и последовательная. Слова без дела, слова с расходящимися делами — недопустимы.

[...] Бумажное царство победило и вашу мысль и ваше намерение в вопросах земельном и рабочем ... "Предписание" от 23 марта [1919] было помещено только в двух газетах, только 2-3 апреля. Еще более печали вызывает расхождение слов с действиями в том же аграрном вопросе. С одной стороны, "Предписание", полное благожелательности и государственного смысла, с другой — приказ № 41 от 21 марта с неосторожным требованием "о выдворении из беспризорных владений самовольных захватчиков мерами Государственной Стражи", с предписанием Управляющему Вн(утренних) Дел давать общие указания по учету и заведыванию беспризорными именными. Это меры в духе гетманского восстановления прав на землю, в духе тех господ, которые

*Из Бахметьевского Архива Колумбийского ун-та. Печатается с сокращениями.

Н.И. Астров — видный член левого крыла кадетской партии, бывш. Московский городской голова. Публикация отражает личное настроение автора, не претендуя на исчерпывающую и всегда исторически верную картину описываемых им событий.

понаехали к вам из Киева и Одессы, засели в ваших канцеляриях и обращают их в склад ветоши. Эти господа требуют от вас только силы и мало интересуются вашими государственными планами и идеями. Эти последние скорее чужды и враждебны им. Отсюда саботирование того, что им не по вкусу, и злобный шепот, что вы не понимаете государственных задач и губите дело. Отсюда убийственная для вашего дела *реставрация* старых имен, старых форм и методов управления. Отсюда порождение того облика, который принимают все больше и больше армия и органы вашего управления, облика злой и мстительной реакции. Отсюда образование осиных гнезд старых чиновников, скалящих зубы на все, что разрушает их царство. Та же психология присуща бесчинствующим озорникам на местах, седым и безусым "диктаторам", которые стремятся управлять только силой и насаждают своеобразный правовой порядок, о судьбе которого не приходится допрашивать кудесников и прорицателей. Эта судьба известна. *Это судьба Вандеи*. С такими методами управления нам не придется "угощать вас чаем в Москве". Этот чай либо выпьют другие, либо его никто не будет пить, ибо и этим другим без вашей помощи с Юга не разрешить непосильной задачи восстановления рухнувшего государства. Ваши статские и тайные советники очень плохи. Даже военное управление никуда не годно. Это нужно признать и из признания сделать надлежащие выводы. Особое Совещание на Екатерининской улице — бумажное царство и торжество мертвой формы над жизнью. Добросовестное усердное старание сделать все лучше и бессильное неумение найти пути к этому лучшему. Пути потеряны, ибо исходные положения неверны и ошибочны. Исходное положение — *сила, долженствующая восстановить порядок*. А силы нет. Да и механическая сила могла бы восстановить только тот порядок, от которого только что развалилось государство.

[...] Это Особое Совещание невероятно быстро обратилось в плохое бюрократическое учреждение старого типа. В нем каждый старается перешеголять соседа в вернопреданности стародавним идеям. Это Совещание не имеет ни программы, ни плана, ни ясно поставленных целей. Это какое-то фактическое состояние, бесформенный аппарат, который вместо движения вперед топчется на месте. Это фабрика постановлений, которых половина никому не нужна и ничего не создает. Это Совещание должно быть в корне преобразовано, а пока ему должны быть даны указания и директивы. Неприемлющие их пускай уходят прочь. Загружение Совещания под видом специалистов новыми старыми

камнями вредно. Пусть будут огорченные и разочарованные. Они плачут, пожалуются и все же поплетутся за вами. Это будет естественнее, чем современное положение, когда они хотят заставить вас идти за собой [...]

Чтобы проверить, чего стоят ваши сотрудники, было бы полезно предложить каждому Начальнику Управления в кратчайший срок представить программу мер и план действий, который каждый считал бы необходимым осуществить по своему ведомству. Сделать этот опыт нужно было бы немедленно. Он помог бы вам освободиться от "каменей" [...]

Решительно настаиваю на разделении власти военной от гражданской. Военные генералы очень хороши на своем месте. Но военные генералы, обращенные в чиновников и управителей, да еще в условиях гражданской войны, как показал опыт с Глазенапом, Кутеповым, Ляховым и многими другими, решительно недопустимы. В положении о гражданском управлении должна быть сделана поправка, допускающая назначение на должность Главного начальствующих и гражданских лиц. Для внутренних губерний это станет насущной необходимостью [...]

В качестве мер экстренных необходимо было бы широкое оповещение населения о предании суду нескольких озорников и бесчинников из числа местных диктаторов и из "деятелей контрразведок". Необходимо несколько образцовых приговоров. Дело о каком-то озорнике, выпоровшем гласных Ставропольской Городской думы, до сих пор тянется еще в следственном производстве. Грабители, взяточники еще остаются у власти. Нужно было бы расскисировать зараженные учреждения. Нужна непрерывно действующая сенаторская ревизия. Дело о помощнике Ляхова, явном негодяе, тянется до сих пор. Остановить эту вакханалию *собственного большевизма* возможно, только требуя новых нравов от подчиненных и исполнителей, указав ясно, чего от них требуют.

Не все благополучно и на фронте. Люди там действуют по собственному произволу и усмотрению по отношению к населению, к перебежчикам-пленным.

[...] Оставить дело так, как оно есть, нельзя. Вашу армию должны любить, верить в нее, помогать ей, а не страшиться ее и... ненавидеть. Между тем процессы, враждебные армии, растут, и окружающее ее недовольство создает то самое пассивное сопротивление, которое хуже открытого нападения [...]

ИЗ ДОКУМЕНТА "НЕСКОЛЬКО СПРАВОК В СВЯЗИ
С ВОПРОСОМ О ТАК НАЗЫВАЕМОМ НОВОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ"

поданного А.И. Деникину в 1920 г.

[...] Письмо это было предварительно прочитано И.П. Романовскому, мнение которого я хотел знать, прежде чем отправлять его Вам. Ив[ан] Пав[лович] внимательно выслушал письмо и сказал, что письмо очень огорчило бы вас, если бы было передано вам. Советовал письма не посылать и обещал передать вам подробно содержание письма и устроить свидание с вами, во время которого можно было бы все изложить на словах. Через день-два свидание [Н.И. Астрова с А.И. Деникиным] состоялось. Ив[ан] Павл[ович] исполнил данное обещание и действительно с полной подробностью передал Вам содержание письма. Вы говорили, что письмо было рассказано даже с жестами и мимикой.

Содержание этого письма послужило темой нашей продолжительной ночной беседы. Впечатление разговора таково: письмо не исчерпывает всех пороков и темных сторон, их много, на них глаза не закрыты. Их знают, с ними борются. Но условия, в которых находится армия, чрезвычайно затрудняют решительную борьбу с ними. Что делать, когда для одних всякая война, а гражданская в особенности, является исторически освященным своеобразным "хозяйственным предприятием", когда по "примерному приговору" за грабеж нужно было бы повесить одного из популярных генералов, когда слухи о хищениях в интендантстве не получают подтверждения. Успех военных действий должен исправить многое из указанных недостатков. С пороками ведется и будет вестись неустанная борьба. Реакция и черносотенство не будут допущены. Попыткам реставрации будут положены пределы. Всякие либеральные демократические мероприятия, предлагаемые со стороны либеральных групп, будут поддержаны Главнокомандующим.

Впоследствии Управляющим Отделами было предложено представить программы по их ведомствам. Оценка этих произведений оказалась чрезвычайно низкой. Предложение об обращении к армии и населению, на чем я настаивал тогда, с изображением целей и задач движения, а также краткой программой мер по установлению порядка в стране, было отвергнуто. Между тем, через несколько дней, по настоянию Киза, декларация была обнародована. Далее наступили события, отвлекшие внимание от нашего внутреннего положения. Все внимание

обращено было на фронт. Военные действия приобрели исключительную сложность и значение. Последующие успехи и движение армии вперед, к Москве, изменили настроение всех. Даже скептики и пессимисты стали верить в успех, стали опасаться повредить успешно развивающемуся делу, стали внушать себе мысль, что успех исцелит недуги, исправит пороки, вернет доблесть. Скорее бы достигнуть желанной Москвы... Там начнется настоящая "созидательная работа", которая по бесконечному количеству причин не налаживалась здесь, на Юге. Так мы начинали думать, а события разворачивались все шире. Акт признания Колчака ставил Главнокомандующего [Добровольческой] Армии на недостижимую высоту. В нем охотно и с удовлетворением мы начинали видеть черты слагавшейся диктатуры, которую мы так давно хотели видеть и провозглашать. Военный успех, нравственная высота вождя давали надежду на то, что наступит то *признание, которое сделает диктатуру национальной*.

С такими настроениями наша делегация уехала в Париж и Лондон. Там наши выступления (и, в частности, мои) были основаны именно на этих положениях: на Юге слагается *национальная диктатура*, получающая признание населения. Нас слушали. Одни верили, другие заставляли себя верить, третьи допрашивали и старались убедиться, четвертые сомневались и помалкивали, а иные решительно заявляли: "ни Ленин, ни Колчак, а демократия". Наконец, были такие, которые произносили проклятия, злобно предрекали скорое крушение "национальной диктатуры".

Сведения о заграничной поездке были изложены в моем большом письме на Ваше имя из Парижа и в докладе Особому Совещанию, который был сделан по возвращении в Россию, в конце августа.

Почти следом по возвращении из-за границы из Ваших контрразведок стали доходить сначала неясные, а вскоре более определенные сведения о Московской катастрофе.

А приглядываясь к тому, что представляла собой действительность Юга России, выслушивая постоянные недоуменные вопросы со стороны разных лиц, стекавшихся в Ростов: "Что же это делается?", выслушивая со всех сторон однородные жалобы на бесчинства, творимые армией, государственной стражей, комендантами, контрразведками и всеми органами власти, выслушивая полные отчаяния жалобы на действия высших военных начальников, расправлявшихся с населением, дискредитировавших диктатуру и подготовлявших провал, я с великим

огорчением сознавал, что в Париже и в Лондоне я говорил не о том, что было в действительности, а о том, что я хотел, чтобы было.

Много тревожных разговоров было по этому поводу с И.П. Романовским. Много, бесконечно много фактов сообщали ему Федотов и я. Еще больше фактов того же порядка знал он сам. Он не терял надежды, что дело может еще выправиться. Мы предлагали меры, но сами видели, что они паллиативны, что-то случилось уже бесповоротное, непоправимое. В наших групповых совещаниях мои мрачные настроения не находили разрешения. Выхода никто не указывал, и охотно переходили к текущим делам, при упоминании, что "генералы не сомневаются в возможности успеха, а успех все изменит и исправит".

ИЗ ЗАПИСЕЙ, СДЕЛАННЫХ ДЛЯ А.И. ДЕНИКИНА И КАСАЮЩИХСЯ ДОКЛАДА О СОСТОЯНИИ ТЫЛА БЕЛОЙ АРМИИ

16 октября 1919 г. в заседании под вашим председательством мною был поднят вопрос о состоянии тыла и о движении разбойничьих банд в тылу наступающей армии. Вами было поручено сосредоточить в моих руках все материалы, касающиеся движения Махно, и по состоянию тыла. Доклад по этому вопросу должен был быть внесен в Особое Совещание, но за поздним временем не был заслушан. Доклад был оглашен Особому Совещанию 6 ноября.

Доклад начинался с указания на то, как много сил и влияний заинтересовано в неуспехе движения Добр[овольческой] Армии: "С продвижением вперед Д[обровольческой] Армии рушатся все планы, расчеты [наших врагов], погибает уже достигнутое [ими]. Интересы многих, очень многих оказались затронуты самым болезненным образом. Большевики, немцы, всякого толка самостийники, почти все социалистические партии, наконец, может быть, некоторые еще недостаточно уверенные в себе новые государственные образования, все это оказалось озабоченным. Если на фронте наши враги стали терпеть неудачу — нужно было расстроить наш тыл и тем самым подорвать фронт".

В докладе сообщались сведения о приводимом в исполнение плане большевиков по расстройству тыла армии. Из большевистского центра предписывалось, чтобы коммунисты и комиссары не уходили из мест, занимаемых Добр[овольческой] Армией, а переходили на нелегальное

положение и проникали в учреждения, соприкасающиеся с населением, в целях дискредитирования органов власти. На фронте и в тылу армии Деникина, говорилось в этих предписаниях, должны быть организуемы партизанские отряды, которые на местах должны найти и силы и средства. Успех этой организации, по словам Троцкого, обеспечен, "за успех он ручается!".

Наряду с этим руководители советской власти в Москве и Петрограде так оценивали свое положение и положение сил, борющихся с ними: "Деникин, продвигаясь вперед, увеличивает свой тыл, в котором ему придется распылить свою армию. С каждым новым шагом на север уменьшается безопасность его тыла и [за его] спиной растут отряды, активно выступающие против него, растет и число недовольных им, ибо декларация его остается обещанием на бумаге... Чем больше занятая Добр[овольческой] Армией территория, тем большая опасность назревает в тылу, и устранить эту опасность они не могут, потому что у них нет практических политиков на местах, потому что у них не выработаны меры воздействия на психологию масс, потому что кроме проблематического порядка, от которого населению становится невтерпёж, они ничего не могут дать народу, ничем не могут привлечь его расположения. Их огромные, несомненные успехи на фронте будут аннулированы политической слабостью, их подлостью, их разложением, корыстолюбием, карьеризмом, кружковщиной, отсутствием дисциплинированного политического аппарата, который связал бы во единое целое все элементы, на которые опирается Добр[овольческая] Армия. Вся сила только в крестьянстве и пролетариате. Кто сумеет с этими силами сговориться, удовлетворить, не хитря, хотя бы их элементарные нужды, тот завоеует доверие широких кругов населения, тот будет управлять Россией. [А они] не думают об этом, не стремятся к этому и не умеют этого".

Далее в докладе давалась общая характеристика движения, указывалось на его начало, его район, приводились справки из "Протоколов заседаний Съезда фронтовиков, советов и подотделов" от 12 февраля 1919 г. в селе Гуляй Поле, сообщались сведения о движении Махно, о Петлюровском движении в тылу армии, об участии в движении левых партий, наконец, определялось значение этого движения, как явления, способного погубить все дело Добр[овольческой] Армии.

Заключительная часть доклада выражала следующие положения: "Банды Махно отогнаны за Днепр. Гуляй Поле, резиденция Махно,

сравнена с землей, города освобождены от разбойников. Но едва ли можно сказать, что движение подавлено, что устранены причины, его вызвавшие и что армии уже ничто не угрожает в ее тылу, что найдена общая почва для установления нормальных отношений между армией, новым правительством и населением в целом, что установилось взаимное понимание между новой властью и населением, что для последнего стали близки, понятны и дороги те идеи, которые несет на своем знамени армия и которым служит новая власть. Между тем, пока это взаимное понимание не наступит, подвиг армии, ее вождя и новой власти будет безмерно отягчаться и может стать безрезультатным [...].

В современных взаимоотношениях между властью и населением существовало и продолжает существовать вековое недоразумение. Стало раздражающим общим местом, что армию встречают с колокольным звоном, с образами, путь ее усыпают цветами, видя в ней носительницу избавления и созидательницу новой жизни на началах права и справедливости, а через несколько дней ее сторонятся, бегут от нее, не узнавая в ней своих надежд и чаяний. За насилиями, испытываемыми на местах, не видят в ней *силы*, которая способна была бы оградить от насилий, чинимых большевиками. На смену одного насилия является другое. В действиях органов власти на местах не видят и не узнают тех обещаний, которые благою вестью исходили от вождя армии. Все это создает уверенность, что это еще *не настоящая власть*, а значит, можно ей не подчиняться, что еще продолжается период безвластия, что новой власти нужно оказывать сопротивление и бороться с ней теми же методами, которыми боролись со всеми другими "властями", что нужно искать от нее защиты у кого-то другого. И вот опять народ начинает прислушиваться к обманной агитации. Задача агитаторов облегчена. Им уже не приходится лгать, говоря о недостатках новой власти. Безудержное ограбление сельского населения войсковыми частями, неприкрытая спекуляция, продажность и явные преступления контрразведок, куда загнездились большевики, все это заставляет население, на которое армия должна была бы опираться, говорить: "Нет, это не та власть, которая может спасти страну, возродить Россию, ибо так было при гетмане и всяких других, сменившихся уже властях, *ибо власть настоящая проявляет себя в силе, а не в насилии*".

Далее в схематическом виде перечислялись "причины расстройств" по данным обширных материалов, переданных мне Ведомствами.

Сюда относились: 1. Экспессы военных властей, бесплатные реквизи-

зиции, явный грабеж; 2. Карательные экспедиции, поражающие мирное население; 3. Чрезвычайное запаздывание появления гражданских властей в местностях, освобожденных от большевиков. Госуд[арственная] Стража, весьма нередко появляющаяся в лице старых проворовавшихся полицейских или лиц, служивших у большевиков; 4. В контрразведках служат большевики; лица, заслуживающие казни, к великому соблазну населения разгуливают на свободе, откупаются за взятки и т.д.; 5. Бездарность и трусость представителей власти, бегство из городов, оставление населения на произвол судьбы; 6. Шедшие за армией помещики при помощи войсковых частей водворяются в имения и тем самым поселяют убеждения, что Д[обровольческая] Армия восстанавливает старые порядки и старые земельные отношения; 7. Еврейские погромы больше разрушают армию, губят дисциплину. За еврейскими погромами следует всеобщий грабеж и расстройство экономического аппарата данной местности”.

Доклад закончивается выводами: 1. Власть должна понять и знать, что хочет население и стать ему понятной. 2. Власть должна быть сильной, авторитетной, только тогда ей поверит население. 3. Власть должна быть честной и справедливой, только тогда она привлечет к себе население, только такую власть признает население, и поддержать ее у него явится воля.

“Органы власти не знают своих задач, не имеют в своих действиях руководящих начал. Каждый администратор, большой и маленький, каждый начальник контрразведки имеет свое понимание задач, свое разумение и оценку политического курса. Один считает, что месть и кара есть разрешение всей сложности политического момента. Другой находит, что именно теперь, при помощи власти, нужно вознаградить себя за потерянное. Развращенные мальчики находят, что власть недостаточно сильна в центре и что нужно показать, *как нужно управлять*. Питанием для этих местных диктаторов служат истерические и полные ненависти выходки газеты Пуришкевича “В Москву”, нередко возбуждающие статьи “Великой России”. В результате — полное несоответствие идей и лозунгов Д[обровольческой] Армии с образом действий органов власти и полное непонимание населения — чего же хочет освободительное движение Армии — реставрации или создания какой-то новой, неведомой жизни. Между тем в деревне и в городах кроме бунтарского населения есть коренное спокойное население, которое хочет порядка. Эта часть сельскохозяйственного населения ждет ответа на

свои ожидания земли. Эта часть населения, которая должна была бы быть с Армией, теряет надежду на то, что землю эту получит из рук новой власти. Она убеждается, что Д[обровольческая] Армия защищает интересы помещиков и что от нее ждать нечего. Если не поздно, нужно немедленно менять курс”.

Доклад ограничивался констатированием ряда положений, изображающих состояние тыла армии и не касался программы мер, которые должны были определить новый политический курс.

Помню ваши слова по окончании моего сообщения: ”После этого мне остается пустить себе пулю в лоб! Но мы еще по[ме]римся. Бороться со всеобщей разрухой придется лет пять”.

Криминальные материалы, на которые указывалось в докладе, предложено было передать в соответствующие Ведомства. В прениях выяснилась необходимость конкретизирования выводов и определения линии политического курса.

Лукомский передал мне через стол записку, которая у меня сохранилась. Записка гласила: ”Нельзя ли тогда попросить Вас, Никан. Вас. Савича и Кон. Ник. Соколова совместно подготовить программу только того, о чем надо говорить, составить кратко рельефную записку. Г[енерал] Лукомский, 6/IX”.

Привожу сохранившийся у меня текст записки, которую П.И. Новгородцев передал мне, когда я составлял доклад о расстройстве тыла. Записка эта характерна и показательна, как свидетельство о том, как расходились в то время воззрения на основные вопросы даже среди лиц, принадлежавших к одной же партии. П.И. рекомендовал мне положить в основу моего доклада нижеследующие положения:

1. По мере продвижения к Москве расстройство тыла увеличивается и зависит от двух причин:

а) площадь тыла быстро возрастает

б) агитация, направленная к разрушению тыла со стороны немцев, большевиков, самостийников и прочих врагов русского государства усиливается до высшей степени напряжения.

2. Никакая демократическая декларация и реформы со стороны главного командования Д[обровольческой] Армии не могут ослабить силы этой агитации, ибо эта агитация всегда найдет себе поводы, пока власть не стоит всюду твердой ногой.

3. Причина особого нарастания повстанчества в Киевской и Пол-

тавской губерн[иях] заключается в том, что здесь всего сильнее ведется агитация, имеющая хорошо разветвленный и организованный еще с прошлого года аппарат, поддерживаемый на иностранные деньги.

4. Единственная радикальная и решительная мера к устройству тыла, [это] скорейшее продвижение на север и занятие Москвы. Когда падет главная твердыня большевизма, это послужит сигналом к его падению по всей России. Только окончательно выздоровевший Север спасет и обезвредит Юг, не изживший до конца большевизм.

Только накопление силы и утверждение власти, крепкой и суровой, есть единственное средство создать настроение повиновения, покорности и порядка.

5. Мысль о том, что сначала нужно устроить тыл, а потом идти к Москве, пагубна и опасна, ибо главное средство для устроения тыла есть завладение Москвой.

6. Надо ясно представлять себе *неизбежность прогрессирующего неустройства тыла* и, конечно, не отказываться от противодействия этому неустройству в небольших доступных пределах, мужественно и бестрепетно продолжать начатое дело продвижения вперед и укрепления власти.

7. В Сибири тыл более расстроен, чем здесь, хотя все демократические реформы обещаны. Здесь тыл расстроен меньше, чем в Сибири, потому что в управлении участвует большое количество лиц, способных проявлять власть и понимающих существо власти.

Я не мог принять совета П.И. Новгородцева при составлении доклада, так как исходил из иного взгляда на происходившую трагедию. Я видел причину "неустройства тыла армии" в глубоком расхождении между новой властью и населением. Он же требовал создания настроения повиновения, покорности и порядка путем накопления силы и утверждения власти крепкой и суровой. Я исходил из положения, что без поддержки населения нельзя одолеть большевизм. Он возлагал надежду на силу и принуждение. Нужно заметить, что я вовсе не рекомендовал остановить поход на Москву, но неоднократно высказывал мнение, что в таком состоянии армии и тыла, управления и понимания задач, мы до Москвы не дойдем, а если и дойдем, то через две недели будем выброшены оттуда...

Дело было, конечно, не в "декларациях и обещании реформ", а в коренном изменении всего духа, всего отношения к населению и к тому сос-

тоянию, в котором находилась страна. Можно ли было это сделать тогда, в тех условиях? Кто знал к тому пути и средства? Много раз возвращаясь мыслью назад, к тому времени, вызывая в памяти те настроения, которые владели тогда людьми, я приходил к убеждению, что в то время, в тех условиях пересоздать психологию участвовавших в движении было невозможно. Нужно признать, что никто, и в том числе и я, и небольшая группа моих друзей, не умел предложить ничего, разрешающего роковые и губительные противоречия между святыми намерениями и греховными действиями. Я мог только перечислить грехи и преступления, мог только констатировать, что на насилии власть не создается. Всякое же указание на подход к этим таинственным народным массам, которые в процессе революции пришли в движение, на вовлечение их в борьбу на стороне Д[обровольческой] Армии, вызывало у одних скептические улыбки, у других злобные огоньки в глазах. "Накопление силы и утверждение власти крепкой и суровой есть единственное средство создать настроение повиновения, покорности и порядка" — вот на чем непоколебимо стояло большинство, почти все, высказывавшие свои мнения в официальных органах управления при Главном Командовании Д[обровольческой] Армии.

Мы, конечно, не оспаривали совершенной необходимости образования [сил]ной железной власти. Но пути к накоплению этой железной силы видели в разных направлениях. Оценке большевиков, которую последние давали поведению Д[обровольческой] Армии, предрекая ее крушение, придавали мало значения — настолько велика была общая безраздельная ненависть к ним и полное их отрицание. В общем, все упрощалось и сводилось к опасным обобщениям. За этими упрощениями и обобщениями исчезала сложность явлений и непримиримые противоречия, которые не поддавались ни одной "крепкой и суровой силе", даже если бы сила могла возникнуть среди хаоса, разложения, расслоения, анархии в стране революционной стихии. В таких условиях трудно было составить программу того, "о чем надо говорить", в форме "краткой, но рельефной записки", о чем просил генерал Лукомский.

К названным в записке Лукомского лицам я просил присоединить еще Челищева*. На мой вопрос, обращенный к Савичу и Соколову, как

* Виктор Николаевич Челишев (1880-1952), член Особого Совещания, глава отдела юстиции.

мы исполним возложенное на нас поручение, мне предложили составить проект краткой программы, которую мы могли бы обсудить вместе. Никаких директив дано не было ни Особым Совещанием, ни моими товарищами по составлению программы. Естественно поэтому, что в основу записки был положен мой доклад от 6 ноября. В результате получилось две записки, одна краткая, рассмотренная впоследствии в Совещании под председательством Главнокомандующего в Таганроге, и более пространная, содержащая мотивировку положений и их развитие.

Мои сотоварищи по составлению документа, Савич и Соколов (Челищев в то время был тяжело болен) не проявили особого интереса к данному поручению и к моей записке, сознавая, вероятно, что в этом вопросе мы не сумеем договориться. Как бы то ни было, но вопрос, получивший название "О новом политическом курсе", так и не был поставлен на рассмотрение Ос [обого] Совещания. Свою краткую записку я передал Председателю Ос [обого] Совещания ген [ералу] Лукомскому и заявил, что готов сделать свой доклад по этому вопросу в любое время. Но Ос [обое] Совещание оказалось перегружено текущей работой и так и не удалось приступить к рассмотрению моей записки.

Только получив приглашение явиться в Таганрог к Главнокомандующему, мы, Савич, Соколов и я накануне поездки собрались в комнате Савича в Большой Московской гостинице и обменялись мнениями по основным вопросам о новом политическом курсе.

Я прочел свою краткую записку, составленную в виде кратких тезисов, и пояснил свою основную мысль: не нужно брать курса ни вправо, ни влево, нужно решительными действиями очистить среднюю линию, которой до сих пор держался Главнокомандующий; нужно уяснить для всех задачи, поставить ясные цели и *заставить* весь аппарат власти — центральный и на местах — военный и гражданский, точно исполнять поставленные им задачи. Задача власти центральной и местной — забота о населении, искание связи с ним и расширение социальной базы движения.

Мои собеседники не возражали против записки, но каждый из них имел свой подход к вопросу и свою руководящую идею. Решено было записку доложить Главнокомандующему так, как она есть, и положить ее в основу суждений по вопросу о "новом курсе", предоставив каждому свободу выражения мнения.

26 ноября (по Соколову, 2 декабря, однако, все мои записи помече-

ны именно 20 ноября), по вызову ген. Деникина мы собрались в его не-большом кабинете в Таганроге. Совещание было немногочисленным. Присутствовали ген. Деникин, ген. Романовский, Савич, Соколов и я.

У меня не сохранилось подробной записи об этом совещании. Сохранилось лишь несколько карандашных заметок на экземпляре моей записки, бывшей у меня в руках, а, вернувшись в Ростов, я записал главное впечатление от совещания. По этим заметкам восстанавливаю его.

Была оглашена моя записка и даны к ней пояснения. Новый курс должен ответить на вопрос: с населением или против него. Вести борьбу с большевиками без населения нельзя. Нужно было бы преобразовать О[б]щее Совещание, создать новое Правительство и возглавить его лицом, которое само сочувствовало бы этому курсу и не было бы ему антагонистично, как это имеет место теперь в лице почти всех генералов и правой части О[б]щего Совещания.

Савич, оговорившись, что предвидение ему не принадлежит, говорил, что он знает, что большевизм не может быть побежден военной силой. Нужен психологический сдвиг. У большевиков уже существует большая военная сила. Офицерство начинает служить им не за страх, а за совесть. Нужно создать стремление кончить борьбу миром. Как создать искру, которая могла бы зажечь это стремление, как указать, что революция кончена. Нас не признают за русскую национальную власть. Мы армия офицерская, кадетская... По отношению к нам существует некоторая опасливость. Население жаждет спасения извне, ждет появления героя, *чуда*. Нужно возглавление движения лицом, отвечающим верованиям крестьянства и офицерства, с именем которого не может быть связана идея классовой мести. Тогда вернется мистическая вера, объединяющая идея "хозяина", равнозначущая идее "порядка". Тогда войска будут удержаны от грабежей, тогда начнется оживление хозяйственной жизни. Тогда возможно будет обращение к Красной армии с призывом прекратить братоубийственную борьбу... (Это обрывки речи Савича, развивавшего свою обычную идею о необходимости возглавления движения великим князем Н[иколаем] Н[иколаевичем]. Те же мысли он ярко развивал и на Ясском Совещании. Думаю, что содержание его основной мысли в этих записанных мною обрывках передано в общем правильно).

Соколов говорил об отсутствии инстинкта власти, о волевых людях, которые имеются в правых кругах и которых нет среди прогрес-

сивных элементов русского общества. Проводил идею, которая впоследствии так охотно была подхвачена правыми кругами: "левая политика правыми руками". Он находил, что провозглашение в[еликого] к[нязя] Ник[олая] Ник[олаевича] не значит предрешать монархию. "Я по вкусу республиканец, — заявлял Соколов, — а не "России монархист".

Романовский находил идею Соколова об опоре на консервативные элементы власти, держащейся либерального курса, не лишенной основания, но сомневался в наличии таких консервативных элементов.

Ваши [Деникина] слова записаны у меня так:

"Общее положение очень тяжелое, почти безнадежное. В Мечетке было хуже. Тогда против кучки Добр[овольческой] Армии была армия в 150.000 человек. Мы, может быть, потеряем Харьков, может быть, будет отдан Киев, но мы не в безвыходном положении.

Причины неуспеха: 1. Скверное управление (Программы, представленные министрами, были сплошь вздор). 2. Стимул борьбы уже не стал чисто политическим. Теперь стимул низменного порядка. Некоторые начальники поощряли и развили грабеж.

Я знаю, что исполняю черную работу. Знаю, что сломаю себе шею и заслужу только проклятия. Но эту черную работу кто-то должен исполнять.

Предложение Савича сводится к признанию Ник[олая] Ник[олаевича]. На выкинутый этот флаг Север не отзовется. Получится обратный эффект. Меня в этом всем всегда очень угнетает личная сторона дела. В Совдепии это было бы использовано во вред нашему делу. То же и за границей.

Вся постройка вправо. Правый курс дал бы больше твердости, но был бы гибелью дела. Мой курс не проверен. В лице исполнителей он извращался и встречал саботаж, явный и тайный."

Наше совещание ничем определенным не кончилось. Нужно было коренным образом изменить положение вещей, и в то же время оказывалось, что менять курс нельзя ни вправо, ни влево. К тому же, время было упущено. Стихия революции продолжала еще бушевать в стране, разлагая все то небольшое, что организовано выступало на борьбу с эксцессами этой стихии. Мы были побеждаемы, сила наша разлагалась не большевиками, а еще не изжитой силой революционной стихии. К тому же, у нас не было людей, которые революционному разложению и распаду могли бы противопоставить понятную всем организующую силу.

Казалось бы, что могло быть естественнее, чем назвать и призвать нашего лидера, пребывавшего в бездействии за границей и предложить его, как лицо, могущее взять на себя составление правительства и политическую ответственность. Но Милюков всем образом своих действий того времени отрезал себе пути на Юг России и лишил нас возможности видеть его во главе лиц, непосредственно содействовавших делу Д[обровольческой] Армии. Он вел в то время в Англии работу в пользу Д[обровольческой] Армии, но появление его на Юге России было невозможно. Так нам неоднократно говорили ответственные руководители движения. Они говорили нам: пускай Милюков едет в Америку и там вызовет нам помощь. После этого ему будет возможно вернуться в Россию и принять участие в политической жизни страны.

Нельзя было назвать никого из членов ЦК партии [кадетов], бывших на Юге, ибо среди кадетов утрачено было единство взглядов и понимание происходившего. Часть кадетов решительно тянула вправо. Другая, меньшая часть, держалась демократических позиций. Но утрата единства парализовала действие, а весь ход событий на Юге и участие кадетов в этих событиях повлекли за собой ослабление, а иногда и потерю связей с группировками левее кадетов. Мы оказались в положении не центра, а оппозиции к правому большинству, составлявшему окружение Д[обровольческой] Армии. Из Москвы нам писали, что к нам никто не поедет, ибо главное дело делается не на Юге. [...]

Среди военных наиболее близким вам по духу и по пониманию задач военных и политических был И.П. Романовский. И для нас этот генерал был в полной мере приемлем. В разговоре с ним я неоднократно высказывал мнение, что если необходимо, чтобы председателем О[бщего] Сопровождающего Совещания был военный, то этим председателем должен быть он, а не Драгомиров и не Лукомский. Романовский всегда оспаривал эту мысль. 26 ноября я назвал имя Романовского, как председателя нового правительства, долженствующего осуществить "новый курс". Он замахал руками, как бы защищаясь от надвигавшейся на него беды. Я не настаивал, ибо видел сам неосуществимость своего предложения. Романовский был непопулярен в армии. В совершенном несоответствии с его качествами, дарованиями, действиями и ролью в Д[обровольческой] Армии, про него было пущено крылатое словечко, стоявшее ему в конечном счете жизни. Это словечко, полное смертельного яда, называло ген. Романовского "злым гением Деникина и Добровольческой Армии". Клевета была пущена. В упрощенном состоянии восприятий

того времени этого было совершенно достаточно для самосудного приговора. В результате — предательский выстрел подлеца и труса, который до сих пор укрывает свое постыдное имя¹.

В результате нашего совещания была сделана попытка определения твердого курса власти. 14 декабря Главнокомандующий объявил Особому Совещанию "Наказ", формулировавший задачи власти. Это была попытка уяснения для органов власти и для населения политической линии Главнокомандующего. Указание моей записки о необходимости вести дело Армии с населением нашло отражение в "Наказе" в краткой формуле: "единение с народом".

Но документ уже отстал от событий и жизни. Наказ не произвел ни на кого впечатления.

* * *

15 декабря у меня на квартире происходило совещание членов Особого Совещания. Были — М.В. Бернацкий, В.А. Степанов, В.Н. Челищев, В. Юрченко и М.М. Федотов. Мы пришли к заключению, что общая тревога на фронте и в тылу требует немедленных, решительных и ярких действий. Мы все признавали необходимым, не дожидаясь окончания не в меру затянувшихся работ Южно-Русской Конференции, теперь же распустить Особое Совещание и образовать Правительство, которое было бы объединено общим пониманием поставленных ему задач и способно к энергичным и решительным действиям. Правительство это, по условиям времени, должно было бы представлять собой нечто вроде "походного управления" и возглавлено лицом, наиболее близким вам по духу и воззрениям. До образования Высшего Совета подготовительная работа по законодательству должна быть сосредоточена в Совещании по законодательным предположениям. Этим достигалось бы отделение исполнительной власти от законодательной, и Правительство освобождалось бы от нагрузки по законодательной работе.

К этому решению мы подходили, исходя из мысли, что непопулярное Особое Совещание должно принять на себя ответственность за

¹ И.П. Романовский был убит поручиком М.А. Харузиным 5 апреля 1920 г. в Константинополе.

вольные и невольные ошибки, за сознательные и бессознательные грехи, допущенные за все протекшее время борьбы.

Договорившись на этом, мы тотчас же изложили свои мысли в письме к вам, которое на следующее утро, 16 декабря, было вручено вам А.И. Фениным, который также присоединился ко всему, что было изложено в письме.

В письме, между прочим, указывалось на те мотивы, которые могли быть указаны в акте о роспуске Ос[обого] Совещания. Новому правительству должны быть поставлены задачи сосредоточить всю энергию на помощи и содействии армии, на ее снабжении, содержании, заботах о раненых, на обеспечении семейств борющихся. Помощь армии нужна быстрая и полная для скорейшего доведения до конца борьбы с большевиками за воссоздание России, за поруганную православленную веру, освобождение национального сознания русского народа от поработившего его большевизма и за скорейшее восстановление гражданского мира на началах права и справедливости. Новая власть устранил в своих действиях допущенные раньше ошибки, беспощадно карая нарушителей гражданского мира, грабителей и насильников, возьмет под защиту все население. Новой власти вменяется в обязанность привлечь население к установлению порядка и к поднятию производительности труда.

Ознакомившись с содержанием письма, Н.В. Савич вполне согласился с ним и выразил сожаление, что не был позван на совещание 15 декабря.

В журнале совещания членов ЦК партии кадетов от 15 декабря за No. 30 отмечено: "Одобрить попытку реформы Особого Совещания в направлении концентрации власти".

Приказом 17 декабря за No. 178 Особое Совещание было упразднено без указания мотивов этой меры. Смысл и значение предложенного нами шага исчезли. Особое Совещание бесславно покончило свои дни и даже своей гибелью не принесло пользы делу. Оно исчезло. А причины его исчезновения остались неизвестны.

Далее идет полоса недоразумений, взаимных непониманий, подозрений и укоров.

В последнем нашем заседании в Ростове, 23 декабря (уехали мы из Ростова 26 декабря), касаясь общего положения дел, я высказал мнение, что в современных условиях и обстановке нам придется отказаться от методов "великодержавной политики". На это вы резко ответили: "Я

этого сделать не могу и с этого пути не сойду!" А меня упрекнули в малодушии. Вы обвинили нас и меня, в частности, в том, что мы вам "подсунули" Кривошеина. Ив. П. Романовский говорил мне, что вы были обижены просьбой о назначении Кривошеина на пост управляющего отделом продовольствия. По его словам, вы негодовали на письмо Лукомского, в котором сказано было, что все просят о назначении Кривошеина и что к этой просьбе присоединился и я (разговор с Романовским в Тихорецкой).

По этому поводу я писал вам, что мы хотели истолковать назначение Лукомского председателем нового Правительства не как принятие политического курса (правого), а как образование "чисто технического делового правительства" для наилучшего разрешения невероятно сложных технических задач, выдвинутых временем и обстановкой. Политический момент отступал на задний план, стушевывался перед технической сложностью задач. Отсюда право выбора техников "по способностям". Кривошеин казался в вопросах намеченного для него Отдела вне конкурса. В убогой обстановке того времени политический момент исчезал. Трудно было представить себе более жалкую картину, чем та, которую представляло в то время "новое правительство" в Новороссийске. А так называемые министры были просто жалкими управляющими разоренного поместья. К тому же, политика делалась в Тихорецкой без всякого участия нового правительства. Именно к этому времени относится фраза А.В. Кривошеина, которую я не забуду никогда.

Как-то раз, во время разговора о наших расхождениях в земельном вопросе, он, сильно волнуясь, воскликнул: "Десять раз возьмите землю, только верните Россию!". Увы, в то время земля уже была взята, а Россия для нас безнадежно утрачивалась.

Как это горестное восклицание было непохоже на его же трагическую шутку в Екатеринодаре по тому же земельному вопросу, когда правые были уверены, что они сумеют использовать силу Д[обровольческой] Армии и добьются торжества "их государственного смысла". После рассуждений о том, как нужно разрешать земельный вопрос в условиях гражданской войны, Кривошеин говорил, что в этом вопросе нужно поступить так, как ответил Кутузов Александру I на вопрос последнего — может ли он победить Наполеона. На этот вопрос Кутузов ответил: "Победить не могу, а надуть постараюсь".

* * *

В Новороссийске и новое правительство и мы, бывшие члены Ос [обого] Совещания, а в то время члены бездействовавшего Совещания по законодательным положениям, чувствовали себя в ссылке и в опале. Это состояние до некоторой степени объединяло нас. Мы почти ежедневно собирались в нетопленной комнате управления ген. Лукомского. По своему составу это собрание напоминало покойное Ос [обое] Совещание. Только ряды его уже сильно поредели.

Среди опальных и ссыльных в Новороссийске оказалась одна фигура, около которой шепотом велись разговоры, сплеталась сложная интрига. Это был ген. Врангель.

Мы не были в курсе замыслов и планов этого господина. Знали, что он фрондирует, грубо пользуется неудачами и ошибками главного командования, ведет интригу как против последнего, так и, в особенности, против штаба Главнокомандующего, сосредотачивая около себя симпатии и надежды правых и реакционных кругов. Реставраторы и погромщики хорошо знали, что в лице Главнокомандующего и его Начальника Штаба они имеют идейных и духовных непримиримых врагов. Им нужен был свой герой, свой фетиш. Они без труда нашли его в ген. Врангеле. Мы знали в то же время, что Врангель пытался внушить убеждение, что весь стратегический план Главнокомандующего ошибочен и что он, Врангель, имеет другой, верный план, который, однако, не желают оценить по достоинству. Стараясь уяснить себе сущность распри, мы не могли усмотреть объективной правды в нападках Врангеля на Главнокомандующего и его штаб. Напротив того, в его нападках мы видели печальную картину, которая довершила общее горестное представление об общей разрухе, о падении нравов, об элементарном нарушении дисциплины и "добровольческого должностного подчинения". Даже и по тем временам это было довольно противное зрелище. Но для нас, штатских людей, уже не было неожиданностью, что распри и неумение договориться были свойством не одних гражданских лиц. Этот порок разъедал и разлагал и военную среду. *Недаром офицеры Генерального Штаба поделили Россию на Белую и Красную и вели в ней поединки...*

В то же время мы видели, что вы признаете и цените военные дарования Врангеля, давая ему ответственные поручения и задачи. Такие поручения давались ему уже после его непристойного июльского памфлета. Это заставило нас думать, что дело как-то улажено, на чем-то договорились. Хотя для нас было ясно, что в лице Врангеля мы имели интригующего генерала, разъедаемого честолюбием, тщеславием и...

делающего карьеру. Так казалось и небольшой группе моих друзей, с которыми мы были единомышленны.

Я никогда не видел раньше Врангеля, и никаких до него дел у меня не было. Моя первая встреча с ним состоялась в Новороссийске, в его салон-вагоне. Едва ли эта встреча была простой случайностью. Встреча состоялась при следующих обстоятельствах.

31 декабря в совещании у ген. Лукомского возник вопрос о необходимости выработки плана эвакуации Новороссийска на случай дальнейших неудач на фронте. Помнится, Челищев предложил поручить мне подготовить такой план. С этим предложением обратился ко мне и ген. Лукомский. Не считая себя вправе уклониться от какого бы то ни было поручения, я в тот же вечер собрал небольшое совещание для обсуждения поставленного вопроса. К моему глубокому удивлению оказалось, что с таким же предложением Лукомский уже обратился к Врангелю, который тоже обсуждает, как мне было сказано, те же вопросы, наметил соответствующую организацию и уже вступил в переговоры с англичанами. Нужно было немедленно выяснить недоразумение в переговорах с Врангелем. Таким образом состоялось наше свидание.

Вопрос об эвакуации был выяснен в несколько минут. Мне стало совершенно ясно, что мне здесь делать нечего. Дело уже налажено. Оставалось только непонятным, зачем Лукомский втягивал меня в это дело.

Между тем Врангель дал волю своему красноречию. Он говорил, что действует не по своей охоте, что занятие по эвакуации его мало интересует, что порученное укрепление района он предписал произвести инженерам и что поэтому ему приходится принимать только доклады, что он охотно исполнил бы всякое поручение Главнокомандующего, "готов даже стать простым командиром полка, если бы это не было опасной демагогией", что про него распускают нелепые слухи, будто он германофил и монархист. Затем он говорил довольно общо об образовании нового фронта от Черного до Балтийского моря, об объединенном фронте славянском...

Чем больше говорил Врангель, тем очевиднее становилось, что оставить его в вагоне, в тупике у Черного моря, значило бы осложнять и без того безмерно тяжелое положение дел. В этих условиях Врангель оказывался новым источником тыловой фронды и опасной интриги. Его необходимо было занять делом.

Возвращаясь к себе мимо грязных вагонов, я подумал: почему ген.

Деникин дразнит своих недоброжелателей, которых много, оставляя на виду у всех в бездействии человека, около которого сплетается так много слухов, интриг, ожиданий. Газетные интервью с Врангелем разносили его заявления о том, что "не его нежеланием работать на пользу дела, которому он себя всецело отдал, вызвано его пребывание не у дел".

* * *

В первых числах января 1920 г. происходило несколько частных собеседований бывших членов бывшего Ос[обого] Совещания, посвященных обсуждению общих вопросов, связанных с протекавшими событиями. Два таких совещания происходили в кабинете Кривошеина в помещении отдела продовольствия, которым он тогда заведывал. Припоминаю участников этих совещаний. Тут были [...]мович, Бернацкий, Кривошеин, Нератов, Степанов, Тихменев, кн. Трубецкой, Челищев, Федотов, Савич. Принимали участие также и Струве и, может быть, другие лица.

Главными вопросами, привлекавшими внимание в то время, были: 1) Необходимость пересмотра отношений с казачеством и создание более независимого положения для армии; 2) Необходимость образования собственного правительства, вне зависимости от казачества, перенесение центра действий на собственную территорию (Крым, Новороссия) и соглашение с казаками о совместных действиях в новом плане кампании, с новым распределением задач и с одним общим командованием. Ставился вопрос о независимых действиях в общерусском масштабе при участии сербов, болгар и Польши. Указывалось на необходимость призыва офицерства и образования сильного боевого ядра. Обращалось внимание на судьбу Новороссийска, который обращен в "ловушку".

Потоки беженцев направлялись в Новороссийск со всех сторон, выезд из Новороссийска был прегражден под страхом смертной казни. (Мера эта принята с целью удержать лиц, годных для военной службы.) Не прекращались разговоры и об обороне Крыма и о защите Новороссии. Указывалось, что план обороны Крыма, намеченный Слащевым, не удовлетворяет ген. Субботина. Сообщалось бесконечное количество фактов, свидетельствовавших о несостоятельности Шиллинга, который сам не верил в возможность успеха. На этом фоне с особой резкостью обнаруживалось несоответствие между общей трудностью положения, требующей напряжения всех сил и использования всех возможностей, с одной стороны, и бездействием Врангеля, с другой. При этом правыми

выкрикивалось, что Главнокомандующим было обещано дать Врангелю ответственное поручение. Для довершения неразберихи кто-то нашептывал, что назначению Врангеля на Юг будто бы противодействуют англичане.

В то время мы не знали, как далеко продвинуты были интриги этого господина. Тогда он принимал позу обиженного и невинно пострадавшего. О намерениях его, направленных против Главного Командования, мы узнали значительно позднее, когда мы были уже за границей и когда все уже было кончено. Только позднее сей генерал распространил свое непристойное письмо, адресованное на имя ген. Деникина, в котором не знаешь, чему больше удивляться — перешедшему ли всякие пределы истеризму, или.. неприкрытой наглости.

Повторяю, что в те дни, сидя в Новороссийске под ударами норд-оста, мне казалось ошибкой оставлять Врангеля в бездействии. Помимо время от времени развивавшейся бутады, казалось, необходимо было быстро сменить ослабевавших и терявших веру генералов и заменить их более решительными и предприимчивыми, не взирая на их отношение к ставке.

На совещании было признано необходимым обратиться к Главнокомандующему с письмом, в котором были бы поставлены и развиты все указанные выше вопросы. Было составлено два проекта письма. Одно — Н.В. Савичем, другое — мной. Савич в своем проекте пространно развивал идею о необходимости коренным образом перестроить отношения с казаками и выйти на свою собственную территорию. Подготовка этого перехода в Крым и Новороссию должна быть поручена "верующему в успех, энергичному и грамотному военачальнику", говорилось в проекте письма; ген. Шиллингу задача эта не по плечу... "общественная молва, особенно среди офицерства, настойчиво указывает на ген. Врангеля, как человека, имеющего достаточную энергию и пользующегося прочной репутацией в армии". Моя редакция была короче. Но вопросы были разнообразнее. Охвачена была вся обстановка, как она представлялась в то время с берега моря. Вопрос о казачестве ставился, но не в той резкой форме, как это делалось в записке Савича. Вопрос о Врангеле редактирован был в моем проекте следующим образом: "Мы считаем, что в эти критические минуты, когда на очереди стоят такие сложные задачи, должны быть использованы все силы и возможности. Не скроем, что странно видеть в бездействии Врангеля, который мог бы быть полезным и мог бы исполнить всякое ваше приказание".

Оба проекта не удовлетворили совещание. Признано было желательным личное обращение к Главнокомандующему и непосредственный обмен с ним мыслями по поводу отношений к казачеству и другим затронутым вопросам. Поручено было Савичу, Струве, Челищеву и мне отправиться к Главнокомандующему в Тихорецкую, где тогда помещалась ставка.

Свидание состоялось 9 января в поезде Главнокомандующего. Вот что записано у меня об этом свидании.

Главнокомандующий встретил нас полушутливым, полураздраженным тоном. Несколько раз повторял, что "общественные деятели в провинции, бросили его, забились в Новороссийск, паникуют и ничего не делают. Упрекал правительство, что оно ничего не делает в отношении к обезумевшим беженцам. Общественные организации ничего не принимают в отношении к Кубани. В Екатеринодаре среди казаков никакой работы не производится..."

Отвечая на наши вопросы и касаясь положения на фронте, ген. Деникин говорил: начали наносить удары непобедимым Буденному и Дыбенке. "В течение одной недели я мог бы покончить с большевиками на Юге, но духа нет у армии, а казачьи политики продолжают свою разрушительную работу".

На казачьем Верховном Кругу [Деникин] выступать не собирается. Не хочет легализовать этот Круг, на котором донцы выбраны незаконно и самочинно. К тому же его выступление может быть встречено недоброжелательными и оскорбительными криками. Тогда пришлось бы разгонять собрание.

По отношению к казачеству имеет в виду три возможные комбинации: 1) при признании русской государственной идеи со стороны казаков готов идти на новые уступки, 2) если казаки согласятся с большевиками — соберем добровольцев в кулак и пробьемся к Новороссийску, 3) если соглашения с большевиками не будет, но осуществляются самостоятельные стремления, а русская государственная идея будет поставлена в один уровень с идеей самостоятельного казачества и ему будет предложено служебное положение командующего армиями, он откажется и отвердет свои части в Новороссийск и Крым. Будет помогать терцам, если они не примкнут к самостоятельному движению. Уходить с Кубани трудно. Это значит оторваться от хлеба и нефти, оставить весь подвижной состав. С нами уйдут казачьи генералы и некоторые казачьи части.

— Вы, говорят, хотите меня увезти отсюда.

— Нет, но мы не хотим допустить мысли, чтобы вы могли оказаться в качестве военнопленного, заложника, ценою соглашения.

По отношению к Врангелю было сказано:

— Мы недоумеваем, почему в эти минуты Врангель не у дел и сидит в вагоне.

— Мне предлагали назначить Врангеля вместо Шиллинга. Не вижу для того основания. Шиллинг вполне на месте и делает свое дело спокойно, без шума.

— Может быть, Врангеля можно было бы назначить помощником Шиллинга в Крыму? Субботин недоволен планами укрепления Крыма. Может быть, Врангеля можно было бы назначить командиром корпуса?

— Незачем Врангелю говорить всем, особенно англичанам, что дело проиграно. Так говорить нельзя!

* * *

Вот при каких условиях "мы" просили вас за Врангеля. Из этого сделали вывод, что вся русская общественность была за него, как делал это Врангель, более чем самоуверенно.

* * *

Далее следует спешная смена событий.

16 января состоялось ваше соглашение с казаками. Мы понимали это соглашение, как цену, за которую вы хотели получить необходимые вам корпуса конницы. Мы не верили, что казаки дадут конницу и были убеждены, что казачество своими демагогами будет приведено под иго большевиков. И тем не менее обязали наших друзей идти в состав нового смешанного правительства, если бы им было сделано соответствующее предложение.

Далее отступление. Эвакуация Новороссийска. Феодосия. Приказ 22 мая о назначении Врангеля.

”СТАРЫЕ ГОДЫ”

В революцию 1905-1906 годов впервые — со времен Пугачевщины — запылали родовые дворянские гнезда. Саратовские крестьяне говорили: “Не хотим шершавеньких, а чтоб все были гладенькие”.

В 1905 г. историк Леонид Михайлович Савелов начал издавать свои, так и неоконченные, “Родословные Заметки” и, вместе с Мятлевым, Арсеньевым, гр. С. Шереметьевым, “Летопись Московского историко-родословного общества” — повременное издание, насыщенное ценнейшими культурно-историческими материалами, и прекратившееся в 1915 г. В предисловии к своим “Родословным Заметкам” Савелов писал: “Мы предполагаем выпустить их в течение 12-15 лет, срок, правда, очень большой, и за это время много воды утечет, и дворянство русское может покончить свое существование, не будучи в силах бороться со своими врагами, в рядах которых оно найдет своих же собратьев. Но если дворянство погибнет как сословие, то роды все же останутся, останется история, которая каждому воздаст по трудам его”.

Примерно в те же годы бар. Н.Н. Врангель издал сборник статей, посвященных старым усадьбам и их портретам — “Венок Мертвым”. И он же занимался изданием “Старых Годов”. Тогда же С.П. Дягилев ездил по имениям, отбирая портреты для Петербургской выставки. Выставка имела огромный успех. Портреты так и застряли в Петербурге и были спасены от уничтожения.

Журналист В.П. Крымов, желая стать членом Английского клуба и завести великосветские знакомства, тогда же, в 1905-1906 годах, начал издавать журнал “Столица и Усадьба” с фотографиями и описаниями усадеб, их истории, парков, интерьеров. Журнал кончил свое существование в 1916 г. А в 1917-1919 годах кончило свое существование большинство русских усадеб.

Л. М. Савелов, умерший в 1915 г., был, можно сказать, провидцем и издавал свои "Родословные Заметки" бескорыстно, на свой собственный счет. В. П. Крымов действовал из корыстных побуждений. Но оба они потрудились для потомства, для русской истории и русской культуры.

Полистайте выходящие в издательстве "Искусство" маленькие желтые книжечки-путеводители по градам и весям России — "Дороги прекрасного". Я бы назвал их — "Дороги ужасного", — они изобилуют фотографиями полуразрушенных церквей, остовов барских домов, описаниями несуществующих интерьеров. Во многих случаях авторы просто стесняются давать современную фотографию того, что уцелело (а очень часто — ничего не уцелело). Тогда в ход идут фотографии из "Старых Годов", "Столицы и Усадьбы".

Нравится это современным демократам или нет, но волею судеб история и культура России делались, в основном, дворянами на протяжении нескольких сотен лет. И дворянские гнезда, не такие старые, как, скажем, в Англии, были не только "бастионами крепостничества", но и очагами культуры. Вот хотя бы случайный перечень.

Нижние Прыски Кашкиных на Жиздре, откуда открывался замечательный вид на засечные леса и Оптину пустынь. В доме были огромный архив и библиотека, начало которым положил боярин, просветитель Ф. М. Ртищев (о нем писал Ключевский в "Добрых людях Древней Руси"). Из Кашкиных один был декабристом, другой — петрашевцем. Музыковед Н. Д. Кашкин дружил с Чайковским, принимал у себя в имении Достоевского.

Калужское *Авчурино* Полторацких (их родня — А. П. Керн) с богатейшей библиотекой П. К. Хлебникова, унаследованной Полторацкими. В этой библиотеке Карамзин нашел Киевскую и Волынскую летописи.

Подмосковное *Остафьево* Вяземских, где у поэта кн. П. А. Вяземского бывали Пушкин, Грибоедов, Мицкевич. Здесь Карамзин писал свою "Историю". Сын поэта, кн. П. П. Вяземский, был основателем "Общества любителей древней письменности". Его зять, гр. С. Д. Шереметьев, последний владелец Остафьева — историк. Перед революцией Остафьево было настоящим музеем, где хранились личные вещи Пушкина, Гоголя, Карамзина.

Полотняный Завод Гончаровых, тютчевский *Овстуг* и *Красный Рог* поэта гр. А. К. Толстого на Брянщине; *Петрово Дальнее* кн. Голицыных на Москве-реке (с библиотекой гр. Шувалова); *Ясная Поляна* Волконских-Толстых; *Измалково* Самариных под Москвой; *Бехово*

Поленовых под Тарусой; *Бабкино* Киселевых на Истре, где подолгу жили Чехов, Левитан; *Каменка* Давыдовых...

Покойный Юрий Павлович Иваск писал в главе, посвященной Фету-Шеншину: “Были такие помещики Орловской и Тульской губерний: ездили друг к другу в гости, вместе охотились, при встречах пили шампанское, уже не пушкинское *Аи*, а Редерера. Наезжали к ним Полонский, общий друг и критик В.П. Боткин. Тут же, не спеша, писалась великая русская литература — “Первая любовь”, “Война и мир”, стихи Фета. Здесь же пела Татьяна Кузьминская — Наташа Ростова”...

...Русская дворянская усадьба. Смирные львы на воротах или на парадной лестнице. Ампирный портик. Дом с колоннадой, с мезонином. В доме — фигурный паркет, портреты кисти Левицкого, Ротари, Боровиковского. В парадной зале потолки расписаны аль фреско музыкальными эмблемами. В мезонине в темных шкафах — потускневшее золото переплетов, альбомы провинциальных барышень со стихами и силуэтными рисунками. На пилястре одного окна высечено: “Маия 1807 въехали в Петровский дом”. А на другой: “1812 год в Петровском был неприятель”. Из окон — вид, один из тех, которые рекомендовал первый русский парковый архитектор А.Т. Болотов: “Хорошие виды и прекраснейшие положения мест, видимые из окон дома и изображающие бесчисленные красоты природы, всякий дом несравненно делают веселее”.

Английский парк. Липовые аллеи. Пруды с островами и сквозными беседками — “миловидами”. Рядом с домом — церковь, выстроенная “по обету” стольником или отставным лейб-солдатом. При церкви кладбище под ветлами и березами, с белокаменными резными надгробиями.

“Коль краток смертных век,
Коль жребий неизвестен,
Сегодня мертв лежит,
Кто был вчера прелестен”.

Русское поместное дворянство, жившее на земле, было патриархальнее, демократичнее немецкого, английского, французского, подававшего простолюдинам два пальца. Вот несколько сценок из быта семейства И.П. и Е.А. Архаровых, живших в Москве на Пречистенке в начале XIX века. В день Пасхи по возвращении из церкви за столы са-

дилась сперва прислуга, которой было слишком 60 человек, и господа угощали ее, христосовались со всеми и уже потом разговлялись сами. Когда вечно пьяный поваренок Ефим лез целоваться к старухе Е.А. Архаровой (урожд. Римской-Корсаковой), она его останавливала и, взглянув на него, грозно говорила: "А ты все пьянствуешь! Смотри, лоб забрею! В солдаты отдам. Дом срамишь. Побойся хоть Бога! Слышишь, что ли?" — "Слушаю!" — мычал Ефимка. — "То-то ж, — добавляла Архарова. — Так помни же... Христос Воскресе!". Она три раза целовала лоснящуюся рожу Ефимки и вручала ему яичко. А Ефимка продолжал пьянствовать и никогда не был отдан в солдаты.

В будние дни прием гостей в доме Архаровых начинался с двух часов и каждый из них чем-нибудь угощался. В пять часов подавался обед. За десертом Архарова потчевала рюмочкой малаги или люнеля тех из гостей или домашних, которых хотела отличить. По окончании обеда Архарова поднималась, крестилась и кланялась на обе стороны, неизменно приговаривая: "Сыто не сыто, а за обед почтите: чем Бог послал". После обеда она раскладывала пасьянс или слушала чтение романов. Ей очень нравился "Юрий Милославский" Загоскина. Но когда герой подвергался опасности, она прерывала чтение: "Если он умрет, вы мне не говорите".

Ее внук, писатель гр. Вл. Соллогуб, вспоминает: "Подъедет Архарова к знакомым и велит кучеру Абраму вызвать хозяев или, в случае их отсутствия, прислугу:

— Скажи, что старуха Архарова сама заезжала спросить, что, дескать, вы старуху совсем забыли, а у нее завтра будут: ботвинья со свежей рыбой и жареный гусь, начиненный яблоками. Так не пожалуют ли откушать?"

И рыдван плелся далее, заезжал к больным для сведений о здоровье, к бедным для подаяния помощи, к сиротам для наведения о них справок".

Как этот патриархальный быт напоминает семейство Ростовых, старуху Ахросимову в "Войне и мире"!

Было и другое в русской усадебной жизни — крепкая связь с землей, с природой. Без Ясной Поляны не было бы в мировой литературе зеленеющего весной старого дуба, на который смотрит князь Андрей, не было бы татарника из "Хаджи Мурата". А вот отрывок из письма не-писателя — Георгия Осоргина (потомка Юлиании Осорьиной, еще одного типа "Добрых людей Древней Руси"). Г. Осоргин пишет письмо

в Бутырской тюрьме, в Пасхальную ночь 1928 г. (впереди его ждала казнь на Соловках), вспоминая весну 1918 года в их имении Сергиевском: “Весна тем временем перешла в наступление. Когда мы шли к Пасхальной заутрене, стояла душная, сырая ночь, небо заволокло низкими, тяжелыми облаками и, идя по темным аллеям сада, чудилось какое-то шевеление в почве, точно из земли тянулись бесчисленные, невидимые ростки, пробивавшие себе путь к воздуху и свету... Для нас всех не было и не будет ничего, лучше Пасхи у нас в Сергиевском. Мы все органически слишком связаны с Сергиевским, чтобы что-нибудь могло его превзойти, вызвать столько хорошего. Это не слепой патриотизм, потому что *для нас всех оно послужило той духовной колыбелю*, в которой родилось и выросло все, чем каждый из нас живет и дышит”

Из этой “духовной колыбели”, из родовых дворянских гнезд вышли люди, творившие русскую литературу, культуру, историю. И поэтому так ценно всякое свидетельство о минувшей усадебной жизни.

Д. Скалон

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

Самым замечательным из предков рода Татищевых является, без сомнения, мой прапрапрадед по прямой линии, знаменитый Василий Никитич Татищев*, начавший свою деятельность при Петре Великом и доживший до Елизаветы Петровны. Подобно великому Преобразователю России, Татищев проявил свою деятельность в самых различных отраслях. Он был одним из пионеров русской металлургической промышленности на Урале, где им основано очень много казенных заводов. Нынешняя Уральская область сохранила воспоминание о его деятельности, и его имя носила крепость Татищева, многократно упоминавшаяся в истории Пугачевского бунта. Впоследствии он был также Астраханским губернатором, но, конечно, ближе всего его имя связано с историей России, коей он явился первым по времени настоящим историком.

Отрывок из воспоминаний ныне покойного русского дипломата Бориса Алексеевича Татищева (1877-1949) “На рубеже двух миров” (см. также “Н.Ж.”, No. 138).

*В.Н. Татищев (1686-1750).

Правда, русская история Татищева во многом уступала позднейшим работам Карамзина и других историков, но все же его труд ярко отличается от всех прежних хронологических записей летописного характера, и он впервые приступает к историческим событиям с критическим анализом и с этой именно точки зрения заслужил имя первого по времени русского историка.

Наряду с этим имя В. Н. Татищева часто упоминается во время исторических событий его эпохи, особенно богатой великими событиями. При восшествии на престол Императрицы Анны Иоанновны, Татищев выступил решительным сторонником сохранения самодержавной формы правления России и против попыток Верховников ограничить власть новой монархини. Его точка зрения одержала верх и это, вероятно, оградило Татищева от преследований, которым в то время большинство выдающихся государственных людей подверглось со стороны Бирона и других временщиков.

При всем том Василий Никитич все же не избег гонений по службе и перед своей смертью жил в опале в родовой вотчине, Болдине Московской губернии. Семейное предание гласит, что императрица Елизавета Петровна послала ему с фельдегерем извещение о восстановлении в чинах и проч. и наградила Андреевской лентой. По приезде в Болдино, фельдегерь застал Татищева в прихожей своего дома, мастеровившим предназначенный для себя самого гроб. Прочтя царскую грамоту, Татищев сказал, что благодарит Бога и государыню, но что пожалованного ордена принять не может, так как чувствует приближение смерти и готовится к переходу в другой мир, где таких наград нет. На другой день он, по тому же преданию, действительно умер и ленту на него возложили, уже когда клали в самодельный его гроб.

О сыне Василия Никитича, Евграфе Васильевиче, я ничего не знаю, а сын последнего, Алексей Евграфович, генерал Екатерининской эпохи, был женат на Марье Степановне *Ржевской*, обладавшей хорошим состоянием, которая из-за своей многочисленной родни получила в Московском обществе прозвание "*всемирная кузина*". Мой дед Никита Алексеевич был их вторым

сыном, которого они не особенно любили, сосредоточив любовь на старшем сыне, который умер рано. Алексей Евграфович и его жена жили в Москве, держа то, что называется "открытый дом", в котором жила и куда приходила без зова, по преимуществу на обильные трапезы, масса незнакомого и полузнакомого люда. В результате состояние, хотя и значительное, Алексея Евграфовича не могло выдержать и было попросту проедено. По словам Никиты Алексеевича, в день смерти Алексея Евграфовича в доме не оказалось вовсе денег, так что расходы по похоронам пришлось уплатить моему деду, и от всего имущества осталась налицо одна шкатулка со столовым серебром, которую я лично видел в Беяницах. Вотчина Грибаново осталась Никите Алексеевичу, но на ней лежали большие долги.

Второй сын покойного, Никита Алексеевич, родился в 1795 году в Москве. В годовину Бородинской битвы он, в возрасте едва 17 лет, был уже офицером, но в битве не участвовал. Зато он принял участие в заграничном походе, завершившимся взятием Парижа. Он имел медаль в память Отечественной войны с надписью "Не нам, не нам, а имени Твоему" и очень ею гордился. Еще при жизни родителя он унаследовал от своего неженатого дяди Василия Евграфовича вотчину Беяницы Тверской губернии, которая явилась нашим семейным гнездом, где все мы выросли.

Подав довольно рано в отставку, Никита Алексеевич жил в этом имении холостяком почти до пятидесяти лет. В это время он несколько раз посетил город Тверь и там встретился с семьей тверских дворян — Степаном Мироновичем *Ушаковым*, его женой, рожденной *Денисьевой* и их дочерью Екатериной Степановной. Последняя хотя всегда жила при родителях, в их маленьком имении Пестово (36 верст от Твери), но получила прекрасное домашнее образование и отлично говорила на французском и немецком языках. Еще в ранней молодости она влюбилась в офицера князя *Шаховского* и была помолвлена с ним. Молодые люди оба были на верху блаженства, когда вдруг над ними разразился гром. Как говорили потом, молодой жених упал с коня и так несчастно, что тут же скончался. Впрочем, сведения эти нельзя было с точностью установить. Екатерина Степановна чуть не умерла с горя, собиралась уйти в монастырь,

но ввиду старости родителей осталась с ними.

Через несколько лет ее увидел Никита Алексеевич Татищев. Она ему приглянулась. Родители *Ушаковы* усиленно просили дочь не отказываться от своего счастья и в конце концов она приняла сделанное ей предложение. Молодые переехали и поселились в Беяницах, где Никита Алексеевич занялся постройкой нового дома взамен довольно тесного и неприглядного флигеля, который имелся в этом имении, где до Никиты Алексеевича помещики не жили.

О моем деде Никите Алексеевиче я знаю, вообще, мало и это понятно, т. к. родился он еще в царствование Екатерины Великой, женился уже в возрасте около 50 лет, а умер, когда моему отцу было всего пять лет. Личные воспоминания о Никите Алексеевиче я мог слышать только от доживших до моего приезда в Беяницы бывших крепостных, продолжавших там служить или проживать, а это были почти исключительно бывшие дворовые служащие. Не знаю, правильно ли или нет, но у меня составилось, на основании этих рассказов, впечатление, что мой дед был то что называется "крепостник", не то что жестокий, но суровый и до известной степени своенравный, горячий, не отступавший перед саморучной расправой с провинившимися. Видимо, он был гораздо милостивее в отношении живших от него вдалеке крестьян, о благосостоянии которых заботился, а нрав свой срывал именно на дворовых. Слышал я рассказ о том, как он особенно почему-то начал преследовать повара Михайлу, которого я прекрасно помню. Этот последний прослышал, будто барин боится, что кто-либо из преследуемых им решится на самозащиту. Поэтому как только Никита Алексеевич входил в кухню и собирался к нему придаться, сейчас же отходил к большому столу и начинал перебирать лежавшие на нем громадные кухонные ножи, упорно не подымая глаз на барина. Последний, будто бы, тотчас начинал покашливать, отходить в сторону и затем незаметно улетучивался из кухни.

Уклад жизни в Беяницах в то время был такой, как в большинстве сравнительно богатых поместий. Была псовая охота, были оранжереи с персиковыми и сливовыми деревьями дивного качества, еще в мои времена являвшиеся нашей гордостью. В

смысле продуктов домашних, т. е. своего производства, имение было, конечно, полной чашей, но даже в смысле покупных товаров, которых велся подробный реестр в записях Беляницкой конторы, можно думать, что дом был поставлен на довольно широкую ногу. Все время упоминается то горчица сарептская, то ваниль голландская, то шампанское Клико — все с неизменным добавлением: "для господина нашего Никиты Алексеевича".

Как я уже упоминал выше, главное занятие моего деда после свадьбы составляла постройка нового господского дома. Это дело велось на широкую руку. Дом был сооружен прекрасный, обширный, в стиле Александровской эпохи, с белыми колоннами и розсами, — имевший со стороны главного подъезда один этаж, а в сторону сада — два. В нем было 24 комнаты, в том числе шесть больших парадных. Дом был деревянный, на каменном фундаменте. Лес был самый лучший, из заветного соснового урочища Враники. В главных комнатах были полы такого чудного паркета, какого уже в мои времена было почти невозможно найти. По преданию, когда закладывали дом, то основная балка оказалась с двойной сердцевиной, что является величайшей редкостью. Говорят, что строитель дома сказал на ухо своему соседу, что это — дурной признак и что хозяин недолго проживет в новом доме. На самом деле, Никита Алексеевич не успел даже перебраться во вновь отстроенный дом и скончался в старом.

В 1846 году родился в Беляницах мой отец Алексей Никитич, и какой-то домашний пиита разрешился по поводу этого радостного события одою, заканчивавшеюся словами:

Зрей, как персик ранжерейный,
Наш боярин молодой

которая доказывает, что и в то время оранжереи уже были некоторой примечательностью нашего родового гнезда.

Скончался Никита Алексеевич за несколько лет до Севастопольской войны, в конце царствования Николая I. В эти последние годы своей жизни Никита Алексеевич, вероятно под влиянием своей жены, занялся приведением в порядок своего состояния, ликвидацией долгов, перешедших на него после Алексея Евгра-

фовича. В этих целях пришлось, между прочим, расстаться с родовой вотчиной Татищевых, селом Грибаново Московской губернии, которая была продана в казну.

Скончавшийся в 1852 году, Никита Алексеевич был похоронен в Желтиковском монастыре близъ Твери, где уже покоились прахи родителей Екатерины Степановны. К сыну его, моему отцу Алексею Никитичу, были назначены опекунами Екатерина Степановна и сосед-помещик, дворянин Лаврентий Антонович *Дорошкевич*. Этому последнему наша семья обязана весьма многим в смысле улучшения хозяйства в Беляницах, а главное, в смысле ограждения интересов владельцев этого имения при наступившем вскоре освобождении крестьян.

В этом отношении Дорошкевич был особенно полезен Екатерине Степановне, которая обладала большими свойствами практической хозяйки дома и умением вести свои денежные дела, но, видимо, не обладала, да и не стремилась уметь вести в крупном масштабе сельское хозяйство.

Лаврентий Антонович, наоборот, был первоклассный сельский хозяин. Он лично неусыпно следил за порядком работ. Между прочим, он был небывало тучным человеком, вроде поэта Апухтина, которому пришлось заказывать себе специальную карету, в которой открывалась не дверца, а целая стенка, чтобы он мог в нее влезть. Эта тучность тоже очень осложняла заботы Дорошкевича в полевых работах.

Я как-то отыскал в каретном сарае какую-то странного типа пролетку с маленьким сиденьем впереди для кучера и довольно широким, во всяком случае на двух, позади. Вся пролетка — чрезвычайно низкая для запряжки в дышло на пару лошадей. Мне этот непонятный экипаж приглянулся главным образом потому, что я давно воевал против упряжки в оглобли при наличии наших глубоких колеи, благодаря которым либо седоку обламывают все бока, либо несчастная лошадь, вынужденная бежать по самой колее, ежеминутно может сломать себе ногу. Я пропагандировал упряжку в дышло, когда так легко пустить по колее дышло, а обе лошади будут свободно бежать вправо и влево от колеи и седока даже не тряхнет.

Когда я раз на своем экипаже заехал в селцо Селивестрово,

то тамошний староста, бывший крепостной, вдруг сказал мне: "А где вы это, Борис Алексеевич, достали шарабан Лаврентия Антоновича, на котором он проверял "огрехи"?" Оказывается, что тучный Дорошкевич строго следил за исправностью вспашки полей, которую считал главным делом и заставлял себя возить в своей бричке по свежевспаханным полям, занимая один все заднее сидение. Бричка была на стоячих рессорах, как делалось в старину, очень чувствительных. Как только чувствовался толчок, Дорошкевич знал, что на этом месте соха вильнула и остался пропуск. Он сейчас же останавливал возницу, вызывал надсмотрщика и, выбрав его, заставлял исправить "огрех".

Главной заслугой Дорошкевича была та, что он отыскал и назначил Беяницким управляющим молодого парня, кажется сына простого крестьянина, Андрея Васильевича *Голынского*, который затем во все время жизни в Беяницах Екатерины Степановны оставался на этом месте и поставил Беяницкое хозяйство на небывалую для него высоту. С грустью должен сказать, что после его ухода хозяйство сразу же покачнулось и более никогда не поднялось до былой высоты. Ни мой отец, ни тем более я сам сельскими хозяевами не были. Уже для отца служба играла первостепенную роль. Постепенно мы привыкли смотреть на Беяницы, как на имение бездоходное, приятное только своей усадьбой, а для доставления владельцу денежных средств не идущее в расчет. Воображаю, как рассмеялся бы Андрей Васильевич такой постановке вопроса. После кончины Екатерины Степановны Голынский получил небольшой капитал на покупку хутора в окрестностях Беяниц, к которому ему был прирезан участок соседнего нашего леса, что составило прелестное маленькое имение "Пирогово", куда мы часто ездили детьми в гости пить чай у радушной жены Андрея Васильевича, прелестной старушки.

Голынский был вообще самородок. Я даже не знаю, знал ли он грамоте, но уже сын его, Василий Андреевич, известный жанровый художник, был человек с высшим образованием. Другой сын, Гавриил Андреевич, служил в полиции и мог бы тоже пробиться, если бы не страдал запоем, что тогда было таким широко распространенным пороком, за порок даже не почитавшимся.

Как я уже упомянул выше, вторая задача, при выполнении коей Дорошкевич оказал нашей семье громадную услугу, было урегулирование земельных отношений с отпущенными на волю крестьянами.

Беляницкие крепостные были выделены с тем, что называлось "полным" наделом, кажется в 4 с половиной десятины земли на ревизскую душу. Несмотря на это, если взглянуть на план, то видно, что почти около каждого селения окажется так называемая "отрезка" от крестьян деревни. Из этого ясно, что до воли крестьяне фактически владели большим пространством земли, чем им досталось при выходе на волю даже по самому широкому наделу. Это послужило к тому, что крестьяне в большинстве случаев продолжали и после воли работать за эти отрезки и тем сохранили с помещиками какие-то особенные отношения, а с другой стороны, что на земли, к которым присоединились их бывшие отрезки, крестьяне привыкли смотреть, как на что-то, им во всяком случае "не чуждое". Психологически это много разъясняет в деле нашей аграрной революции, от которой мы наивно считали себя застрахованными Манифестом 23 февраля 1861 года.

В это время Екатерина Степановна переехала уже на жительство в Петербург и мой отец поступил в 1-ую гимназию на Казанской улице, а квартира их помещалась на Невском проспекте, как раз против Надеждинской улицы.

Моя бабушка была, по всем имеющимся у меня сведениям, совершенно замечательной женщиной, и я считаю необходимым постараться хотя бы в кратких чертах очертить ее характер и сердечные качества, которые заставляли моего отца боготворить ее и с благоговением чтить память о ней.

Выросшая в сравнительно бедной, но высококультурной семье, Екатерина Степановна получила, как я уже упоминал, прекрасное домашнее образование, великолепно говорила по-французски и по-немецки, очень любила музыку и была широко начитана и образована. Выйдя замуж сравнительно поздно и без особого увлечения, она всю силу своей любви сосредоточила на своем первенце, которому и суждено было остаться единственным ее ребенком. Своего Лоло она обожала всей силою своего

сердца и всей ее энергической и властной природой. Составить для него состояние, чтобы дать ему возможность работать, не думая о хлебе насущном, устроить его жизнь и помочь его счастью — вот какова была цель жизни Екатерины Степановны.

Будучи свидетельницей того, как легко и быстро можно растратить даже крупное состояние, она, конечно, решила прежде всего руководствоваться в своей жизни принципом бережливости. Но если она всегда и во всем была бережлива, то никогда не была она скупа. Наоборот, известные расходы она считала вполне желательными и полезными, но всегда делала это практически.

Например, каждый год она с сыном, гувернером последнего и своей горничной совершала поездки за границу, считая это полезным для своего здоровья и для развития сына. Но если приезжала в новый город, то останавливалась в гостинице и тотчас же начинала искать удобный и более дешевый пансион. Если же облюбовала пансион, то на следующий раз прямо ехала туда. В Петербурге она была постоянной абоненткой на итальянскую оперу, на которой имела ложу. В день абонементного спектакля Евгений приводил извозчицкую карету, в которой Екатерина Степановна отправлялась собирать по городу приглашенных заранее друзей (по числу имеющихся кресел) и затем всех отвозила в театр, причем даже Евгению разрешалось стоять в ложе сзади, вместо того, чтобы присоединиться к своим коллегам, о которых в "Евгении Онегине" сказано:

Пока усталые лакеи
на шубах у подъезда спят.

Кухня у бабушки была прекрасная и она очень любила принимать и угощать друзей, но, конечно, не бесчисленный, даже малознакомый люд, столь успешно содействовавший изничтожению состояния Алексея Евграфовича. Особенно ухаживала она за своим любимым двоюродным братом, моряком Денисьевым, для которого у нее всегда была в запасе какая-то заветная, любимая им настойка.

В самом конце 1876 г. Екатерина Степановна, уже тяжело больная мучившей ее водянкой, приехала в Вену, чтобы взгля-

нуть на своего первого внука. Мне было в то время менее шести месяцев, так что особого интереса я представлять не мог. Тем не менее, Екатерина Степановна пришла от меня в восторг, в особенности от того, как я, говорят, действительно очень живо, реагировал на все происходящее вокруг меня, и говорила окружающим: "Я чувствую, что это с моей стороны очень глупо (дю дернье ридикюль), но, право, я думаю, что это самый умный ребенок в мире". Любовь к сыну она уже успела перенести на внука.

Второй факт еще более характерен. Когда мой отец прибыл в Санкт-Петербург по случаю кончины матери, то ближайшие друзья покойной, адмирал *Копытов* и его жена вручили ему составленную Екатериной Степановной записку, в которой она просила похоронить ее в Желтиковском монастыре около могилы мужа и ее родителей, а затем во всех подробностях давались указания относительно похоронных церемоний в Петербурге. Там имелось следующее указание. Обряд отпевания — обязательно архиерейским служением. Последние три слова были подчеркнуты. Это очень смутило моего отца, который спросил *Копытовых*, чем они объясняют себе эту обязательность архиерейского служения. Они ответили, что сами были смущены, чем объяснить эту прибавку, столь мало гармонирующую с присущим покойной отсутствием всякого тщеславия. Екатерина Степановна ответила, что свет не без злых людей и наверно у ее сына найдутся недоброжелатели, которые начнут осуждать его за то, что, получив от матери умноженное ею состояние, он поскупился на какие-нибудь сто рублей за участие архиерея на отпевании.

В общей сложности, мой отец получил от своей матери после своей свадьбы и ее кончины: Беляницы в образцовом виде, без копейки долга на них, материнское Пестово и около миллионна капитала в процентных бумагах. Это были выкупные платежи, которые Екатерина Степановна не издержала, как большинство помещиков, а сохранила и приумножила разумной своей бережливостью.

Возвращаюсь к жизни моего отца в С. Петербурге.

Учение его в гимназии и после на юридическом факультете

Петербургского Университета шло успешно. В 1867 г. он вышел на службу и, по желанию матери, приписался к Министерству Иностранных Дел. Вскоре после этого в Греции произошла революция, вынудившая отречение от престола короля эллинов Оттона, бывшего принца Баварского. Четыре Державы-Покровительницы Греции предложили тогда эллинский престол датскому принцу Вильгельму, вступившему на него под именем Георга I после бракосочетания с очаровательной своей красотой и наивной прелестью великой княжной Ольгой Константиновной, дочерью великого князя Константина Николаевича. В свиту новой королевы эллинов было решено включить секретаря (секретэр де коммандман), взяв такового из чинов Министерства Иностранных Дел, придав ему дипломатический характер. Место это было предложено моему отцу и с удовольствием им принято. Он уехал в Афины.

Жизнь там в эти отдаленные времена была довольно примитивна, но не лишена прелести. Там были в полном ходу различные археологические раскопки и все время появлялись на свет Божий произведения искусства древности. Тогда же было приступлено к сооружению шоссе между Афинами и Пирейским портом, причем рабочие, копавшие землю, находили немало золотых монет с изображениями Филиппа Македонского и его сына Александра Великого величиною с русский пятиалтынный, но гораздо толще. Монеты эти охотно уступались лицами, их нашедшими, по цене содержащегося в них золота (чистого), т. е. приблизительно по 20 франков за монету. Мой отец скупил их около 20 штук, обделал в виде ожерелья в золотую оправу и впоследствии подарил моей матери.

Отец мой жил в Афинах очень приятно, ласкаемый королевой и ее супругом и пользуясь большим успехом в тамошнем свете. Его раз или два навестила Екатерина Степановна, оставившая по себе память, как о женщине, абсолютно не боявшейся холода. Король Георг, сам северянин, единственный, кто не удивлялся тому, как она, сидя январским полднем на скамейке площади Конституции против королевского дворца, вязала или шила в одном платье и оживленно беседовала с проходящими знакомыми, которые не могли, впрочем, долго с нею говорить,

и спешили распрощаться.

Афинская эпоха кончилась довольно неожиданно и мало для моего отца приятно. Это было в связи с первыми признаками греко-русского расхождения на политической почве и жалобами греков на предпочтение России славянских братьев. Апогеем этого направления явился никогда не вступивший в силу Сан-Стефанский договор, пытавшийся создать великую Болгарию и отдать ей Салоникский порт, несомненно в ущерб греческим интересам.

В то время, о котором я пишу, в афинских газетах вдруг началась осторожная, но ядовитая кампания, указывавшая на то, что в ближайшем окружении королевской семьи имеется официальный представитель иностранного государства, независимый от своего посольства и имеющий канцелярию в самом здании королевского дворца: никто-де не может определить, над чем, собственно, работает этот иностранец, огражденный иммунитетом дипломатической экстерриториальности, но невольно напрашивается вопрос — насколько эта деятельность совместима с интересами и достоинством независимого государства, каковым является Греция. Слово "шпионаж" в газетах не упоминалось, но смысл навета был ясен.

Наша русская миссия в Афинах была этим делом очень неприятно задета, хотя лично посланник, *Петр Александрович Сабуров*, находился с моим отцом в наилучших отношениях и не мог упрекнуть его ни в чем. Все же нельзя было отрицать, что, собственно говоря, служебная задача моего отца заключалась исключительно в заведовании теми капиталами королевы Ольги, которые лежали в русских процентных бумагах и, согласно брачному контракту, должны были оставаться в России. Совершенно очевидно, что для этой немудреной задачи довольно было бы обыкновенного казначея в России и какого-либо молодого камер-юнкера при королеве в Афинах. Причем тут Министерство Иностранных Дел и дипломатический иммунитет, действительно было непонятно. Кроме того, Сабуров говорил себе, что если нынешний секретарь королевы — человек тактичный и миролюбивый, то преемник его может этими качествами не обладать и создать официальной нашей миссии массу неприят-

ностей и осложнений. Ввиду этого он представил в Петербург решение, по которому рекомендовалось передать должность секретаря при ее величестве в ведение Министерства Императорского Двора.

Это решение было государем одобрено, но моего отца вовсе не устраивало положение, при котором он должен был отказаться от дипломатической карьеры, которая ему тогда улыбалась, и он добился отозвания своего из Афин с причислением к Канцелярии Министерства Иностранных Дел. Из Афин он вернулся с орденом Спасителя и званием камер-юнкера.

*

Возвращение моего отца в Россию из Афин является предвещением его встречи с моей матерью и его женитьбы. Поэтому я начну с некоторых сведений о *семье Мецерских*.

Мой прадед с материнской стороны, князь *Василий Иванович Мецерский* обладал большим состоянием, почти исключительно земельным. Главным поместьем, в котором жил он сам, его жена, рожденная баронесса Шарлотта (после принятия православия Наталия) *фон-Фитингоф* и их дети, было Лотошино Старицкого уезда Тверской губернии, в коем после освождения крестьян числилось 9.000 десятин земли. Семья его была многочисленной: 5 сыновей и одна дочь. Старший сын — мой дед Борис Васильевич — женился на княжне *Софии Васильевне Оболенской*, которая была родом из довольно бедной семьи. Зато большинство других братьев женились на богатых. Один — на *графине Апраксиной*, другой — на *графине Строгановой*, третий — на *Мальцевой*. Наконец, единственная дочь, княжна Елена Васильевна, отличавшаяся своей красотой и умом, вышла замуж за немецкого *принца Бирона Курляндского*. Этот брак был сопряжен с пикантным инцидентом, который я не могу пройти молчанием.

Осенью 1845 года на горизонте Лотошина неизвестно какими судьбами появился Светлейший принц Калликст Бирон Курляндский, потомственный член палаты Господ Пруссии, владелец Майората Гросс-Вартенберг в Силезии и проч. В первый же день он потерял голову, подпав под чары прелестной княжны, а

на следующий день формально предложил ей руку и сердце. Предложение было принято. Оставшись вечером наедине, юный принц стал вспоминать о происшедшем, на него напало раздумье, потом сомнение, тревога, наконец, страх при мысли о том, как отнесутся к его решению его родители, глубоко проникнутые идеей собственного величия, почитавшие себя на одной линии с бывшими владетельными медиатризованными князьями, пользующимися правом равнородства с высочайшими особами. Не в силах побороть свой страх, принц потихоньку оделся и сумел незаметно покинуть дом. Очутившись на просторе необозримых полей Лотошина, Бирон пытался пробраться на железнодорожную станцию, чтобы уехать на родину, но он упустил из виду, что две ближайшие станции — Тверь и Клин — были обе в расстоянии 80 верст — расстояние неудобопроходимое пешком, да еще осенью, для знатного иностранца, незнакомого с местностью.

Настало утро. В Лотошине хватились исчезнувшего гостя и разослали во все стороны гонцов для его разыскания. Один из гонцов настиг беглеца в изнеможении и с торжеством доставил его в Лотошино. Не знаю, о чем с ним там говорили, но, по видимому, его сомнения были рассеяны и свадьба отпразднована в том же году. Брак был очень счастливый, и я помню тетушку Бирон в Берлине в 1903 г., когда я был в тамошнем посольстве, а она жила в своем доме на Унтер ден Линден в качестве некоей вице-королевы, пользуясь глубоким почетом со стороны императора Вильгельма из-за тесной дружбы, которая в течение долгих лет объединяла мою тетушку с бабкой императора, императрицей Августой, вдовой Вильгельма I.

Возвращаясь к прерванному рассказу. Мой дед, князь Борис Васильевич, получил, как старший сын, главное имение — Лотошино. Жена его, как упомянуто выше, состояния не имела. Не знаю, какие были условия получения моим дедом Лотошина и не был ли он обязан какими-либо выплатами братьям, но знаю, что моя бабушка всю жизнь жаловалась, как трудно приходилось ее мужу и ей и как они бились как рыба об лед, чтобы поднять и устроить детей, которых было шесть человек — три сына и три дочери. Имея первоначально дом в Москве и живя

там, они скоро переехали в деревню и оставались там до самых последних лет жизни Бориса Васильевича.

Лотошино было очень крупным имением со старинной усадьбой и дивным вековым парком, по которому протекала река Лобь. Господский дом был, правда, деревянный, но очень обширный, комнат на сорок, из которых парадные — громадного размера. Но дом этот был лишен всякого стиля, кроме того, отрицательной стороной было его расположение прямо на большой базарной площади, на которой еженедельно по воскресеньям происходил с раннего утра торг. Для нас, детей, это было любопытно, но все же вспоминалось уединенное положение нашей прелестной Беляницкой усадьбы, вдали от села и всякого постороннего людя.

У детей Мещерских, как это тогда водилось, были с самого раннего детства иностранные бонны и гувернантки, так что моя мать, например, говорила совершенно свободно по-французски, по-английски и по-немецки. Были у них также прекрасные русские учителя. Во всяком случае я, откровенно говоря, не встречал женщин так всесторонне образованных, как была моя мать, быть может, вследствие ее природной любознательности и любви к чтению. Из ее записок видно, что в возрасте приблизительно 16 лет она жила некоторое время в Москве, в среде молодежи из родственных семей. У всей этой молодежи жизнь была ключом, но среди безумного веселья у моей матери и двух или трех ее подруг возникла мысль поступить в Университет. Правда, из этой затеи в конце концов ничего не вышло, но все же это служит доказательством, как моя мать стремилась к расширению своих познаний, чего она затем и достигла вполне успешно, не покидая дома.

Когда моей матери пришла пора к выездам в свет, вопрос этот составил большую заботу для ее родителей ввиду связанного с переездом в Санкт-Петербург расхода. Как раз в это время начальником так называемого 3-го Отделения (Шеф жандармов) был назначен *генерал Потапов*, женатый на сестре моей бабушки, Екатерине Васильевне. Она предложила Мещерским поручить им их старшую дочь, которая будет жить у них и которую ее тетушка будет вывозить в свет и опекать. Предложение

это было принято.

Надо сказать, что моя мать, по общему отзыву, была красавица в полном смысле этого слова. Если прибавить к этому ее ум и оживление, то неудивительно, что успех в свете она имела умопомрачительный. Содействовало этому, впрочем, то обстоятельство, что ее первые успехи имели место на придворных балах, где главными ее кавалерами были молодые великие князья Владимир и Алексей Александровичи. После этого ей уже нетрудно было занять одно из первых мест на всех балах и вообще в свете.

Но, как это, впрочем, бывает довольно часто, именно этот головокружительный успех отпугивал от нее многих скромных юношей, имевших серьезные намерения, но не надеявшихся на возможность добиться успеха в сонме ухаживателей.

Факт остается фактом — моя мать выезжала несколько лет, перестала быть молодой дебютанткой, успех в свете был тот же, а судьба ее все оставалась нерешенной.

Правда, что моя мать не имела в виду выходить замуж без любви. Насколько я знаю, у нее было юное увлечение ее троюродным братом *Гончаровым*, соседом по Лотошину, но молодой Гончаров сам устранил свою кандидатуру, считая, что родители никогда не позволят своей дочери выйти замуж за близкого родственника, не имеющего никакого состояния. Моя мать, кажется, очень болезненно пережила этот разрыв, но тем более не имела причины торопиться.

Моя бабушка, которая была совершенно ослеплена успехом ее дочери, не находила никого достойным ее руки и вообще думала только о кандидатах, соединяющих личные качества с громким именем, громадным состоянием и прочими атрибутами завидной партии. Одно или два предложения из такой блестящей среды были моей матери сделаны, но решительно ею отвергнуты. Наконец, моя мать встретила моего отца и, видимо, произвела на него большое впечатление. Я не знаю подробностей, но, кажется, мой отец высказался и получил не отказ, но тоже и не согласие. Задетый за живое, не отдавая себе отчета в том, что ей нужно было еще присмотреться к нему и обдумать положение, он уехал в деревню. Но *Екатерина Степановна*

Татищева была как-то с визитом у княгини Мещерской и этой последней пришлось отдать этот визит. Поэтому моя бабушка с дочерью отправилась через несколько дней с ответным визитом к Екатерине Степановне. Какое тяжелое впечатление должны были на нее произвести скромная квартирка на Невском, один лакей и все вообще обстановка, лишенная претензий, в том доме, в который могла войти ее блестящая дочь.

Прием со стороны Екатерины Степановны был очень вежливый, но несколько холодный. На вопрос о ее сыне, Екатерина Степановна ответила, что он поехал по делам в имение и на земское собрание, которым очень интересуется. Княгиня, видимо, чувствовала себя неловко и скоро поднялась. Моя мать пишет в своих записках, что ей было невыразимо жалко мать за потерянные ею иллюзии.

Прошел еще почти год. Настала осень. Надо сказать, что у моего отца была страсть к охоте, и стрелял он превосходно. Главным его руководителем на этом поприще был наш Бежецкий исправник *Назимов* — один из самых знаменитых охотников того времени. В их совместных охотничьих peregrinacиях они оказались как-то в соседстве с Лотошиным и Назимов, кажется знавший о "зазнобе" отца, но представившийся, будто ему неизвестно, что отец знаком с Мещерскими, послал узнать у старого князя, может ли он привести к ним своего знакомого молодого Татищева, с которым он как раз охотится. Ему ответили, что, конечно, да. Но моя мать не успела еще к этому времени выяснить свое окончательное отношение к предложению отца, и потому ей необходимо было во что бы то ни стало избежать объяснения с ним. Для сего она решила удержать при себе во все время разговора с отцом свою младшую сестру Елену, бывшую еще девочкой, которая все время сидела у нее на коленях. Несмотря на эту обстановку, свидание между молодыми людьми чрезвычайно их сблизило и во всяком случае доказало отцу, что ему рано было сжигать свои корабли. Вот почему моя мать считала, что в деле ее свадьбы большую роль сыграл хитрый Назимов.

Настала вновь зима. Моя мать была в Петербурге, готовясь к выездам, порядком ей надоевшим; она была уже не молода.

Вдруг как-то утром ей подают букет чудных камелий и краткую записку от отца, сообщавшего, что эти цветы он только что привез из Беляниц из оранжерей. В своих воспоминаниях моя мать пишет, что над ее головой вдруг как будто раздался удар грома из ясного неба, и она поняла, что ее судьба решена и что это решение бесповоротно. Днем, на свадьбе брата Бориса она надела в прическу одну из присланных камелий и первым человеком, которого она увидела при входе в храм, был мой отец. В несколько слов все было сказано и решено и они объявлены женихами.

Отношение к этому событию членов обеих семей было разное. Княгиня Мещерская была, в сущности, в отчаянии, хотя и старалась это скрыть. Объяснить свое отчаяние она едва ли могла бы логически даже сама, так как мой отец, и по своему имени, и по служебному положению, и даже по состоянию являлся хорошей партией, многие сказали бы даже, — завидной. Но, должно быть, надежды, возлагавшиеся княгиней на красоту и ум ее дочери внушили ей те иллюзии, которым брак с моим отцом, видимо, не удовлетворял. Сложнее было отношение к делу Екатерины Степановны. Ее безграничная любовь к сыну не позволяла примириться сразу же с теми колебаниями, которые сопровождали отношение моей матери к предложению отца. Но она прекрасно понимала, что недостойно ее ума подчинять свое отношение к избраннице сына мелочному, в сущности, чувству досады и обиды.

Поэтому она сразу взяла тон полного удовлетворения и радости, но на самом деле, кажется, что это чувство всецело было воспринято ею только позже, когда она увидела, как складывается семейная жизнь молодой четы и, особенно, когда повидала родившегося у них первого их ребенка.

Зато с самого начала в восторге от брака был мой старый дед, князь Борис Васильевич, который обожал свою старшую дочь и, со свойственной ему прозорливостью, оценил, несмотря на краткость знакомства с моим отцом, какие сокровища ума и сердца таились под внешней, подчас немного сумрачной оболочкой этого сурового и замкнутого в себе человека.

Свадьбу отпраздновали в июне 1875 года в Твери, где мой

дед был Губернским Предводителем Дворянства. Венчание происходило в кафедральном соборе на Соборной площади, как раз против дома дворянства. Очень скоро после этого последовало назначение моего отца вторым секретарем нашего посольства в Вене, куда и уехали молодые...

В 1881 г. мы приехали из Вены прямо в Беляницы, но вышли не в Бежецке, а на нашем полустанке Подобино, который в то время назывался Горки. Нас встретило несколько экипажей. Я ехал с матерью в первом из них, эlegantной двухместной карете, обитой внутри красной шелковой материей. Карету эту мы потом всегда называли, по ее первой собственнице, каретой Екатерины Степановны. Запряжена она была четверкой прекрасных рослых лошадей серой масти. На меня произвели большое впечатление новая для меня запряжка, одежда кучера, и особенно быстрота езды с галопирующими пристяжными. Дорога была прекрасная, кучер искусный, погода дивная. Я не заметил, как карета проехала мимо кладбища, поравнялась с большим селом и, оставив его влево, повернула направо, между большим прудом и расположенными против него несколькими довольно красивыми домиками. Это была так называемая поповская слобода, где жил церковный причт. Затем, оставив вправо скотный двор и другие хозяйственные постройки, карета круто повернула влево, лошади подхватили полным ходом, направо промелькнуло здание с большой вывеской: "Беляницкий Екатерининский приют для больных и убогих" (наша больница в память бабушки Екатерины Степановны). Вот мы влетели в так называемый Красный двор с его густой зеленью, лошади рванули еще злее и вот, миновав контору (старый дом), мы вынеслись на широкую площадку, усыпанную песком, и кучер осадил взмыленную четверню у каменного подъезда светлосерого дома в стиле Александровской эпохи, с белыми колоннами и террасой, заросшей густо диким виноградником. *Я увидел впервые наше родовое гнездо.*

Для меня началась жизнь, когда каждый прожитый день открывал мне все новые и новые горизонты. Несколько дней прошло, пока я ознакомился со всем домом и флигелями. Но меня более влекло в сад, и тут было на что посмотреть. С одной

стороны дома — уже мною упоминавшийся красный двор, заросший старыми березами и более молодыми тополями, так называемыми "бальзамическими", особенность которых была в том, что они, особенно весной после весеннего теплого дождя, насыщали воздух дивным смолистым ароматом. Все свободное пространство было засажено сиренью и другими кустами. Для увеселения детей тут были устроены карусель с двумя деревянными лошадьми и двумя лодочками, гигантские шаги, качели и миниатюрный домик, бывший в детстве моего отца, с настоящим крыльцом, окнами и проч. Можно себе представить, в какой восторг привел меня этот Красный двор.

По другую сторону дома был цветник, клумбы, две высокие лиственницы, стоявшие симметрично перед домом. За ними начинался обширный парк вековых лип, составлявших главную красоту Беяницкой усадьбы. К сожалению, в прежнее время эти липы были по тогдашней моде острижены в рост человека, но позже их перестали стричь и они стали расти вверх несколькими стволами. Это, к сожалению, сильно портило общий вид парка. Была в нем одна площадка, обсаженная вековыми, самыми старыми в нашем парке липами, никогда не знавшими стрижки, и, глядя на них, можно было себе представить насколько парк выиграл бы, если бы и остальные его аллеи не были тронуты нелепой модой стриженных растений.

В дальнейшем парк переходил в настоящий густой лес, который поначалу был лиственный (береза), но постепенно вокруг берез засел густой ельник, закрывший старую поросль, так что оставшееся за этим местом название "Чернолесье" не совсем к нему подходило.

От подъезда дома одна березовая аллея вела немного в гору, к прекрасной белой каменной церкви с колокольной, а другая — в сторону, до большой деревянной конюшни и такого же каретного сарая. Рядом были кучерская, кузница и опять березовая рощица с прудом для мытья экипажей.

Я сразу особенно пристрастился к нашей конюшне, так как обожал лошадей. В Беяницах еще со времен Никиты Алексеевича эта сторона была поставлена на особенно высокий уровень. Когда я прибыл в деревню, на конюшне было два четверика.

Серый и гнедой с караковыми пристяжными, еще тройка, производитель и еще лошадей пять—шесть, в том числе верховая моего отца, лошадь управляющего, две разгонные и проч. Кучеров было три. Один старый, бывший крепостной Дмитрий, превосходно знавший свое дело, но приверженный к вину и второй — Левон, вскоре сделавшийся главным и остававшийся у нас до самой революции. Он сначала ездил неважно, но постепенно сделал большие успехи, правил идеально, умел не трянуть по самой дурной дороге и, кроме того, обладал тогда совершенно необычайным качеством: он не брал в рот хмельного. Единственный недостаток Левона было неумение приучить лошадей спокойно выходить из каретного сарая. Не знаю почему, но у него лошади с младых лет вылетали стремглав на улицу, где они, впрочем, сейчас же успокаивались и потом уже вели себя как должно. Но это вылетание на волю вызывало массу неприятностей.

Беляницкая усадьба была расположена очень выгодно, на высоком месте, так что наша церковь была видна отовсюду почти за 20 верст. Почва была сухая и здоровая. Единственным недостатком было отсутствие реки, которая очень украсила бы всю местность; конечно, имевшиеся в большом количестве пруды не могли ее заменить. Вообще же окружающая местность была довольно живописной, пересеченной; рядом с нашим селом шел овраг, в глубине которого журчал ручей, правда, миниатюрный, который в обычное время курица могла перейти вброд в любом месте. Этот ручей, родившийся где-то от ключей, вместе с оврагом, по которому он протекал через несколько деревень, очень оживляли местность и мы, детьми, любили ходить по его берегам.

Этот ручей, течение которого мы так подробно изучили на расстоянии около пяти верст от Беляниц, растекался затем по болотистой почве, окружающей труднопроходимые болота так называемого Мошного озера и там кончал свое существование. Очень красочны были также окрестные леса, которые, увы, сохранились тогда уже в очень ограниченном числе. Крестьяне их изничтожали у себя почти полностью, многие помещики тоже. У нас сохранилось еще более тысячи десятин леса, и я с восторгом

ездил по ним как летом, так и зимой, восхищаясь их красотой. Во всяком случае, презрительный отзыв бабушки княгини Мещерской, что в Беляницах, как, впрочем, по ее словам, и в Лотошине, не существует ни одного "аксидан де террен", нельзя признать справедливым. Этот отзыв можно было отнести только к так называемым у нас "пустошам". Так назывались луговые пространства, расположенные на полуболотистой почве, заросшие кустарником. Такие пустоши представляли, действительно, довольно монотонный ландшафт. Зимой и ночью они были даже опасны для путешественников, так легко было потерять на них едва намеченную дорогу и затем плутать по безлюдной местности, где на много верст не встретишь жилого дома, а только случайно натолкнешься на убогий сарай для укрытия сена.

Ознакомившись с Беляницкой усадьбой и ее окрестностями, я начал присматриваться к ее обитателям и тут меня поразили некоторые привычки, которые я тогда увидел впервые. Это был, во-первых, обычай всех служащих и особенно наиболее старых из их числа, целовать нам, детям, руки при встречах с нами. Как это ни может показаться странным, но, несмотря на мой малый возраст (5 лет), я прекрасно понимал, что это не есть обычный в отношении детей знак нежности, а какое-то чинопочитание, нам оказываемое. Только гораздо позже я понял, что это целование руки и нам и нашим родителям есть остаток крепостного права, который тогда особенно свято соблюдался бывшими дворовыми, еще в довольно большом числе жившими в нашей усадьбе. Сюда же надо отнести обычай кланяться в ноги, с которым и мой отец и моя мать вели ожесточенную борьбу в первые годы нашей жизни в деревне. Особенно упорно этого обычая держались те крестьяне, которые имели обратиться с какой-либо насущной просьбой, например, об отпуске леса на погорельцев. Если у заднего крыльца Беляницкого дома стояли один или несколько крестьян, которые при появлении отца безмолвно опускались на колени, то мы уже знали, что это — погорельцы, пришедшие просить леса на новую постройку. Все эти пережитки старины служили доказательством, до какой степени сильны были традиции крепостного права в наших исконно русских центральных губерниях. Когда мне впоследствии пришлось жить

на юге России и, в частности, на Украине, в Полтавской губернии, я ясно увидел, что там пережитки крепостного права были населению вполне чужды. В Полтавской деревне жили бок о бок и ничем решительно друг от друга не отличаясь как поселения крестьян, так и поселения казаков. Но вторые никогда в крепостной зависимости не состояли и, видимо, служили образцами свободолюбия не только для своих братьев, но и для соседних крестьян. В наших местностях гнет помещика-дворянина был, очевидно, много тяжелее.

Красивое зрелище представляло собою наше село в день храмового праздника Св. Троицы, когда туда съезжалась ярмарка и в течение всего дня происходили хороводы и танцы. В то время, о котором я пишу (самое начало девяностых годов), в русской деревне были совершенно неизвестны так называемые немецкие платья для девушек, которые все носили еще русские сарафаны. Парни были одеты уже в "спинжаки", заменившие прежние домодельные сермяги. Но мужское платье европейского образца было менее уродливо, нежели те немецкие платья, которые вскоре вытеснили наши прелестные русские сарафаны. Во время хоровода обыкновенно парни и девки, держась за руки, составляли круг в середине села, наподобие того, что мы называли "гран рон"; по очереди один или два парня подходили к избранным ими девушкам и, почтительно сняв шапку, приглашали их на танец.

Избранная входила в круг и начинала плясать русскую, держа в руках платок. Парень, в свою очередь, танцевал вокруг нее. Окончив танец, он подходил к своей даме и, сняв шапку, три раза целовал ее в щеку и становился опять в круг. Все это делалось с соблюдением примерного порядка и безукоризненного приличия.

Кажется, что лет через пять после этого хороводы начали делаться все реже, а затем исчезли совсем.

Соседей у нас было довольно много, но все они были почти исключительно мелкопоместные, имели десятин по 300—500, редко—редко 1.000. Беяницы с их 3.000 десятин были вторым по величине имением во всем Бежецком уезде. Первым было имение в 7.000 десятин леса, принадлежавшее княгине *Мещер-*

ской-Паниной, но там помещики не жили.

Нашим ближайшим соседом, в 7 верстах от нас, был князь *Иван Александрович Хилков*, принадлежавший к древнейшему роду Рюриковичей. Это был настоящий гран-сеньор, как будто перенесенный в наши палестины из дореволюционной Франции. Говорил он исключительно на изысканном французском языке, был всегда в высшей степени любезен, особенно с дамами. Хотя и обедневший в результате эмансипации крестьян и неумелого хозяйства, он все же старался и в деревне вести светскую жизнь. В определенные дни недели он в своей карете, запряженной четверней маленьких лошадок простой породы, посещал своих соседей. У нас он бывал по вторникам, по четвергам — у *Неведомских* в их Подобине. По воскресеньям принимал у себя в Синеве-Дуброве, причем, для еще большего сближения с дореволюционной Францией, неизменным его гостем был местный священник и его попадья. После обеда играли в преферанс по такой маленькой, что игра кончалась выигрышем или проигрышем в полтинник.

Из числа сыновей старого князя упомяну о его сыне *Михаиле Ивановиче*, личности очень замечательной. В молодости он много мудрил, построил винокуренный завод в Бежецке. Почему-то велел соорудить пароход для его обслуживания. Этот пароход никогда не смог дойти до завода ввиду несудоходности реки Мологи на этом плесе. Кончилось тем, что он разорил отца и сам наделал столько долгов, что ему пришлось уехать в Америку. Там он пережил немало испытаний, жил со своей женой где-то в лесу, в палатке. Наконец, поступил машинистом на железную дорогу и оправился. С русско-турецкой войны вернулся в Европу и по ее окончании был назначен министром путей сообщения во вновь созданное княжество Болгарию. После русско-болгарского разрыва поехал строить Закаспийскую железную дорогу с генералом *Анненковым*.

Он был замечателен тем, что соединял гран-сеньорство отца с внешностью и ухватками чистокровного янки, смешение, которое не было лишено своеобразной прелести. Его увидела императрица Мария Феодоровна и он ей, видимо, очень понравился. Потом на него обратил внимание *С. Ю. Вумме*. При

своем назначении министром финансов, последний рекомендовал Александру III Хилкова на свой прежний пост министра путей сообщения уже в России. Эту должность Хилков занимал до конца русско-японской войны, после чего умер. При нем закончена была Сибирская магистраль и сооружена Китайская жел. др. в Манчжурии.

Другими нашими соседями были *Неведомские*, жившие в 15 верстах от нас, в имении Подобино. Владелец его, Константин Николаевич Неведомский, председатель Бежецкой уездной управы, был женат на родной племяннице моей бабушки Татищевой, *Варваре Петровне Ушаковой*.

Часто виделись мы еще с семьей князя *Александра Павловича Хованского*, владевшего имением Волково, в 12 верстах от Беляниц. Он был из древнего рода Гедиминовичей и тоже был похож на французского аристократа, но у него не было изящества и спокойствия Хилкова. Он был горяч, громко спорил, причем его споры переходили в настоящий крик, хотя и на французском языке.

За свою жизнь он истратил приданое трех жен, в том числе очень крупное третьей жены, рожденной княжны *Щербатовой*. Совершенно обеднев, умел, однако, продолжать сравнительно широко жить в Петербургском свете с двумя своими дочерьми, да еще ухитрился выпустить сына в лейб-гвардии Гусарский полк.

Этот последний после смерти отца женился на дочери Туркестанского генерал-губернатора *барона Вревского* и пытался с молодой женой засесть в Волкове, чтобы поднять совершенно разоренное имение. Для этого он, к сожалению, не имел никаких данных, и вскоре скончался сам.

Нашим самым близким соседом был отставной майор гусарского Павлоградского полка *Федор Федорович Чернцов*, живший в трех верстах от нас в сельце Мышлино, в котором было, кажется, не более 300 десятин. Он был большой оригинал. Содержа в образцовом порядке свою усадьбу и сад, Чернцов считал почти что личным оскорблением, когда приезжавшие к нему гости оставляли следы своих лошадей и экипажей на идеально подметенных дорожках перед господским домом. Я отлично

помню, что после каждого нашего приезда, когда мы рассаживались в гостиной любезной хозяйки дома *Варвары Петровны Чернцовой*, вдруг на дворе слышались недовольные крики хозяина, приказывавшего своим рабочим привести снова в порядок дорогу от самых въездных в усадьбу ворот и до подъезда. Закончив эту работу, хозяин являлся в дом и как ни в чем ни бывало здоровался с нами и принимал участие в беседе. Мы знали, что тотчас после нашего отъезда начнется тот же самый переполох и новое устранение оставленных нами следов.

Около имения Чернцовых было расположено, приблизительно в трех верстах, так называемое Мошное озеро, окруженное почти непроходимыми болотами. Предание гласило, будто на подходах к озеру имеются "окна", в которые можно провалиться и затем всплыть на Мошном озере, куда будто бы прибывало к берегу тела неосторожных охотников, пытавшихся проникнуть на его берега.

Помнится, что мои родители как-то уговорились с Ф. Ф. Чернцовым отправиться на берег озера, куда он обещал их провезти на экипаже. В назначенный день мы приехали в Мышлино в прекрасном венском шарабане, запряженном парой в английской упряжи. Чернцов запряг какой-то кабриолет и повез нас на озеро. Отъехали версты полторы и попали в болото, по которому в нашем шарабане стало уже ехать трудно. Остановились на какой-то лужайке и тут старик Чернцов и мой отец более получаса времени кричали друг на друга. О чем, собственно, шла речь во время этого обоюдного крика, который для людей того века был излюбленным способом вести беседу, я решительно не понял. Не понимаю и сейчас, как можно было рассчитывать попасть на Мошное озеро в экипаже, когда туда не ведет ни одной дороги и только пешком, да и то с большими усилиями, могут туда пробираться охотники. Хорошо уже то, что такие бурные сцены проходили в то время совершенно бесследно и не оставляли после себя ни малейшей горечи.

Мне лично Мышлино очень памятно, так как единственный сын Ф. Ф. Чернцова, тоже Ф. Ф. или *Федя Чернцов*, старше меня лет на шесть, очень любил охоту, и я не раз подвизался с ним на этом поприще совместно с моим ментором по охотничьему делу, лесным сторожем Степаном.

Верстах в трех от Мышлина находилось другое маленькое поместье, Гнездовка, принадлежавшее помещикам *Храповицким*, откуда была родом *Варвара Петровна Черникова*. Брат последней в то время уже умер и там жила его вдова — г-жа Храповицкая, бывшая душевнобольной и ее сын, *Василий Алексеевич Храповицкий*, значительно старше меня, который впоследствии часто бывал у нас в Беяницах. Он был очень замечательным человеком. Не знаю, кто и чему мог его учить при болезни матери, но познания его во всех решительно областях были прямо изумительны. Обладая несомненно философским складом ума, Василий Алексеевич Храповицкий по любому вопросу имел вполне законченное и серьезно обоснованное мнение. Гораздо поразительнее этого был еще тот факт, что он, проживая в сельской глуши, где и почта-то получалась не чаще двух раз в месяц, был в курсе всех событий и мог поддерживать разговор на любую современную тему. В общем, хотя и неизвестно было, учился ли он вообще чему-либо и где именно, он производил впечатление человека с высшим образованием. В частности, он совершенно самостоятельно, без чьей-либо помощи или руководства, научился английскому языку, понимал и мог читать любую английскую книгу, но читать только про себя, так как произносить английских слов он не мог, никогда не слышав произношения на этом языке. Он произносил английские слова так, как все входящие в их состав буквы звучат на русском языке. Менее всего подобная какофония походила на английский язык.

Со своей матерью Храповицкий жил очень мирно, так как форма помешательства последней была, к счастью, не бурной и она только иногда делалась вредной, и тогда старалась делать сыну что-либо неприятное. Так, зная, что сын видит плохо и очень нуждается в своих очках, она раз выбросила эти очки туда, откуда, по словам Василия Алексеевича, их достать трудно. Он хотел этим словом указать на известное место, бывшее в Гнездовке действительно весьма примитивным и откуда что-либо достать было почти невозможно.

В Беяницы В. А. приезжал обыкновенно в своем допотопном экипаже, несколько похожем на кибитку, поставленную на колеса. Вез его единственный во всей усадьбе служащий

Кузьма, бывший одновременно сторожем, и кучером, и садовником, и всем прочим. В экипаж были запряжены два простых русских коня почтенного возраста, замечательные только по своим громким именам: Барс и Леопард. Второй из них, гнедой мерин, имел одну удивительную особенность: копыта на его задних ногах отрастали с изумительной быстротой и т. к. в Гнездовке не было ни кузницы, ни кузнеца, и лошади ковались только по зимам, то летом Леопард, казалось, был обут задними ногами в большие калоши. Когда В. А. проезжал по нашему селу, то все мальчишки кричали ему: "Василий Алексеевич, почему у твоего Васьки ляпа длинная?" Более всего странно, что в выходке мальчишек В. А. более всего оскорбляло демократическое прозвище "Васька", которое они давали его гордому Леопарду.

Кроме вышеописанных наших Беянических соседей, было еще много других, но более отдаленных, с которыми мы виделись не так часто.

Возвращаясь к самым Беяницам, я хочу вкратце описать то учреждение, которое в дореволюционное время составляло главную примечательность, благодаря которой Беяницы были широко известны во всей округе. Я говорю о сооруженной моим отцом больнице и богадельне в память его матери Екатерины Степановны, или, как было сказано на вывеске над въездом в ограду главного дома, о "Беяницком Екатерининском приюте для больных и убогих".

Всего в этом приюте было три здания. В первом, самом большом, помещались: ожидальня для больных, консультационная, аптека, две палаты богадельни, мужская и женская, где жили престарелые служащие. Во втором здании, позади первого, помещалась квартира фельдшера. В третьем здании, еще далее сзади, — кухня и баня.

Поначалу во главе пункта стоял фельдшер, обыкновенно горький пьяница, и ничего хорошего из этого не выходило. Затем моя мать, узнав об открытии в Петербурге женских фельдшерских курсов, обратилась туда с просьбой выбрать кандидату для занятия места во главе Беяницкого фельдшерского пункта. Она получила оттуда ответ, что дирекция рада иметь воз-

можность рекомендовать ей Марию Николаевну Борисову, только что окончившую с отличием первый выпуск из этих фельдшерских курсов. Летом, кажется, 1884 года в Беляницы прибыла новая фельдшерица — скромная, маленького роста, со значительной косоглазой, но с удивительно приятным выражением лица. Такою же приятною она оказалась и по своему разговору, обнаружив сразу недюжинный ум, здравомыслие и массу добродушного юмора, проникавшего все ее разговоры.

С крестьянами-клиентами она также сразу взяла верный тон, простой, искренний и чуть-чуть грубоватый, не позволяющий уклоняться от существа дела во время консультаций. Упорная и самоотверженная работа сделали дальнейшее и разбили глубоко коренившееся в душе простолюдина недоверие к ученой девице и подозрительность в отношении самой медицинской науки.

Мало помалу работа больницы все расширялась, главным образом в отношении амбулаторного приема, которому пришлось подчинить остальное. Вскоре были упразднены две палаты богадельни, куда вселилась назначенная вновь помощница Марии Николаевны, повивальная бабка, она же — провизорша в аптеке. Через несколько лет такой самоотверженной работы, в обычные будние дни в ограде больницы стояло уже до двадцати телег приезжих больных, а по воскресеньям это число доходило до ста и более подвод, без перерыва друг друга сменявших. Были случаи, когда больные приезжали из-за города Бежецка, проезжали через этот город мимо тамошней больницы с несколькими при ней врачами, и ехали еще двадцать верст от Бежецка, чтобы добраться до Марии Николаевны. Я думаю, что такой факт говорит сам за себя более красноречиво, чем это мог бы сделать я.

При наступлении Великого Поста Мария Николаевна приостанавливала работу ровно на одну неделю и ездила на это время, чтобы говеть, исповедаться и причаститься в церкви Бежецкого кладбища. Вот и весь отдых, которым она пользовалась в течение своей свыше тридцатилетней службы в Беляницах[...]

Б. А. Татищев

В НИКОЛЬСКОМ-ОБОЛЪЯНОВЕ

Наша семья провела в Никольском (Говорушки-Оболяново, Дмитровского уезда Московской губ.), два лета и одну зиму с 1916 по 1918 г.

Это было тогда совсем запустелое имение с заброшенными хозяйскими пристройками и большим красивым барским домом посреди обширного старого парка, раскинутого на вершине небольшого холма. Двухэтажный барский дом с колоннами в стиле русского емпіге с двумя крытыми галереями по бокам был построен в сороковых годах прошлого столетия. В парадных комнатах были чудные расписные потолки, причем роспись эта была настолько красива, что в 1915 г. Академия Художеств прислала своего художника, чтобы скопировать их узоры. Это не был дворец, как Останкино или Архангельское, но дом и парк были настолько хороши, что в 1862 г. императрица Мария Александровна хотела провести в Оболянове лето. Дом был осмотрен и одобрен Дворцовым Департаментом и приезд императрицы не состоялся только потому, что в следующем году государем было куплено Ильинское.

Парк был очень большой, с большими деревьями и тремя огромными копанями от руки прудами, где можно было хорошо кататься на лодке. В двух дальних углах парка были каменные беседки, откуда открывался вид в далекую даль.

В мое время дом и парк служили как место летнего отдыха, оранжереи были сданы в аренду, а все земли кругом были отданы почти даром в пользование местным крестьянам. Но всюду видно было, что при жизни предыдущего поколения, т.е. графа Адама Васильевича Олсуфьева, здесь было образцовое хозяйство и заботливый глаз хозяина. Село Никольское перешло к *гр. Олсуфьевым* после женитьбы гр. Адама Вас. на Анне Михайловне Оболяниновой в 1856 г.

До этого Никольское принадлежало Петру Хрисанфовичу *Оболянинову*,* генерал-прокурору и любимцу Павла I, Андреевскому кавалеру и, после смерти Павла I, долгие годы Московскому губернскому предводителю дворянства. Незадолго до

* П. Х. Оболянинов (1752-1841)

смерти, когда Павел I начал подозревать возможность покушения, он поручил Оболянинову привести к новой присяге своих сыновей Александра и Константина. Петр Хрисанфович был малообразованным, глубоко религиозным, суровым служакой гатчинского закала. С его времен в Никольском сохранилась довольно большая по тем временам библиотека со многими редкими изданиями. Я еще видел среди них в 1916 г. несколько книг совсем старого письма, времен царя Алексея Михайловича. В библиотеке стоял также бюст Петра Хрисанфовича и помню, как мы, дети, боялись ходить туда в сумерки.

Оболянинов был женат на вдове Анне Александровне *Ординой-Нащекиной*, рожд. *Ермоловой*, он умер в 1841 г. и все свое огромное состояние оставил своему племяннику Михаилу Михайловичу Оболянинову, полковнику Преображенского полка, потерявшему ногу под Бородиным.

Дочь последнего от брака с кн. Елизаветой Михайловной *Горчаковой*, Анна Мих. Оболянинова вышла замуж за гр. Адама Вас. Олсуфьева и с нею Оболяново перешло к Олсуфьевым. Сначала молодые Олсуфьевы очень много вращались в придворных кругах: он был в 23 года адъютантом государя, впоследствии генерал-адъютантом, она — фрейлиной, и они больше жили в Петербурге и только на летние месяцы приезжали в Никольское. Но в конце семидесятых годов, особенно после неожиданной смерти их старшего сына Василия в 1875 г., Анна Михайловна отошла от двора, света и церкви и стала увлекаться медициной и натуральными науками.

В 1868 г. она построила в Никольском сельскую школу и больницу, причем оставила специальный фонд на ее содержание. Отказалась от выкупных платежей за крестьянские наделы, так что крестьяне все свои земли получили даром.

После смерти Василия семья Олсуфьевых состояла из родителей их старшей дочери Лизы и двух сыновей, Миши и Мити. Сыновья учились сначала в Поливановской гимназии, а потом кончили Московский университет по естественным наукам. Никто из них впоследствии не женился. Про Елизавету Адамовну я всегда и от всех ее знавших слышал самые теплые и милые отзывы. Она всюду вносила тепло, радость и любовь. Она умерла сорока лет в 1896 г. также скоропостижно, от скарлатины, как и

ее брат Василий. "Закатилось мое солнышко", — сказал осиротелый отец, провожая ее гроб.

Весной 1871 г. к мальчикам Олсуфьевым поступил воспитателем доктор Илларион Иванович *Дуброво*. Он был фанатиком естественных наук и медицины и имел большое влияние на дальнейшее развитие семьи Олсуфьевых. Он умер героической смертью в 1883 г., делая операцию одной молодой девушке, приехавшей в Москву на коронацию Александра III и заболевшей острой формой дифтерита. Он втянул в себя через трубочку дифтеритную мокроту больной, сам заболел дифтеритом и умер. *Л.Н. Толстой* сказал тогда, что в этом человеке чувствовалась какая-то сила необыкновенная. Л.Н. Толстой был близким другом семьи Олсуфьевых и часто гостил в Оболянове, проводя там иногда по несколько недель сряду. Зимой 1894 г. он провел на Рождество целый месяц в Никольском и закончил в это время свою повесть "Хозяин и работник". *Менделеев*, который тоже имел имение в Дмитровском уезде, несколько раз бывал в Никольском, и в 1882 г., когда в Оболянове была устроена астрономическая станция для наблюдения за солнечным затмением, поднялся во время затмения на аэростате. В 90-х годах на святках на любительском спектакле в Никольском выступал тогда никому неизвестный *Д.К. Смирнов* и своим пением арии из "Русалки" произвел на моего дядю Дмитрия Адамовича такое впечатление*, что он стал уговаривать Смирнова посвятить свою жизнь пению. Впоследствии Д.К. Смирнов стал знаменитостью, был очень благодарен Дм. Адамовичу и часто при встречах ему об этом напоминал. В мое время владельцем Никольского был наш опекун и двоюродный дядюшка, Михаил Адамович Олсуфьев.

Михаил Адамович был редко милый, скромный и добрый человек и был всеми очень любим, особенно молодежью, которая всегда чувствовала себя очень уютно в его обществе. Он был

* Из воспоминаний кн. Павла Долгорукова ("Великая разруха", Мадрид, 1964 г.): "Д. А. Олсуфьев мужественно приютил меня в Мерзляковском переулке, где я прожил до осени... В Дмитрове у Д. Олсуфьева. *гр. С. Л. Толстой* (сын писателя). Старик *кн. Кропоткин* снимал комнаты у Олсуфьева в виде дачи. Он очень мирный и национальный анархист".

закоренелый холостяк и моя мать всегда находила, что в нем много обломовского. Он был богат, но делами своими занимался по малости и все земли свои отдавал за бесценок крестьянам в аренду, был долголетним предводителем дворянства Дмитровского уезда и жил обыкновенно между Москвой и Дмитровым, где у него были свои дома, а лето проводил урывками в Оболянове. В Москве у него был большой автомобиль с шофером Гаврилой, но Мих. Адамович очень редко им пользовался. В Дмитрове у него стояла пара красивых рысаков, ездить на которых он избегал, т.к. они раз его понесли и, приезжая поездом из Москвы в Дмитров, он брал на станции извозчика.

Кучер его Алексей Тимофеевич Алешин был видный и красивый мужчина лет 50 с густыми серебристыми волосами и бородой, и когда он в своей кучерской поддевке садился на козлы, то занимал их полностью. Он, по-видимому, страдал почками, и я помню раз, когда мы с дядей Мишей ехали из Дмитрова в Никольское 20 с лишним верст, Алешин несколько раз по дороге ронял кнут: "Ах, я кнут обронил!", — давал мне вожжи, а сам бежал назад за коляску искать кнут и возвращался не слишком скоро.

Из старых служащих помню еще старика Павла Александровича — фамилии его не помню. Это был крещеный еврей, которого мой grand oncle Адам Вас. привез как-то мальчиком кровельщиком из Литвы. Павел Александрович застрял в Оболянове, принял православие, женился на местной женщине и спокойно доживал свой век в одном из флигелей Никольского. Про него рассказывали, что когда он приехал в Никольское, он плохо говорил по-русски и вот моя grande tante Анна Михайловна, которая плохо говорила по-немецки, как-то имела с ним такой диалог:

— Павел Александрович, wo sind die Vachen?

— Die коровен sind in загон gegangen, — отвечал ей Павел Александрович.

Говоря о жителях Никольского, мне хотелось бы еще упомянуть об одном их близком соседе, Косте Родионове. Это был молодой человек, который после окончания Московского университета поселился у себя в имении. Раз как-то, зимой 1917-1918 гг., он приехал к нам в Никольское и сказал, что он мог бы усту-

пить нам часть своей квашеной капусты. В Никольском эту зиму нас жило около 15 человек молодежи и с питанием было очень трудно. И вот на следующий день мы отправились к нему целой экспедицией, кто на лыжах, кто на снях, за капустой. Костя нас очень мило принял, угостил всех "голым" чаем с хлебом и очень извинялся, что не может сегодня дать молока, т.к. у него с садовником одна корова, которую они доят по очереди, и сегодня черед садовника. Меня это всегда поражало, как это, имея такие чудные имения под самой Москвой, наши помещики не занимались ими и жили скорее в бедности, пользовались своими усадьбами как дачами, а сами порхали по столицам и заграницам.

В марте 1918 г. после долгой болезни скончался в Дмитрове наш милый дядя Миша, 58 лет. Его хотели похоронить в Никольском, где в церковной ограде были могилы его родителей, брата и сестры с очень красивыми большими осьмиконечными крестами из белого мрамора. Этот год в марте была весна в полном разгаре, снег сошел и большая дорога из Дмитрова в Обольяново представляла из себя море грязи в версту шириной, где телеги увязали по ось.

К Дмитрию Адамовичу, брату покойного, пришла делегация крестьян из местных деревень и заявила, что они знают о желании покойного быть похороненным в Никольском, и в память его доброты они берутся доставить его тело в Никольское.

На следующий день собралось около 50 человек местных крестьян и они, со священником во главе, на плечах принесли гроб в Никольское. Дмитрий Адамович и мои два старшие брата шли с ними. Когда процессия проходила мимо большой мануфактурной фабрики в Яхроме, толпа рабочих высыпала на улицу и все думали что они остановят шествие. Они действительно его остановили, но все сняли шапки и попросили батюшку отслужить панихиду. После панихиды процессия двинулась дальше, и к вечеру гроб был поставлен в Никольской церкви.

На следующий день при совсем полной церкви отслужили заупокойную литургию и тело предали земле, поставив временный белый березовый крест, который никогда потом не был заменен мраморным.

Так был похоронен добрый, скромный и всеми любимый

граф Михаил Адамович Олсуфьев, последний владелец Никольского-Оболянова.

А в это время в Москве уже было красное правительство, Бутырки были переполнены и всюду разгорался красный террор.

гр. Ю. Олсуфьев

Май 1973 г.

ЧАЯНИЯ НАРОДА ИЛИ ЧАЯНИЯ НАРОДОВ?

Через год Советский Союз будет праздновать семидесятилетие "Великой Октябрьской Революции". Взорванная революцией в 1917 году, Российская Империя распалась на части, от нее откалывались национальные окраины, образовывались независимые государства. Но вскоре, приобретя политическую и военную силу, центральное правительство в Москве, не стесняясь в средствах и методах, стало восстанавливать свою власть в пределах географических границ Российской Империи. Этот процесс был успешно закончен в 1945 г., причем общая площадь территории СССР оказалась на 2,8% больше территории Российской Империи — за счет аннексии части территорий Польши, Германии, Румынии, Финляндии и Японии.

За прошедшие десятилетия Советский Союз превратился из аграрной страны с малоразвитой промышленностью, с отсталым, наполовину безграмотным населением, в государство с мощной индустрией, передовой техникой и почти стопроцентно грамотным населением. Есть все основания предполагать, что если бы процесс развития России, начавшийся еще в прошлом столетии, не был прерван революцией и гражданской войной, а продолжался естественно, с нормально ускоряющимся темпом, то экономические и культурные показатели России были бы выше тех, которыми хвастается Советская Власть. Но это —

* Печатается в порядке дискуссии. — *Ред.*

теоретическое предположение. Как бы там ни было, во второй половине нашего столетия Советский Союз превратился во вторую мировую "сверхдержаву", противопоставив себя политически, экономически и идеологически другой "сверхдержаве", Соединенным Штатам Америки. Но именно это положение "сверхдержавы" таит в себе историческую опасность для дальнейшего существования СССР. Основная философская доктрина страны, марксизм, модифицированный Лениным и его последователями, превратился ныне в тормоз на пути дальнейшего развития советского общества.

Марксистская тоталитарная система управления сейчас превратилась в барьер, задерживающий развитие эволюционного процесса — нормального процесса развития. Коммунистический Китай, следовавший в первые десятилетия по стопам Советского Союза, прошел путь от "военного коммунизма" (т.н. "культурной революции") до развенчания марксизма в ускоренном темпе: "То, что было написано 100 лет тому назад, не обязательно хорошо и правильно сегодня!"

А в Советском Союзе по-прежнему, скрипя, функционирует закостенелая система сверхцентрализованного руководства и планирования в промышленности, и в особенности в сельском хозяйстве страны, совершенно несовместимая с требованиями новейшей технологии. Но для того, чтобы оставаться на положении "сверхдержавы", недостаточно идти наравне или несколько впереди других стран только в одной области — количества и качества средств уничтожения.

Чем меньше в стране централизованного административно-политического давления, тем выше там стандарт жизни. Люди всех профессий и всех уровней жизни бегут не из стран свободного капитализма, основанных на демократических принципах, в страны социалистического тоталитаризма, но в обратном направлении — из социалистического "рая" в капиталистический "ад". Хотя для существующего в СССР режима всякие реформы, ослабляющие контроль центра, смертельно опасны, однако, они неизбежны, без этих реформ отставание стран социалистического блока и, в первую очередь, СССР, от стран свободного мира будет расти в угрожающей прогрессии.

Ощущаемая в воздухе историческая неизбежность измене-

ний в Советском Союзе порождает бесконечное количество обоснованных или необоснованных, умных или глупых, осторожно-сформулированных или грубо-крикливых статей, рассуждений, предположений и прогнозов во всей мировой прессе, включая и нашу, эмигрантскую. Создаются теории, делаются анализы, приводятся рецепты, советы, идеологические и политические, предлагаются новые формы будущего устройства страны, высказываются надежды и требования... что и как делать со шкурой еще вполне живого, сильного и свирепого медведя.

Одно совершенно ясно, что как в случае решительных сдвигов эволюционного характера, так и в случае революционного взрыва, все наши зарубежные писания и рецепты будут иметь весьма малое влияние на развитие событий "там".

Первая волна эмиграции почти уже полностью ушла в лучший мир, а те, кто еще подает голос, 65 лет тому назад оторвались от жизни страны, стопроцентно "озападнилились" и их понимание процессов развития жизни в СССР весьма проблематично.

Людей из второй, послевоенной волны эмиграции, пишущих, думающих о своей прежней жизни в "самом свободном и демократическом государстве в мире", тоже становится все меньше и меньше; сорокалетний отрыв от страны в значительной степени повлиял на притупление понимания того, что там происходит. Ведь почти наглухо закупоренный в атмосфере советского псевдомарксизма, изолированный от мира народ за прошедшие 45 лет как-то развивался, реагировал на внутренние и мировые события, и необязательно по передовицам "Правды" и "Известий", а по-своему.

Потомки этих двух эмигрантских волн, родившиеся и воспитавшиеся здесь, на Западе, и пытающиеся рассуждать о будущем родины своих отцов, в лучшем случае знакомые с бытом и настроениями 275 миллионного населения "Страны Советов" по впечатлениям от редких туристских поездок туда, а главным образом, по источникам мировой прессы, обычно страдают наивностью и ностальгией своих отцов или предвзятым западным отношением к тому, что происходит в СССР.

Во всех высказываниях большинства представителей третьей волны эмиграции отсутствует главное — любовь к стране, в

которой они родились и выросли и к ее населению, в особенности к русским.

Оставляя в стороне все разнообразие вопросов, связанных с будущим бывшей Российской империи, преобразованной ныне в империю "СССР", не предугадывая форм этого будущего и путей, ведущих к нему, эволюционных, революционных или еще каких-либо других, я хочу остановиться только на одном вопросе, при любых обстоятельствах имеющем первостепенную важность. Это так называемый "национальный вопрос". На эту тему меня натолкнула статья О. Полякова, помещенная в 18-й книге журнала "Вече" — "Западный мир и чаяния русского народа".

На 17-ти страницах текста статьи, посвященной обсуждению политической борьбы против коммунизма вообще и его советской разновидности, в частности, только в одном месте встречается глухое упоминание о том, что в Советском Союзе, кроме русского, живут и другие народы: "Преступная, антинародная советская власть на нашей Родине, поработившая русский народ и *другие народы* бывшей Российской Империи..." Возможно, что такое второстепенное положение "других народов" диктуется ограниченной темой статьи, определяемой в ее названии. Но все же...

В Советском Союзе из почти 275 миллионов населения этнически русских не больше 50%, а остальная часть представляет собою целый ряд совершенно разных по культуре, происхождению, религии, быту и традициям этнических групп. При образовании СССР эти этнические группы были организованы в отдельные национальные республики со своими исторически им принадлежавшими территориями, часто по населению и площади равными, а иногда и превосходящими некоторые страны Европы.

Ныне чувство принадлежности к определенной национальности у каждого подсоветского человека весьма сильно и определено. Послереволюционная эмиграция была в основном национально однородной. Военные, выходцы из различных этнических групп, называли себя офицерами Русской Императорской Армии и безусловно чувствовали себя таковыми. Интеллигенция, ушедшая в изгнание, также считала себя русской,

независимо от места рождения или исторических корней своего происхождения. Вследствие этой всеобщей "русскости" и все эмигрантские организации были русскими.

Послевоенная эмиграция, через 25 лет следовавшая в изгнание за своими старшими собратьями, уже сразу, в первые дни, глубоко и решительно расслоилась по чисто национальному признаку. В лагерях "ДП" и впоследствии, при устройстве своей жизни в Европе, Америке, Австралии или еще где-либо, эти национальные группы Второй волны эмиграции не только не смешивались, но и враждовали, что продолжается и по сей день после 45 лет совместного существования в свободном мире.

И, наконец, эмиграция 70-х годов, т.н. "Третья волна", в основном еврейская и не политическая, как первые две, а скорее, "экономическая", по ряду причин недружелюбно настроенная к двум первым и также не возбудившая их симпатий, живет своей жизнью в новом для них мире.

Говоря о будущем огромной страны от Балтийского моря до Тихого океана и от Тянь-Шаня до Северного Полюса, о путях ее освобождения от коммунистического ярма, необходимо понять одну основную истину: "Единая и Неделимая Россия" погибла в огне революции 1917 года и никогда уже не возродится. Пока, в силу его численности, ведущее положение русского народа в СССР еще за ним сохраняется. Но с каждым годом, и в процентном отношении ко всему населению и в смысле влияния на жизнь Советской империи, роль русского народа не увеличивается, но уменьшается. Если в славянских республиках за 33 года прирост населения едва превысил 20%, в азиатских республиках он достиг солидной цифры в 140%.

И это не только количественное изменение. Семьдесят лет тому назад эти окраинные районы были заселены "такими-то инородцами, иноверцами", дикими кочевыми племенами, "сартами", суеверными мусульманами, управляемыми беями и муллами и жившими в многовековой застенелости своего быта. Сейчас, в конце нашего столетия, это национальные республики хотя и советского толка, но со своим национальным прошлым, историей, культурой, традициями и религией, со своей национальной интеллигенцией — академиками, учеными, инженерами, докторами, артистами, писателями, музыкантами.

В Советском Союзе больше 40 миллионов мусульман. Средне-азиатские республики имеют свою хорошо развитую индустрию, сельское хозяйство, часто более продуктивное, чем в центральных "славянских" республиках и достаточное количество людей, могущих руководить национальным хозяйственным и культурным развитием.

В Российской империи политическим, административным, хозяйственным и культурным центром была европейская часть России, а царское правительство успешно управляло далекими полудикими, национально слабыми окраинами. Центроостремительное движение от окраин к центру было обусловлено самой жизнью страны. В современной Советской империи все более крепнут центробежные, националистические силы, стремящиеся ослабить контроль центральной власти.

Главным орудием режима, позволяющим ему пока держать под контролем центробежные националистические тенденции, является коммунистическая партия Советского Союза. Все руководство на местах находится в руках членов партии. Их личные интересы неразрывно связаны с коммунистической партией, они работают на нее "не за страх, а за совесть", ибо только наличие в кармане партийного билета дает им индивидуальную ценность, силу, власть и финансовое благосостояние. Однопартийная монополия единой коммунистической партии — единственная сила, обеспечивающая существование единого Советского Союза. Но именно эта система всеобъемлющей централизации является тормозом на пути дальнейшего развития государства во всех областях.

Познание природных физических законов и использование их для нужд технологии производства — вещь непрерывная, последовательная и эволюционная. В науке, в любых ее отраслях, это движение вперед базируется на свободе мышления, пробах, ошибках, новых попытках, новых ошибках. В свободном мире продвижение идеи от момента ее зарождения, эксперимента, лабораторного подтверждения до налаживания массового производства нового продукта занимает во много раз меньший промежуток времени, чем в мире советском. В советских условиях даже в случае успешного освоения нового на лабораторном уровне, внедрение этого нового в производство часто не может

преодолеть страха новизны, свойственной сверхконсервативному, не экономически, а политически ориентированному руководству. Для советского руководства значительно проще, безопаснее и выгоднее подождать, пока это новое не пройдет ускоренным темпом свой путь от лабораторного опыта до готового фабричного продукта в свободном мире, а потом похитить эту оформленную мысль и запустить ее в производство у себя. Недаром Москва использует широчайшую сеть промышленного шпионажа в свободном мире.

Ленин был вынужден сделать шаг назад, т.е. допустить НЭП, чтобы потом иметь возможность сделать "два шага вперед", начав выполнение своей формулы "электрификация плюс социализм". Террор, безжалостная эксплуатация населения и природных ресурсов страны, политическая близорукость и разъединенность свободного мира, вывоз половины немецкой промышленности в СССР после войны дали возможность Сталину продолжать хотя и медленное, но все же поступательное движение советской экономики. Хрущев, а затем Брежнев в первую половину своего правления в основном следовали сталинским путем, облегченным для них развитием иллюзорного процесса "разрядки", в особенности в отношениях между СССР и США, оказавшегося на деле весьма прибыльным для СССР и убыточным для США. Вполне вероятно, что и Горбачеву удастся еще раз перехитрить Запад и этим помочь развитию хозяйства страны. Но и новый советский вождь не сможет заставить уставшую от коммунистического эксперимента страну, ее народ, рабочих, крестьян, интеллигенцию работать творчески, с энтузиазмом, без понуканий, кнута и принуждения ради "светлого будущего мирового коммунистического общества". Рабочие попрежнему будут пьянствовать, колхозники работать "полегоньку" и норовить удрать в города, а интеллигенция "выполнять социалистические заказы", презирая "заказчиков".

Я умышленно отклонился от моей основной темы о "национальном вопросе", чтобы подчеркнуть необходимость *коренных*, а не палиативных реформ всей системы. Только такие реформы могут вывести Советскую страну из того состояния паралича, в котором она пребывает.

Пока "единая, неделимая" коммунистическая партия

осуществляет руководство "единым неделимым" Советским Союзом, такие реформы проведены не будут. В будущем у народов 15-ти советских республик есть только два пути: или эволюционный процесс, более или менее ускоренный, который мог бы высвободить творческий потенциал подсоветских народов от регрессивного централистского давления Москвы, или революционные взрывы на периферии, которые, раз начавшись, могут привести к полному хаосу. И в том и в другом случае централизованная советская система, постепенно или внезапно, перестанет существовать, что повлечет за собой создание новых государственных образований чисто национального характера. Будет ли это полезно и политически дальновидно для новых государственно-национальных образований, вопрос сомнительный. Не исключено, что для стран, граничащих с рассыпающейся империей, может показаться заманчивым отхватить и себе кусочек. Но и в этом случае государство, образованное из собственно русских земель, на мировой арене будет серьезным политическим и экономическим конкурентом.

Тем не менее, во всех наших рассуждениях, прогнозах и надеждах на будущее говорить о "чаяниях русского народа", хотя и самого многочисленного и влиятельного в семье подсоветских народов, но все же представляющего лишь меньшую половину общего населения страны, не упоминая о чаяниях других национальностей, близоруко, неправильно и, пожалуй, опасно.

В своей статье О. Поляков пишет: "Именно это я стремлюсь доказать — чувство патриотизма, национальное чувство, самое сильное чувство в душе современного подсоветского человека". Совершенно правильно! Но это чувство — национальное и патриотическое — не является привилегией одних русских, а в одинаковой степени свойственно украинцам, узбекам, казахам, литовцам, эстонцам, грузинам, армянам и др. Забвение или игнорирование национального патриотизма других подсоветских народов *может принести большой вред общему делу борьбы против общего врага — советской власти.*

Советская власть отлично сознает наличие постепенно возрастающего фактора национального отталкивания, как и неуклонное ослабление "социалистического фактора сближения".

Поэтому она и старается найти пути для какого-то сближения хотя бы с основной частью населения центральных районов Союза, с русским народом. Если в политическом плане такое сближение труднодостижимо, то в плане чисто национальном оно имеет некоторый успех. В большой семье "равных народов" Советского Союза русские считают себя немного "более равными", чем другие, что имеет глубокие исторические корни в прошлом. Эксплуатируя имперские чувства русского народа, Советы подсовывают ему идею о аутентичности коммунистической идеологии с чаяниями русских; у коммунистической пропаганды чаяния русских оказываются тождественными "чаяниям" Советской власти. Это привлекает симпатии той части русской эмиграции, для которых украинцы до сих пор остаются "малороссами", литовцы, эстонцы и латыши — "балтийцами", таджики, узбеки и казахи — "инородцами", "сартами" и т.д.

На этот трюк коммунистической Москвы указывает и О. Поляков, отмечая: "На практике мы видим какое-то сближение советской власти с русскими националистами. Словарь, используемый советской пропагандой, часто схож со словарем русских националистов".

Если русские националисты там, в СССР, или здесь, в эмиграции захотят при построении новой послесоветской России следовать той же идее "единой и неделимой", то это не принесет ничего, кроме разлада, недоверия и антагонизма.

Неоднократно упоминая о национально-патриотических чувствах русского народа, Поляков ни разу не говорит о таких же чувствах других народов в пределах границ Советского Союза. Поляков пишет: "Русский народ пойдет на борьбу с коммунизмом и советской властью только если будет уверен, что будет обеспечено его национальное бытие и существование его государства". Какого государства? "Единой и неделимой"? А если обеспечено не будет, тогда что? Тогда, быть может, русский народ предпочтет свободной, но значительно уменьшившейся в размерах некоммунистической России "единый и неделимый Советский Союз"? И снова: "Это должен понять Запад: единственный путь, реальный, ведущий к успеху борьбы с коммунизмом, это путь политической борьбы в союзе с русским народом. А для этого нужно, чтобы русский народ имел приемлемую для

него альтернативу советской власти. Непременным элементом этой альтернативы является удовлетворение национальных чаяний русского народа". А как быть с чаяниями других национальностей Советского Союза? Ведь их чаяния не обязательно совпадают с чаяниями русского народа, а могут быть даже и резко противоположными. Это путь не к победе над коммунизмом, но путь к полному поражению. Только когда чаяния русского народа будут гармонично согласованы с чаяниями других народов СССР, только тогда может быть начата общая борьба с надеждой на успех. И тогда будущее свободной России, в чисто географическом понимании этого слова, может быть предположено, скажем, как некая свободная федерация, объединенная общей конституцией для защиты своих границ, общего экономического процветания.

Сейчас нет смысла делать предположения о будущих государственных образованиях на всей огромной территории СССР, освобожденной от коммунистической власти в Москве. Некоторые национальные республики, возможно, и не захотят превращаться в абсолютно самостоятельные государства, так как это было бы губительно для их экономики хотя бы, тогда как другие станут независимыми немедленно. Литва, Латвия и Эстония, ставшие суверенными государствами после революции 1917 года, в течение 20-ти с лишним лет процветали и с успехом занимали свое место среди семьи европейских народов. Вероломно уничтоженные Сталиным, воспользовавшимся событиями 1939-1941 годов, и превращенные в "социалистические республики" в рамках СССР, они, безусловно, должны снова стать самостоятельными, если только к тому времени они не будут полностью русифицированы. Особенно опасно в этой смысле положение в Латвии.

Среднеазиатские республики, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан, объединенные общностью религии, имеют все возможности для самостоятельного (если они сумеют преодолеть навязанную М. Фрунзе национальную чересполосицу) или группового, независимого от России существования.

Центральное и самое важное место в разрешении "национального вопроса" — независимость Украины, второй по насе-

лению и экономическому значению национальной республики Советского Союза. Со своими 50 миллионами населения на площади 1,4 мл. кв. км., с первоклассным климатом, огромными природными ресурсами, идеальной почвой для сельского хозяйства, широкоразвитой индустрией и рядом крупных культурных центров, Украина несомненно обладает всеми возможностями, чтобы стать богатым и крупным, по европейским масштабам, самостоятельным национальным государством. Самостоятельное суверенное существование Украины не будет новым экспериментом. Ослабевшее от бесконечных войн с турками, татарами и поляками Украинское государство вынуждено было просить защиты и помощи у сильной Московской Руси, заключив в 1654 году Переяславский договор, что постепенно привело к потере украинской самостоятельности, превратило Украину в "Малороссию", в конце концов разделенную Екатериной II на три губернии и в таком виде окончательно присоединенную к Российской Империи. Но в 1917 г., вскоре после революции, Украина снова стала суверенным государством, признанным главными европейскими и заокеанскими странами.

Однако, через два с половиной года страна была оккупирована Советской Россией, не без помощи своих же украинцев-коммунистов. Националистические тенденции в массе украинского населения всегда были сильны, а присоединение Западной Украины в 1939 году эти тенденции только усилило. Несмотря на до некоторой степени искусственность границ Украины и значительную часть этнически смешанного населения, с падением центрального коммунистического режима в Москве вопрос об отделении Украины встанет во весь рост. Несмотря на этническую близость русского и украинского народов и религиозную общность, идея независимости глубоко вошла в сознание мыслящей и передовой части украинского народа.

Есть еще одно интересное место в статье Полякова: "И даже о самых крупных государственных работников в Советском Союзе нельзя сказать с уверенностью, что они вполне верны коммунистическому режиму. Все же мне кажется, что особые надежды подает армия. Она полностью под контролем русских, много в ней патриотически настроенных людей, любящих свою страну и свой народ". Но армия, как и все население Советского Союза,

тоже многонациональна по своему составу. И в этом одна из ее слабостей. Об этом писалось и пишется в мировой прессе, об этом неоднократно, хотя глухо и завуалированно, писалось в центральном органе советской армии, "Красной Звезде". При использовании армии вне страны, как, например, в Чехословакии или Афганистане, а также при подавлении внутренних волнений эта национальная разнородность командованием учитывается, в особенности после неоднократных ошибок и промахов в прошлом.

В начале войны 1941-1945 годов первыми частями, бросавшими оружие и массами сдававшимися в плен были части с преобладающим нерусским составом. Восточные батальоны, сформированные немцами и использованные ими на берегах Ла Манша, состояли главным образом из пленных калмыков, казахов, узбеков и других национальностей Средней Азии. После войны Автономная Татарская Республика в Крыму была полностью ликвидирована вследствие массовой "коллаборации населения с врагом".

При оккупации Афганистана командование Красной Армии было вынуждено срочно сменить боевые дивизии с большим процентом солдат из среднеазиатских республик на дивизии из центра России или Сибири. Основные части, использованные при подавлении восстания в Венгрии или в 1968 г., в Чехословакии были почти полностью укомплектованы солдатами из Восточной Сибири или далеких северных окраин страны.

Для советской армии характерно расслоение по "горизонтали". Вся ее верхушка, командование и элитные части — авиация, ракетные, войска, тяжелая артиллерия, танковые корпуса, радарные части, морской флот, укомплектовываются, в основном, русскими, белорусами и украинцами, т.е. славянами, а стрелковые дивизии, "пушечное мясо" — новобранцами из национальных республик, т.е. "азиатами". "Верхние этажи" армии, действительно находящиеся под контролем представителей русского народа, не доверяют современной военной техники "нижним, неславянским этажам". "Верхние этажи" значительно лучше обмундированны, их лучше снабжают, лучше кормят, лучше оплачивают, у них лучшие жилищные условия и они пользуются большими привилегиями по сравнению с "населением нижних

этажей" в многоэтажном здании Вооруженных Сил Советского Союза.

Антагонизм, чувство недоверия и явной кастовости во всем организме советской армии с годами возрастают, параллельно росту рекрутского резервуара, пополняемого не за счет русского и даже славянского населения страны, но за счет населения окраинных национальных республик вследствие его стремительного процентного роста. Если в акциях вне страны главную роль играют элитные части советской армии, то, в случае необходимости употребления армии на "внутреннем фронте", эти части почти неприменимы.

Использовать боевую авиацию, морской флот или танковые дивизии против внутреннего врага вряд ли возможно и целесообразно. При крахе центрального аппарата насилия и принуждения в Москве никакой контроль русской армейской элиты не сможет удержать армию от развала, а уж тем более заставить массы нерусских красноармейцев бороться и отдавать свои жизни ради осуществления "чаяний русского народа".

Советский Союз, управляемый и контролируемый коммунистической партией — мафией, приближается к моменту, когда изменения в его структуре и в методах администрации власти вынуждаются самой исторической необходимостью. Но при любом раскладе вещей — ускоренном эволюционном процессе, или внезапном революционном взрыве — национальной вопрос будет иметь первостепенное значение.

В конце Второй Мировой войны, 14 ноября 1944 года, был обнародован так называемый "Пражский Манифест" Комитета Освобождения Народов России, единственной организации, представлявшей и возглавлявшей массовое, воистину народное многонациональное движение, направленное на борьбу с коммунизмом и ставившее своей целью свержение Советской власти. В одном из самых первых параграфов политической платформы, определяющей пути и цели всего Освободительного Движения, было сказано: "В основу новой государственности народов России Комитет кладет следующие главные принципы: 1. Равенство всех народов России и действительное их право на национальное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность". Сейчас, в 1986 г., эти слова "Пражского Манифеста" еще более актуальны.

П.Н. Палий

ХРИСТИАНСТВО И КОМУНИЗМ

Все чаще приходится слышать и читать, что Горбачев ничего не изменит, никаких реформ не введет и что советский коммунистический режим останется таким, каким он был, окончательно сложившись в эпоху Сталина. Мы помним, что кратковременная хрущевская "оттепель" и реформы, которые пытался провести генсек-самодур, окончились его позорным изгнанием. Я тоже думаю, что никакой либерализации от Горбачева ожидать нельзя. Если же на Западе и в самом Советском Союзе существуют наивные люди, которые в приходе к власти Горбачева усматривают некий либеральный просвет, то это всего лишь оптический обман, просто "более умелый камуфляж политики, которая в своей сущности остается прежней", как отмечала парижская "Ле Монд" в одной из своих передовых статей.

К сожалению, то же самое следует сказать о политике Запада по отношению к СССР. Ее цель остается прежней: побольше торговать с Москвой, даже продавая ей передовую технологию, ни в коем случае не критиковать Ленина, не трогать "советских святых".

Процесс изживания коммунизма в Советском Союзе, будет, по всей вероятности очень длительным. Мне все же кажется, что существует возможность этот процесс ускорить. Но здесь вступают аргументы, с которыми многие могут и не согласиться. Я дерзаю их изложить, потому что они являются результатом

*Статья публикуется в порядке дискуссии.

долгих размышлений над сущностью коммунизма и, как следствие, над всем, происходящим в мире.

Что такое коммунизм или, как его еще называют, "научный социализм"? Взяв пример Советского Союза, в котором он осуществляется вот уже скоро семьдесят лет, можно утверждать, что коммунизм, прежде всего, — *религия* (конечно, с отрицательным знаком). Он основывается исключительно на *вере*: дает обещания, которым все граждане обязаны слепо верить, несмотря на то, что ни одно из них не сбывается, о чем каждый советский человек знает по собственному опыту. Где свобода? Где благосостояние? Где "каждому по потребностям", если даже хлеб приходится покупать за границей?

В том, что касается коммунизма, дело не в одних только коммунистических странах, где власть держится насилием. В коммунистических партии свободных стран никого насилием не загоняют и большинство их членов отлично знает об условиях несвободы, в которых живут коммунистические страны. Значит, коммунист на Западе, в принципе, *верит* в "светлое будущее", обещанное ему его партией.

Коммунистической псевдорелигии должна быть противопоставлена религия истинная. И такой религией может быть только *христианство*. Это не значит, что христианство выше иудаизма, буддизма, магометанства, индуизма и т.д., но коммунисты украли, исказив и приспособив для своих нужд, именно христианские истины и положения.

Для меня христианство может быть только *единым*, а не разделенным на несколько церквей, не говоря уже о сектах. Мне представляется кощунственным присвоение полноты христианской истины той или иной церковью (к примеру, католическая церковь, считая, что полнота истины принадлежит только ей, на экуменических съездах и конференциях представлена лишь "наблюдателем", как будто представители других церквей могут ее осквернить). В "Сокращенном кодексе христианской жизни" известного французского кардинала Д.Ж. Мерсье на первом месте стоит "Символ Веры", на втором — "Десять заповедей", на третьем — "Пять церковных заповедей", на четвертом — "Отче наш". Не думаете ли вы, что молитву, данную самим Христом, следовало бы поместить если не на первом месте, то, во всяком

случае, на втором? В то же время "Нагорная проповедь", то есть изложение сущности Христова учения, данное самим его Основателем, в "кодексе" Мерсье отсутствует. Отсутствуют и вот эти слова Христа: "Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Матф. 6, 6) и дальше — "И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах" (Матф. 23, 9). Подобное характерно и для других Церквей.

Но главное в том, что, по словам Н. Бердяева, "историческое христианство охладилось, стало невыносимо прозаично, приспособлено к обыденности, к мещанскому быту. К Богу неприменимы наши категории. Их так усердно и так принудительно применяли, что стало стыдно употреблять священное слово Бог... Понимание Бога и Богочеловека-Христа, как судьи и карателя, есть лишь выражение человеческого состояния, человеческой тьмы и ограниченности, а не истины о Боге и Богочеловеке-Христе" ("*Самопознание*"). То, что человек был создан "по образу и подобию Божию" отнюдь не значит, что он может судить о Боге по "образу и подобию" человеческому и что на небе существует некая канцелярия по человеческим делам.

Как часто люди, считающие себя христианами, забывают слова ап. Павла: "А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша" (I. Кор. 15, 14), сосредоточиваясь на обрядах и традициях.

Сущность и основа христианства — Воскресение Богочеловека Христа, то, что Рудольф Штейнер называл *Мистерией Голгофы*: страдания, смерть и Воскресение. Это то главное, во что должен верить христианин. Но эта вера должна быть принята свободно, а не навязана вещественными или иными доказательствами: "Ты [Фома], поверил, потому что увидел меня; блаженны не видевшие и уверовавшие" (Иоан. 20, 29). Мистерия Голгофы совершилась одинаково и в духовном и в материальном плане.

Вся западная культура и цивилизация — результат развившегося на почве греко-иудаизма христианства. Для меня проблема христианства — такого, каким я его вывожу из книг Нового Завета — лежит в основе всего, происходящего в совре-

менном мире и, прежде всего, борьбы с ним — не на жизнь, а на смерть — марксистского коммунизма. Созданный коммунистическим режимом советский человек является предостережением человечеству.

Свобода — одна из основных прерогатив человека, дарованная и раскрытая ему Христом. Мы не должны искать никаких исторических доказательств Мистерии Голгофы. Она должна быть принята свободно, чтобы, тем самым, сделать человека свободным. *"Вы познаете истину и истина сделает вас свободными"* — сказал Христос (Иоан. 8. 32). Сам Христос является свободой: *"Я есмь путь и истина и жизнь"* (Иоан. 14. 6). Эта дарованная Христом свобода, по словам Бердяева, "освободила человека от страха перед природными духами", а, согласно Штейнеру, направила его на путь раскрытия тайн и сил природы, что и привело к расцвету западной науки и техники.

Захватив в результате октябрьского переворота власть в России, Ленин и его сообщники поставили своей целью создать *нового человека* и с помощью этого нового человека, — *новую культуру и цивилизацию*. Для этого им было необходимо выкорчевать все старое, традиционное, религиозное, что было в русском народе. Была задушена выходившая с Вл. Соловьевым, Бердяевым, Шестовым, Франком, Лосским на мировую арену русская философия. Та же участь постигла науку, литературу, живопись, музыку... Что показывают иностранным туристам в СССР? — Старинную русскую архитектуру (в первую очередь — церкви). Куда их водят? — В музеи, где висит дореволюционная живопись, — ведь своим, советским, похвастаться нечем.

Как ни печально, Ленин был прав, утверждая, что "капиталисты продадут нам веревку, на которой мы их повесим". Почему Франция покупает советский газ (да еще строит газопровод) чуть ли не на 20% дороже его международной стоимости, а ЕЭС продает Советскому Союзу молоко, масло и другие сельскохозяйственные продукты в несколько раз дешевле, чем своим собственным гражданам?! Почему все средства массовой информации западных стран, да и их правительства, не перестают самым решительным образом осуждать расовую дискриминацию, но все реже и реже упоминают о дискриминации духовной (разве

запрещение писать и говорить то, что думаешь, не является духовной дискриминацией)? Ответ, к сожалению, прост: современный западный мир считается только с силой и выгодой, забывая о духовных ценностях, лежащих в основе западной цивилизации.

Недавно мне удалось прочесть "Диалог с Иоанном-Павлом II" французского церковного писателя А. Фруассара и книгу православного богослова, о. А. Шмемана "Евхаристия". Обе книги объединяет глубокая вера их авторов. "Диалог с Иоанном-Павлом II" посвящен преимущественно толкованию папой Вселенского собора "Ватикан II". Книга обрисовывает исключительную фигуру нынешнего главы католической церкви, его неутомимую деятельность, направленную на расширение, углубление и даже некоторую "модернизацию" католицизма. Другим церквам — православной, протестантской, англиканской — в книге в 370 страниц — уделено лишь несколько строк.

Евхаристия в понимании о. А. Шмемана "не является одним из различных богослужений: она находится в центре христианского Откровения, осуществляет тайну Искупления и предвосхищает Грядущее Царство".

Если для Иоанна-Павла II истинное христианство может быть представлено только католичеством, то для о. А. Шмемана оно может быть явлено лишь в православии.

Мне скажут: а как же иначе? Я все же думаю, что должно быть *иначе*, особенно *в наше время*. В наше время должна подчеркиваться прежде всего *вселенская миссия христианства в целом*, а не преимущество той или иной отдельной церкви; акцент должен ставиться на *необходимости единения*, осуществляемого вокруг Мистерии Голгофы, не отрицаемой ни одной церковью. Мистерии, совершившейся и в духовном плане и в плане физическом. Как сказал апостол Павел: "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша". Что же касается молитвы, то следует всегда помнить слова Христа: "Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно."

Маркс хотел создать "научную теорию", приспособленную к высокоразвитым странам его времени. Ленин, столкнувшись с действительностью, понял, что одной "научности" для такой

страны, какой была в начале века Россия, мало. Надо было, чтобы народ в научность *поверил*. Пришлось прибегнуть к вере и вера насаждалась всеми возможными средствами — от внушения и устрашения, до сибирских лагерей и "вышки".

Террористической, антидуховной, античеловеческой псевдо-религии коммунизма должна единым фронтом противостоять истинно духовная, истинно человеческая религия — христианство, не расколотое, но объединяющее всех христиан, всех людей доброй воли — "в духе и истине".

К. Померанцев

К О Н Т И Н Е Н Т

Литературный, религиозный
и общественно-политический журнал

Главный редактор журнала — Владимир Максимов.

«Континент» — ежеквартальный журнал, объемом около 400 стр.

Цена отдельного номера — 12 ДМ (пересылка за счет заказчика).

Стоимость годовой подписки (4 номера) — 40 ДМ (включая пересылку).

Пересылка за счет заказчика.

Требуйте бесплатно наш каталог 1985/86 (объем 380 стр.)

и бюллетени №№ 20, 21 и 22.



A. Neimanis • Buchvertrieb ^{Gm}_{bH}
Bauerstr. 28 • 8000 München 40 • Germany

”ФЕДОРОВИАНА”

Н.Ф. Федоров (1828-1903) — русский мифотворец. Чтобы обосновать это утверждение, нам придется сделать краткое отступление в область мифологии в ее этимологическом аспекте.

В древнегреческом языке корень ”мит”, или ”миф”, присутствует в следующих словах: ”и митис” — мудрость, разум, замысел, план, намерение; ”и митра” — материнская утроба, недра, источник; ”и митир” — мать; ”о мифос” — речь, слово, совет, указание, замысел, план, изречение, толки, слух, молва, весть, известие, сказание, предание, сказка, басня; ”мидомэ” — размышлять, обдумывать, замышлять, выдумывать, придумывать.

В свете значений вышеприведенных слов и имея в виду метафизическую перспективу, я бы предложил следующее определение: *миф — это воплощение, в имманентных категориях и образах, трансцендентных сущностей, постигнутых в порядке религиозной, эстетической или интеллектуальной интуиции.*

В религиозных мифах преобладает элемент так называемого естественного откровения, воспринимаемого человеком скорее, пассивно, как нисходящего свыше. Сюжеты эстетических мифов претворяются в произведениях искусства, при создании которых человеческая активность проявляется уже в большей степени, по преимуществу в чувственном плане. Наиболее действителен человеческий разум в создании мифов рационального порядка — историософских, социальных, научных (т.н. ”рабочих гипотез”).

В перспективе времени можно говорить о мифах ретроспек-

тивных ("золотой век человечества", "утерянный рай") и перспективных ("миллениаризм", "безграничный прогресс человечества", "скачок из мира необходимости в мир свободы" и т.р.).

Национальные историософские мифы имеют своим предметом историческую миссию данного народа, выражающуюся чаще всего в двух направлениях: обоснование господства данной нации над другими народами, либо распространения "благой вести" национальной культуры среди других народов путем проповеди, примера, помощи. Типичным примером первого направления были пангерманизм и гитлеровский нацизм, второго — идеал Св. Руси¹.



В ряду мировых мифотворцев Н.Ф. Федоров стоит несколько особо. Из совокупности родившихся до него идей, прежде всего идей Фурье, О. Конта и Сен-Симона, он создал свою оригинальную идею, состоящую из трех основных положений: воспитание человечества в духе христианской любви и солидарности; овладение природой не только земного шара, но и космоса и, самое важное, — *воссоздание целостности человеческого рода путем воскрешения умерших предков* и поисков научного метода, с помощью которого можно было бы до бесконечности продлить жизнь ныне живущих. Девиз идеологии Федорова — *"Имманентное бессмертие — плод общего дела"*.

Мы не ставим своей задачей подробное изложение философии Федорова. Читатель может ознакомиться с нею по учебниками истории русской философии прот. В. Зеньковского² и Н.О. Лосского, а также по книге прот. Г. Флоровского "Пути русского богословия". Цель данной статьи — дать краткий очерк того, что было написано и сделано последователями Н.Ф. Федорова, а также изложить общую оценку его творчества теми рус-

1. См. наши статьи: "Размышления о мифах" ("Вестник РСХД", N 111, Париж, 1974), "Что такое мессианиззм?" ("Голос Зарубежья", N 13), ("Историософские узоры" "Грани", NN. 94-95, 1974-75).

2. Прот. В. Зеньковский, История русской философии, т. 2, стр. 131, 133;

скими мыслителями, которых в категорию “федоровцев” зачислить нельзя.

При жизни Федоров писал довольно много, но издал мало. Свои труды он не подписывал, а изданное не пускал в широкую продажу, но дарил тем, кто интересовался его учением. Среди писателей поклонниками Н.Ф. Федорова были, между прочими, Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой.

Прот. В. Зеньковский называет Федорова “своеобразным и оригинальнейшим русским мыслителем”, у которого “подлинные христианские вдохновения соединяются с мотивами натурализма и с чисто “просвещенческой” верой в мощь науки и творческие возможности человека”. У Зеньковского же мы читаем, “что известный последователь Федорова, Н.Петерсон, послал Достоевскому письмо с изложением взглядов Федорова”. Достоевский впоследствии признавался, что “совершенно согласен” с идеями Федорова. Вл. Соловьев, которому Достоевский прочитал письмо Н. Петерсона, позднее сам написал Федорову: “...прочел я вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятил этому чтению всю ночь и часть утра. Проект ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров... Ваш проект есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я, со своей стороны, могу только признать Вас своим *учителем* и отцом духовным”. Л.Н. Толстой, по свидетельству Фета, говорил: “Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком”.

В “Свете Невечернем” о. С. Булгаков посвятил учению Федорова ценные страницы. Он писал, что в “Философии общего дела” Федоров “дал грандиозную систему философии хозяйства, которая является поистине и его *апофеозом*. Он указал на возможность таких достижений, о которых ранее Федорова никто не помышлял”. Критикуя слабые стороны учения Федорова, Булгаков не забывает отметить и его достоинства: “В том, что Федоров говорит при обосновании своих идей о семейном характере человечества, о любви сынов к отцам и о культе предков, как существенной части всякой религии, содержится много глубоких истин.” “В сущности, это учение является последним словом новоевропейского гуманизма” (хотя сам Федоров по-

следнего и чуждался — И.Г.). По сравнению с грандиозностью утопии Федорова робкими и нерешительными кажутся утопии Мечникова, Фурье, Маркса и пр.

Булгаков определяет федоровский "проект" как *экономизм и магизм*, ибо "вера в хозяйство" получает у Федорова наиболее радикальное выражение. Хозяйственная "регуляция природы" представляет как бы ту метафизику "экономического материализма", которая была чужда его творцу, Марксу. "Благодаря широте размаха его (Федорова) "религиозно-философской мысли", последний осуществил то, "что смутно мечталось марксизму, что составляет его бессознательный, но интимный мотив. Если эти идеи в марксизме приняли идейно убогий и отталкивающе вульгарный характер, то у Федорова они получили благородство и красоту благодаря высокому религиозному пафосу его учения"³. Ценность проекта Федорова, по мнению С. Булгакова, не в его натуралистическом аспекте, но в религиозно-символическом.

Наиболее суровую критику учения Федорова мы находим в книге прот. Г. Флоровского "Пути русского богословия". Но тем не менее в заключении соответствующей главы мы читаем: "У Федорова много ярких и немало верных мыслей, и много чутких догадок и наблюдений. Это был больше упрямый, чем смелый мыслитель. В критике и своих исканиях Федоров часто бывает не прав. Но, прежде всего, был он прав в этом требовании "делового слова", в этой жажде христианского дела"⁴.

Н. Бердяев отмечает, что русская мессианская идея у Федорова принимает совершенно новые формы. "Он страстно верит, — пишет Бердяев, — в Россию и русский народ, в его единственное призвание в мире. В России должно начаться "общее дело". Федоров "учит о том, что апокалиптические пророчества *условны, они представляют лишь угрозу*. Если человечество не объединится для общего дела воскрешения умерших предков, восстановления жизни всего человечества, то наступит конец ми-

3. С.Н. Булгаков, Свет невечерний, Сергиев Посад, 1917, стр. 360, 363, 365, 367.

4. Прот. Г. Флоровский, Пути русского богословия, Париж, 1937, стр. 330.

ра, пришествие антихриста, Страшный Суд и вечная гибель для многих. Но если человечество, в любви, объединится для общего дела, исполнит свой долг в отношении к умершим отцам, то не будет конца мира, не будет Страшного Суда и не будет вечной гибели ни для кого. Это есть проективное и активное понимание Апокалипсиса. *От человека зависит*, чтобы удался Божий замысел о мире. *Никогда еще не высказывалась в христианском мире столь дерзновенная и головокружительная мысль о возможности избежать Страшного Суда и его неотвратимых последствий через активное участие человека*” (курсив мой — И. Г.)⁵

Действительно, Федоров первый, насколько нам известно, понимал Апокалипсис условно, т.е. понимал его пророчества как предостережение человечеству: если человечество не пойдет свободно, недетерминированно, по заповеданному ему Творцом пути, то естественным результатом будут те катастрофы, которые открылись в видении св. Иоанну на Патмосе. Об этом понимании писал Г. Федотов: “Нужно сказать со всей решительностью, что наше понимание апокалиптических образов и пророчеств в свете истории не может совпадать с представлениями первого христианского века. Вот одна существенная поправка. Царство Божие не приходит вне зависимости от человеческих усилий, борьбы. Царство Божие есть дело богочеловеческое. В небесном Иерусалиме (Откровение гл. 21), который завершает эсхатологическую драму, человечество должно увидеть плоды своих трудов и вдохновения очищенными и преображенными. Другими словами, этот Град хотя и нисходит с неба, строится на земле в сотрудничестве всех поколений” (“Новый град”, N. 13).

В этой связи хотелось бы обратить внимание читателя на книгу Л. Келлер, изданную в 1979 г. на английском языке Институтом Гуманитарных Наук в Питтсбурге. Книга эта является обстоятельным исследованием “Философии Общего дела” Н.Ф. Федорова и написана с большой симпатией к мыслителю. Отметим, в частности, старательную подборку святоотеческих текс-

5. Н. Бердяев, “Три юбилея” — “Путь”, N XI, Париж, 1928, стр. 93, 94.

тов, касающихся проблемы воскресения мертвых и вдохновивших, наряду с иными концепциями, нашего мыслителя. Очень интересна глава, в которой автор исследует влияние Федорова на русскую литературу "Серебряного века", либо непосредственно, либо через Вл. Соловьева. В частности, автор обнаруживает отголоски идей Федорова у таких поэтов, как Андрей Белый, Блок, Клюев, Есенин, Сологуб, Вяч. Иванов, Брюсов, Хлебников и др.

Постепенно со временем идеи Федорова потеряли свою религиозно-этическую окраску и в работах его последователей выродились сначала в теорию, а затем частично и в практику того, как победить природу для утилитарных целей.

Библийское сказание повествует о том, что Бог, насадив рай в Эдеме, взял человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы тот возделывал его и хранил. Но еще до этого, рядом творческих актов, Бог создал многообразие сего мира, установил законы размножения и развития различных существ и благословил человека господствовать и владычествовать над ними. "Господство" и "владычество", возделывание и хранение не противостоят одно другому. При соблюдении должной гармонии они представляют собой *хорошее хозяйствование*. Об этом говорит евангельская притча о талантах, призывающая человека к *приумножению природного богатства* — "ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет" (Матф. 25, 29).

Один и тот же хозяйственный объект может быть либо основой творчества, либо жертвой эксплуатации и хищничества в зависимости от того, в каком качестве выступает наш разум: как инструмент "логосности" или как слуга эгоистического "рацио". Ведь понятие разума растяжимо.

Разум лежит в основе любого логичного суждения; более широкое его применение — в построении логического силлогизма; еще более широкое — в построении научной гипотезы — и т.д. до бесконечности. Гений русского языка хорошо это выразил в серии синонимов: рассудочный человек, рассудительный, логичный, рационалист, умный, разумный, благоразумный, *мудрый*.

Мудрый человек простую связь между субъектом суждения

и его предикатом, между непосредственной причиной явления и его следствием рассматривает на более широком временно-пространственно-физическом фоне (что хорошо передает народная поговорка: “тем отличен мудрец от глупца, что он видит до конца”). Как не парадоксально, но даже рационалист может быть глупым (отсюда презрительная кличка *доктринера* или *прожектера*). Впрочем мы часто злоупотребляем словом “разум”, заменяя его “умом”, который все же находится этажом пониже. Опять-таки, это различие хорошо подмечено в поговорках: “где ума не хватит, спроси разума”; “разум не велит — ума не спрашивайся”.

Ни Марксу, ни Ленину нельзя отказать в наличии ума. Но, одержимые своей идеей и стремившиеся осуществить ее *любой ценой*, в плане историософском они оказались глупцами, ибо даже с их “любой ценой” (которой они, кстати сказать, лично не платили) не достигли того, к чему стремились: не дали человеку счастья. Совсем наоборот! Ибо если *иногда* цель оправдывает средства, то все зависит от того — *какова цель и каковы средства*. Цели Маркса и Ленина никак не оправдали средства к их достижению, а последствия оказались катастрофическими.

Когда человек, созданный по образу и подобию Творца, отворачивается от Него, он перестает быть творцом и становится тварью производящей, “homo faber”, “homo sapiens”, “homo economicus”, “homo faber”... “homo sovieticus” — вот его *дисволюция*!

События начала нашего века не способствовали широкому распространению идей Федорова. Он умер в 1903 г., вскоре началась русско-японская война, за нею последовали события 1905 года; затем вспыхнула Первая мировая война, а за нею — революция.

В приложении к этой статье помещена библиография, относящаяся непосредственно к “Федоровиане”. Интересующегося этой темой читателя мы отсылаем также к брошюре, изданной в 1983 г. в рамках “Specimina Philologiae Slavicae” Марбургского Университета (Verlag Otto Sagner, München). Она состоит из двух частей: перепечатанного русского текста книги Валериана Николаевича Муравьева “Овладение временем” (Москва, 1924, 127 страниц) и введения на немецком языке, написанного М.М.

Хагемейстером. Работа Хагемейстера — весьма обстоятельное исследование о последователях Федорова, снабженное множеством библиографических ссылок, где читатель найдет все то, чем следовало бы пополнить библиографию, предложенную нами.

Так как в дальнейшем наша статья основана преимущественно на исследовании М. Хагемейстера, то мы будем ссылаться на соответствующие страницы этой работы.

В. Н. Муравьев (1885-1932), работавший в свое время в Центральном Институте Труда СССР, напечатал ряд статей в известиях ЦИТ'а, в которых, согласно свидетельству самого автора, проводил "Федоровские установки". Другой "федоровец", подписывавший свои статьи инициалами *Г. Г. Г.* подтверждает, что "Федоровские" взгляды на труд, развиваемые Муравьевым в 1923-1924 гг., вошли к 1928-1930 гг. в программу ЦИТ без ссылки на источники. Так, в своем очерке "Всеобщая производительная математика" (Москва, 1923) Муравьев писал: "...перед культурой ставится общая задача направления и организации производства труда во всех отраслях экономической жизни, в особенности же в области обрабатывающей промышленности. Вместо бессмысленного расточения сил и средств в процессе создания ненужных вещей, предметов роскоши и орудий взаимостребования, являющихся сейчас продуктами фабричного производства, последнее должно иметь задачей снабжение человечества предметами, в самом деле необходимыми для улучшения жизни. Цели производств должны не диктоваться ему стихийными и бессрассудными веяниями рынка, но ставиться перед организованной промышленностью в результате особой проективной деятельности высших культурно-экономических инстанций".

В труде "Овладение временем", в котором Муравьев развивал идеи воссоздания тел умерших предков, перенесению литургии из храмов на улицы и площади, создания воздушных городов и т.п. — все темы, взятые "живьем" из сочинений Федорова — нет ссылок на последнего.

В самом начале двадцатых годов В. Н. Муравьев был убежденным антибольшевиком, принимал участие в собраниях "имяславцев" и "Вольной академии духовной культуры", рабо-

тал в “Институте живого слова”, затем стал членом “Национального центра”, имевшего связи с “Тактическим центром”. После ликвидации этой организации Муравьев был арестован и приговорен к заключению, но в 1921 или 1922 году, якобы по ходатайству Троцкого, был амнистирован. Когда начались процессы троцкистов Муравьев был вновь арестован, в 1929 г., и сослан в лагерь — то ли на Соловки, то ли в Нарымский край. Дата его смерти точно не установлена. Он умер от сыпного тифа в 1931 или 1932 гг.

О метаморфозе политических взглядов В.Н. Муравьева в свое время писал видный “сменовеховец” Н.В. Устрялов: “Вспоминая свои встречи с покойным В.Н. Муравьевым в Москве летом 1925 года. Ярый федоровец, он был в то же время ярым сторонником советской революции; и характерно, что именно федоровское его “обращение” превратило его в советофила. Он утверждал и убеждал, что преобразовательный пафос Октября нужно принять целиком — и, больше того, нужно идти “дальше”, чем идут пока большевики. Я говорил ему, полушутя, что в своем люциферианском экстазе он затыкает за пояс Маяковского и Горького... Он упорно настаивал на необходимости раскрыть перед нашей революцией еще более грандиозные, творческие перспективы: “*Nous sommes plus bolchevists que les bolcheviques mêmes!*” — восклицал он”.⁶

В конце двадцатых годов в Москве появились т.н. “биокосмисты” (они же “иммортиалисты”) из пробольшевистских анархистов. Они основали “Креаторий Российских и Московских Анархистов-Биокосмистов”, выступали в прессе с требованием проведения в жизнь концепций Федорова относительно воскрешения мертвых и овладения космосом. В рамках осуществления первой задачи они изучали и разрабатывали информацию, собранную такими русскими физиологами, как П.И. Бахметьев, И.И. Мечников, Н.П. Кравков, С. Воронов и венскими учеными Павлом Кремером и Евгением Штейнахом. В своих проектах освоения космоса они отправлялись от теории относительности

6. “Мы куда большие большевики, чем сами большевики”.

Эйнштейна и пионера-теоретика космических полетов К.Е. Циолковского.

С другой стороны, А.А. Богданов (А.М. Малиновский, 1873-1928), создатель т.н. *тектологии* (науки борьбы со старостью) в своей книге "Всеобщая организационная наука (Тектология)" (М., 1925), развивал тезисы своего более раннего труда "Наука об общественном сознании" (М. 1918) и рассматривал возможности овладения природой. В частности, он намечал три основных периода-ступени в развитии человечества: *технику*, как средство овладения природой, *экономия*, как искусство организации человеческого труда и *идеологию*, как организацию человеческого опыта. В целях гармонизации природных сил и человеческой деятельности должны быть создана, по мысли Богданова, "всеобщая организационная наука", которая поставит себе целью изобретение "мировой методологии", с помощью которой "человечество сможет планомерно организовать по всей линии творческие силы, свою жизнь. Та же наука впервые создаст настоящие *мировые формулы*... практические формулы, те, которые дадут возможность планомерно овладеть какой угодно совокупностью данных элементов мирового процесса. Начало всеобщей новой науки будет положено в ближайшие годы, ее расцвет возникает из той гигантской, лихорадочной организационной работы, которая создаст новое общество и завершит мучительный пролог истории человечества. Это время не так далеко"⁷.

Проблемой искусственного вызывания дождей в периоды засухи занимался П.И. Иваницкий. В 1925 г. в московском сельскохозяйственном издательстве "Новая деревня" была напечатана его работа "Искусственное вызывание дождя и управление погодой посредством регуляции атмосферного и земного электричества". Не ссылаясь на Федорова, он развивал его идею: при помощи особо сконструированных самолетов и путем превращения земного шара в гигантский электромагнит влиять на климат в желательном направлении.

В этой "прометеевской симфонии" участвовали и люди, с на-

7. А.А. Богданов, "Очерки организационной науки" ("Пролетарская культура", 1920, 15-16).

укой не связанные, но влиявшие на *политику хозяйствования* в СССР. М. Хагемейстер цитирует Луначарского: “Мы не можем даже себе представить, сколь могущественным может быть человек будущего, как велика может быть его власть над природой. Он станет господином вселенной и распространит свой род в дальнейших мировых пространствах, он овладеет планетарной системой. Люди станут бессмертными”. Луначарскому восторженно вторил историк и социолог Н.А. Рожков: “В отдаленном будущем для человечества открывается возможность всемогущества в полном смысле этого слова, вплоть до общения с другими мирами, бессмертия, воскрешения тех, кто жил прежде и даже создания новых планет и планетных систем”.

Рожков в “Основах научной философии” (СПб, 1911 г.) развивал теорию “восстановления умерших” сначала путем установления математической формулы данного организма, а затем восстановления в лабораторном порядке: для этого необходимо научным путем установить количество и качество всех атомов (электронов) данного организма и их взаимоотношений, т.е., иными словами, построить его теоретическую модель. Зная эту модель, медицина сможет не только предотвращать болезни данного организма, но и манипулировать его свойствами. Если в скором времени медицина не достигнет такого уровня развития, то она сможет это сделать ретроспективно, в будущем: для идентификации данного индивидуума достаточно будет обладать чем-либо характерным, тем что ему принадлежало: частью праха, образчиком почерка, отрывком из его сочинения или письма.

Вот цитата из труда Рожкова: “Мы, мертвые, имеем надежду проснуться. Когда будут точно определены типы физиологических организаций, к которым будут сведены все индивидуальные организмы, тогда достаточно будет портрета, фотографической карточки, простого описания личности, даже только двух-трех ее физиологических признаков, черт, особенностей для того, чтобы по этим обломкам и отрывкам составить формулу строения того или другого человека. И тогда в химической лаборатории воскреснет тот, кто жил много веков тому назад. Конечно, он воскресит и тех, кого он знал и любил. Задача бессмертия будет разрешена окончательно. Надо только быть достойным будущего воскресения” (стр. 131-132).

Л. Троцкий в своем труде "Литература и революция" (М., 1923) писал, что будущий "гармонизированный человек" сможет преобразовать природу по своему вкусу, а *Максим Горький* в лекции, прочитанной в марте 1920 г. в Рабоче-Крестьянском университете в Петрограде, возвещал, что "труд и знание все победят. Несомненно настанет время, когда человек будет царем природы и, может быть, таким чародеем, что для него не будет уже никаких препятствий. Может быть, он и междупланетные пространства победит, победит и смерть, и все болезни свои, и все внутренние недостатки, и тогда, весьма вероятно, будет рай на земле... Это все очень далеко, очень фантастично... но именно это должно быть идеалом и целью, к которой должны стремиться люди".

Геохимик и натурфилософ *В.И. Вернадский* уже в 1920 г. писал об использовании атомной энергии ("Очерки и речи", т. 1, Петроград, 1922, стр. 37), возрождении людей ("аутотрофия") ("Биохимические очерки", 1922-1932, М. 1940) и о роли человеческого разума в преобразовании земного шара (переход от био- к ноосфере, создание "второй природы") ("Биосфера", Петроград, 1926, "Несколько слов о ноосфере", 1944).

К.Е. Циолковский, которого можно назвать одним из зачинателей русской научной фантастики, был лично знаком с Н.Ф. Федоровым.

В какой-то степени под влиянием "федоровщины" находился и пролеткультовский поэт *А.К. Гастев*, заведывавший в начале двадцатых годов Центральным Институтом Труда в Москве. Пр процитируем характерные для него формулировки, приведенные в работе М. Хагемейстера и относящиеся к "механизированному коллективизму": "Проявления этого механизированного настолько чужды персональности, настолько анонимны, что движение этих коллективов-комплексов приближается к движению вещей, в которых как будто уже нет человеческого индивидуального лица, а есть ровные, нормализованные шаги, есть лица без экспрессий, душа, лишенная лирики, эмоция, измеряемая не криком, не смехом, а манометром и таксометром".

Гастев мечтает о том, чтобы наступило "машинизирование не только жестов, не только рабоче-производственных методов,

но машинизирование обыденно-бытового мышления, соединенное с крайним объективизмом, поразительно нормализующее психологию пролетариата”. Он умственным взором зрит этот пролетариат, в психологии которого “из края в край мира гуляют мощные, грузные психологические потоки, для которых как будто уже нет миллиона голов, есть одна мировая голова. В дальнейшем эта тенденция незаметно создаст невозможность индивидуального мышления” (!). В социальной области, по мнению Гастева, должна наступить эпоха... точных измерений, формул, чертежей, контрольных калибров, социальных нормалей... мы должны поставить проблему полной математизации психофизиологии и экономики, чтобы можно было оперировать определенными коэффициентами возбуждения, настроения, усталости, с одной стороны, прямыми и кривыми экономических стимулов — с другой”. Высказывания Великого Инквизитора у Достоевского — детский лепет по сравнению с “социальными мечтаниями” Гастева. И какое счастье, добавим, что современный “*homo soveticus*” все еще необычайно далек от идеала Гастева.

Несколько особо стоят взгляды П.С. Боранецкого, “федоровца-теоретика”, не принимавшего, насколько нам известно, участия в воплощении идей Федорова в жизнь. О нем лично почти ничего неизвестно. В 30-е годы он стал невозвращенцем, осел в Париже, где мыл окна в высотных зданиях, зарабатывая этим на хлеб насущный и издание своих трудов. В.С. Варшавский в своей книге указывает, что Боранецкий был главой движения т.н. “народников-мессианистов”. О Боранецком писал Вл. Крымов в “Портретах необычных людей” (Париж, 1971). Крымов сообщает, что, по свидетельству самого Боранецкого, он послал свои биографические материалы Н.О. Лосскому, который одно время хотел писать о “прометеизме” во французском издании “Истории русской философии”.

В своем письме Крымову Боранецкий писал: “Меня вообще... все считают “своим”. Так, например, мое созерцание сближали и с федоровством, и с ницшеанством, и с Мережковским, и с Бергсоном, и с Фейербахом, и со многими другими. Материалисты же считают, что я мистик и создаю новую религию, а религиозники считают, что я материалист и даже — воинствующий”.

щий атеист. Объясняется все это тем, что мое созерцание интегрально и универсально. Поэтому, будучи индивидуальным в *целом*, оно родственно в своих *элементах* со многими другими мирозозерцаниями”.

Тысячестраничные описания Боранецкого похожи один на другой. Он словообилен и все время повторяется, читать его — не легкая задача. Суть “прометеизма” Боранецкого лучше всего выражена в его последней (?) книге “Основные начала” (Париж, собств. изд., без года).

Со дня смерти Федорова скоро минет целое столетие. В какой же степени реализованы его идеи? В ряде своих провидений он, действительно, оказался пророком, даже если некоторые из них воплотились в нежелательном, с точки зрения Федорова, варианте. Но две, самые главные и общие темы Федорова — воскрешение всех умерших и полное овладение космосом — по всей вероятности останутся теми путеводными звездами, к которым человечество будет стремиться, но окончательно никогда не достигнет.

Можно ли сказать, что в течение этого столетия человек стал *лучше, стал ближе к тому “образу”, к которому он должен стремиться?* Ответ на этот вопрос лучше всего дан в формулировке Н. Бердяева, сказавшего, что прогресс человечества знаменуется параллельным ростом добра и зла.

Всякому способному историософски мыслить человеку ясно, что наш двухтысячелетний эон подходит к концу. Если сравнить его с деревом, то можно сказать, что своими корнями оно уходит в древне-греческую и христианскую почву, а его ствол и ветви питаются римскими, византийскими, западноевропейскими и славянскими соками. Что же несет человечеству грядущий эон? Предсказать это невозможно. Одно можно предположить: возможность осуществления федоровской идеи преобразования человеческой природы. Мы имеем в виду *генную инженерию*, ставящую целью воздействие биохимическим путем не только на наследственные свойства человека, но и на психические, или, иными словами, стремящуюся вывести новую человеческую породу. Если это удастся осуществить, то возникает жуткий вопрос, во что это обернется? Будет ли это новым искушением —

"..и вы будете, как боги" (Быт. 3, 6); попыткой уйти от проблемы познания добра и зла и выбора между ними; проклятием или благословением? Будущее покажет.

Игумен Геннадий Эйкалович

БИБЛИОГРАФИЯ

В 1906 г. стараниями *Н.П. Петерсона* и *В.А. Кожевникова* был издан первый том "Философии общего дела" (г. Верный, 1906/1907), а в 1913 году был издан второй том, в Москве. В 1908 году *В.А. Кожевников* издал свой труд "Н.Ф. Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным произведениям, переписке и личным беседам", (ч. 1, Москва). Четыре года спустя *Н.П. Петерсон* издал книгу "Н.Ф. Федоров и его книга Философия общего дела в противоположность учению Л.Н. Толстого о "непротивлении" и другим идеям нашего времени" (Верный, 1912). В 1914 был издан сборник "Вселенское дело" (Сб. 1, Одесса), а в 1934 году в Риге был издан Сборник II того же "Вселенского Дела".

В 1913 году в "Богословском Вестнике" была напечатана статья *С.А. Голованенко* о Философии общего дела, а также его воспоминания о Н.Ф. Федорове — в "Вопросах философии и психологии" (кн. 118). В том же журнале была напечатана статья *кн. Е.Н. Трубецкого* "Несколько слов о Соловьеве и Федорове" (май-июнь 1913).

Н.А. Бердяев опубликовал о Федорове следующие статьи: "Религия Воскрешения" ("Русская Мысль", 1915, N. 7) и "Пророчество Н.Ф. Федорова о войне" ("Биржевые Ведомости", 15 авг. 1915). В эмиграции: "Три юбилея" ("Путь", N. XI, Париж, 1928).

В 1918 году в "Биржевых Ведомостях" *Н.П. Петерсон* поместил статью, в которой опровергал некоторые истолкования "Философии Общего дела" современниками. Упомянутый выше *С.А. Голованенко* написал рецензию на издание "Философии общего дела" ("Богословский Вестник", 1913, дек.), две статьи — "Философия смерти и воскресения", "Православие и культ предков" ("Богословский Вестник", 1914, апрель и май), "Тайна сыновства", "О христианстве Н.Ф. Федорова" ("Богословский Вестник", 1915, март.).

С.Н. Булгаков — "Загадочный мыслитель" (1908), перепечатано в книге "Два града", т. II (1912). Оценку учения Федорова о. С. Булгаковым мы находим в "Свете Невечернем" (Сергиев Посад, 1917, стр. 360-368) в аспекте темы "Искусство и теургия", а также в "Идее общего дела, запись по памяти" (Вестник Р.С.Х.Д., 1934, N. X.). В 1926 г. в "Известиях Юридического факультета в Харбине" была напечатана статья Федорова "Чему научает древнейший христианский памятник в Китае" (т. III, стр. 33-39). Письма Федорова печатались в журнале "Версты" (N. 3, Париж, 1928 г.), в журнале "Евразия" (4 мая 1929 г.), в парижском журнале "Путь" (N. XI, апрель 1928, N. XVIII, сентябрь 1929, N. XV, сентябрь-октябрь 1933 г.).

В 1928-1933 гг. А. Остромировым были напечатаны отдельные выпуски его труда "Николай Федорович Федоров и Современность" (вып. I. — Биография Н.Ф. Федорова 1928, 16 стр.; вып. 2 — "Проективизм и борьба со смертью", 1928 г., 51 стр.; вып. 3 — "Организация мировоздействий", 1932, 40 стр.; вып. 4 — "Острие мирового кризиса", 1933, 51 стр.).

При литературном архиве Чешского Национального Музея в Праге в начале тридцатых годов было открыто отделение, посвященное Федорову и его пропагаторам "Fedoroviana Prahensia" и собравшее обширный материал.

Первый выпуск "Вселенского Дела", о котором было упомянуто выше, выглядел несколько любительски. Первая мировая война, а затем революция воспрепятствовали реализации планов издателей относительно второго выпуска. Лишь в 1934 г. в свободной Латвии, в Риге, новой группе "федоровцев" удалось издать второй выпуск (208 страниц), куда вошли статьи более высокого уровня. Перечислим авторов и названия тех статей, которые нам представляются наиболее значительными: Г. Гежелинский, "Христолюбие и война"; Д.С. Кононов, "Евразийство и пореволюционники"; К.А. Чхеидзе, "Проблема идеократии"; Владислав Александров, "Религия и наука"; Рафаил Мановский, "Мессианство и Русская Идея"; С. Чуев, "Человек и природа", В. Муравьев, "Всеобщая производительная математика" и др. Кроме статей в сборнике дан эпистолярный материал и библиография.

В 1935 г. в "Современных записках" (кн. 59) была опубликована статья *прот.* Г. Флоровского "Проект мнимого дела".

ЭКОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ И МОГИЛ

ПОСМЕРТНАЯ СУДЬБА Д.В. ВЕНЕВИТИНОВА

Поэт и литературный критик Дмитрий Владимирович Веневитинов родился 14 сентября 1805 г. в Москве, умер в Петербурге 15 марта 1827 г., но погребен был в Москве, в Симонове монастыре.

Родился он в старинной дворянской семье. Получил превосходное домашнее образование, серьезно занимался музыкой и живописью. Был одаренной и глубокой личностью. И был необычайно красив, его сравнивали с Байроном. Одна из современниц так описывала его внешность: "Высокого роста, словно изваяние из мрамора. Лицо его имело, кроме красоты, какую-то еще прелесть неизъяснимую. Громадные глаза, голубые, опущенные очень длинными ресницами, сияли умом. Голос его был музыкальным, в нем чувствовалось, что он очень хорошо поет".

Семнадцатилетним юношей Веневитинов посещал вольнослушателем Московский университет, который закончил в 1824 г. Он был одним из основателей литературно-философского кружка "Общество любомудрия" (1823-1825). После окончания университета поступил на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел.

Веневитинов почти всю жизнь прожил в Москве, в доме номер 4 по Кривоколенному переулку. В этом доме, 12 октября 1826 года, недавно вернувшийся из ссылки. Пушкин, приходившийся дальним родственником Веневитинову, читал трагедию "Борис Годунов". На первом и на повторном чтении присут-

ствовали многочисленные гости, среди них — С.П. Шевырев, С.А. Соболевский, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. и Ф.С. Хомяковы. Трагедия Пушкина произвела большее впечатление на слушателей. Веневитинов посвятил А.С. стихотворение "К Пушкину".

Известно мне: доступен гений
Для гласа искренних сердец.
К тебе, возвышенный певец,
Взываю с жаром песнопений.

И, может быть, тобой плененный,
Последним жаром вдохновенный,
Ответно лебедь запоет
И к небу с песнею прощанья
Стремя торжественный полет,
В восторге дивного мечтанья
Тебя, о Пушкин, назовет.

8 или 9 ноября 1826 г. Д.В. Веневитинов ехал из Москвы на службу в Петербург. Его попутчиками были переводчик Коллегии иностранных дел Федор Хомяков, брат поэта, и возвращавшийся из Сибири секретарь и библиотекарь графа И.С. Лавалля, швейцарец Карл Воше (он сопровождал в Сибирь дочь графа, Екатерину Ивановну Трубецкую, жену декабриста кн. С. П. Трубецкого).

На Московской заставе в Петербурге жандармский офицер арестовал Веневитинова и Воше и отвез их в гауптвахту Главного штаба. Веневитинова допрашивал дежурный генерал Потопов, ведший дела декабристов. Веневитинов ответил, что к тайному обществу не принадлежал, но вполне мог бы принадлежать. В гауптвахте Веневитинова держали три дня в сыром и холодном помещении. По выходе из гауптвахты у него начался перемежающийся озноб и сильный кашель. Через три месяца он скончался.

Обстоятельства его смерти окончательно не выяснены. Известно, что Веневитинов был болен чахоткой и, быть может, трехдневное сидение в гауптвахте ускорило течение болезни. Племянник поэта М.А. Веневитинов писал в "Русском Архиве",

что в семье не сохранилось точных данных о причине болезни и смерти Дмитрия Владимировича. П.П. Лаврентьева, приятельница А.Г. Муравьевой, жене декабриста Н.М. Муравьева, вспоминала: "Он был заключен в грязное и сырое помещение, а, выйдя оттуда, долго хворал и не мог посещать Архив Коллегии Министрства иностранных дел, где числился на службе".

Другие видели причину смерти в простуде, которую Веневитинов захватил после бала у Ланских, когда, "разгоряченный танцами, перебежал через двор в свой флигель в едва накинутой на плечи шинели". На дворе стояла холодная, промозглая осенняя погода.

Как пишет В. Осокин ("Опавшие листья", 1984), "безвременно сокрытого "могильной сенью" Веневитинова отождествляли с убитым на дуэли Ленским. Смерти Веневитинова посвящались десятки стихов, в которых были "лебеди", "розы", "музы", "альтари", "чары", "жребии". Эпитафии написали А. Дельвиг, З. Волконская, Н. Языков, А. Одоевский, М. Лермонтов, М. Деларю, А. Кольцов и другие поэты.

Поэт И.И. Дмитриев, которому тогда шел 67-ой год, узнав о безвременной кончине молодого поэта, откликнулся на его смерть в таких стихах:

Природа вновь цветет, и роза негой дышет!
Где юный наш певец? Увы, под сей доской!
А старость дряхлая дрожащею рукой
Ему надгробье пишет

Версия о самоубийстве поэта возникла позднее, вероятно, потому, что при вскрытии гроба обнаружили, что руки покойного были вытянуты вдоль тела, а не на груди, как полагалось по православному обряду. Однако, положение рук могло измениться от сотрясения гроба, осадки почвы. Сторонники версии самоубийства ссылались на безнадежную любовь Веневитинова к Зинаиде Александровне Волконской (1789-1862), частым гостем салона которой он был. Зинаида Волконская была на 16 лет старше Веневитинова, не ответила взаимностью поэту, но, как "залог сострадания", подарила ему чугунный перстень.

История этого перстня такова. В 1706 г. при раскопках засыпанного пеплом Геркуланума нашли в "могиле пыльной" пер-

стень, который попал в антикварную лавку, оттуда к коллекционеру, а затем к Волконской (перстень был, по-видимому, железным, т.к. чугун стал известен только с XVII-XVIII веков).

Братья Хомяковы непрестанно находились у постели больного Веневитинова. Врач обнадеживал, обещал выздоровление, но неожиданно объявил, что поэт не проживет до следующего дня. 14 марта 1827 г. вечером Алексей Хомяков надел на палец умирающему перстень, который по высказанному им ранее желанию он хотел иметь надетым при венчании или смерти. В пять часов утра следующего дня Веневитинов скончался.

А.И. Кошелев, чиновник Московского архива Министерства иностранных дел, служивший с сентября 1826 г. в Петербурге, в своих мемуарах отметил: "Мы отпевали его у Никиты Морского и тело его отправили в Москву". Многие петербургские литераторы прощались с Веневитиновым в соборе Николы Морского. Лежащего в гробу поэта зарисовал художник Афансьев: "Волнистые, красиво расчесанные волосы устало падали на прекрасный высокий лоб".

Поэта похоронили на кладбище Симонова монастыря, где останки Веневитинова покоились непотревоженными свыше ста лет.

Вскоре после Октябрьского переворота Симонов монастырь был упразднен. В 1930-м г. собор, церкви, стены и большая часть монастырских башен были снесены, примонастырское старинное кладбище сравнено с землей, и на месте монастыря построен дворец культуры автозавода им. Сталина, переименованного затем в им. Ленина.

22 июля 1930 г. в процессе уничтожения кладбища группа работников Наркомпроса выкопала гроб Веневитинова. Скелет хорошо сохранился. На безымянном пальце правой руки был перстень, подаренный поэту Волконской. При жизни он носил его на цепочке от часов.

Вечером того же дня, когда гроб был извлечен из могилы, прах Веневитинова был положен в новый гроб и захоронен на Новодевичьем кладбище.

Из Симонова монастыря на Новодевичье кладбище были перенесены также прах Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859) и его сына, поэта, публициста, одного из идеологов слав-

янофильства, и одно время кандидата на Болгарский престол Константина Сергеевича Аксакова (1817-1860).

Перстень Венеитинова ныне хранится в фондах Государственного Литературного музея в Москве (ГЛМ). О нем в свое время поэт писал в стихотворении "К моему перстню", которое много переписывалось в дамские альбомы:

Ты был открыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой.

О, будь мой верный талисман!
Храни меня от тяжких ран
И света, и толпы ничтожной,
От едкой жажды славы ложной,
От обольстительной мечты
И от душевной пустоты.

Века промчатся, и, быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя отроет вновь;
И снова робкая любовь
Тебе прошепчет суеверно
Слова мучительных страстей,
И вновь ты другом будешь ей,
Как был и мне, мой перстень верный.

СУДЬБА А.С. ГРИБОЕДОВА

Для Александра Сергеевича Грибоедова Персия оказалась судьбоносной. Он служил там дважды, находясь на дипломатическом посту секретаря русской миссии. А в третий раз, уже послом, съездил в Тегеран за смертью.

По заключенному в феврале 1828 г. с Персией Туркманчайскому договору к России отходили территории Эриванского и Нахичеваньского ханств. Обуславливалось исключительное право России иметь военный флот в Каспийском море, контрибу-

ция в 20 миллионов рублей серебром; 45 тысяч персидских армян переселялись на освобожденные русскими земли. Грибоедов, искусно прошедший переговоры в персидской деревушке Туркманчай, был послан главнокомандующим Паскевичем в столицу для представления трактата императору. 14 марта 1828 г. А.С. Грибоедов прибыл в Петербург, а на другой день в "Северной Пчеле" было напечатано: "Сего числа в третьем часу пополудня возвещено жителям столицы пушечными выстрелами с Петропавловской крепости о заключении мира с Персиею. Известие о сем и самый трактат привезены сюда сегодня из главной квартиры действующей в Персии Российской армии ведомства Государственной коллегии иностранных дел коллежским советником Грибоедовым. Немедленно за сим двести один пушечный выстрел из крепости возвестил столице о сем благополучном событии — плоде достославных воинских подвигов и дипломатических переговоров, равно обильных последствиями".

Грибоедову была дана высочайшая аудиенция в Зимнем Дворце и "высочайшие" милости — орден святой Анны 2-ой степени с алмазными украшениями, чин статского советника, четыре тысячи червонцев. 15 марта 1828 г. Грибоедов был назначен резидент-министром (послом) в Персии.

6 июня 1828 г. на квартире приятеля Грибоедова, поэта и драматурга А.А. Жандра был устроен прощальный завтрак. Уезжая в дальнюю дорогу, Грибоедов не был в особенно оптимистическом настроении. Он понимал, что может ждать его в Тегеране — Туркманчайский мирный договор был унижительным для Персии. Грибоедов считал, что надо снять с Персии хотя бы часть контрибуции и пойти на некоторые облегчения условий мирного соглашения. Но Петербург стоял на своем.

Худшие предчувствия Грибоедова, увы, сбылись. Одним из первых друзей Грибоедова, узнавших о тегеранской катастрофе, был Пушкин. У перевала через Безобдальский хребет, по дороге к Карсу, Пушкин встретил гроб с телом Грибоедова: "Два вола, запряженные в арбу, подымались на крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали арбу. — Откуда вы, — спросил я их. — Из Тегерана. — Что вы везете? — *Грибоеда*".

В "Путешествии в Арзерум" Пушкин приводит слова Грибоедова, сказанные перед отъездом в Персию: "Вы еще не знаете

этих людей; вы увидите, что дойдет до ножей”.

Вспоминая свою встречу с останками Грибоедова, которые были узнаны по простреленной на дуэли руке, Пушкин бросил упрек современникам ...да и потомкам: “Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя следов. Мы ленивы и нелюбопытны”.

Перед отъездом в Персию, в августе 1828 г. Грибоедов женился на 16-летней красавице, княжне Нине Александровне Чавчавадзе (1812-1857), дочери командира Нижегородского полка, известного грузинского поэта, генерал-майора Александра Гарсевановича Чавчавадзе (1781-1846). Их венчали в Тифлисе в Сионском соборе.

По рассказам, в день венчания у Грибоедова был сильный приступ малярии; в момент обмена кольцами из дрожащих рук Грибоедова кольцо выпало — дурное предзнаменование.

Тело Грибоедова было предано земле в монастыре св. Давида на склоне горы Мтацминда, высоко над Тифлисом. Его похоронила здесь, по его желанию, вдова Нина Чавчавадзе-Грибоедова, оставшаяся верной памяти мужа до гробовой доски. Ее могила находится рядом с могилой мужа. На ее надгробии, обхватив руками распятие, рыдает коленопреклоненная женщина. Скульптура из бронзы выполнена по проекту В.И. Демут-Малиновского. На надгробии из черного камня с портретным барельефом выбито золотом: “Александр Сергеевич Грибоедов, родился 1795 года, генваря 4-го дня; убит в Тегеране 1829 года, генваря 30-го дня”.

Все свое великое и трепетное чувство вложила Нина в слова, выбитые на камне: “Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя”.

А. Иванов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

СЛОВО ОБ ИВАСКЕ

13 февраля 1986 года закончилась долгая, наполненная смыслом и содержанием жизнь Юрия Павловича Иваска. Он отнюдь не пресытился днями, как ветхозаветный долгожитель, готов был и дальше дышать и творить, — просто сердце его внезапно поставило точку. Я видел его за полтора месяца до смерти и удивился: печальная красота проступила в его облике. Теперь я понимаю: это была красота прощания, нежная печать ухода.

Он умер в Новой Англии, в университетском городке Амхёрст, идя на литературный диспут, — словно актер на сцене или генерал на поле битвы. Но я бы уподобил его жизнь не театру и не военному сражению, а — книге, внушительному тому стихов, испещренному сносками и примечаниями. Потому что, прежде всего, он был поэт, а затем — критик, историк литературы, исследователь и философ-эссеист. И во всех этих свойствах проявлялся его особый дар, почти полностью утраченный в нашем веке, — *дар просветительства*.

Я имею в виду не только сотни его статей и исследований или тысячи его лекций, докладов и радиопередач, не только составленные им антологии, но и сами стихи, которые несли, вместе со свежестью образов и звуков, еще и, казалось бы, непотетический груз познавательного сообщения.

"В Вас ведь двое — стихолюб и архивист", — сказала молодому Иваску Марина Цветаева.

Города и страны, где он побывал, виденные им соборы и монастыри, и в особенности картины великих живописцев — все

это вошло в его поэзию отнюдь не искаженно, а как оно есть, часто даже с сопровождением точных исторических справок. Толща культурных наслоений — вот его излюбленная почва. *"Гора для меня имеет смысл, только если на ней стоит какая-нибудь церковь"*, — часто говаривал Иваск.

Неудивительно, что он так любил Европу. Он и был европейцем, но с примечающим глазом вечного иностранца. Вот как он увидел собор Св. Марка в Венеции:

*Змеино-зелено и львино-золотисто,
И по-фазаньему, павлиньему пестро,
Но всё притушено и лиловато-мглисто,
И вдруг из сумрака колонное ребро.*

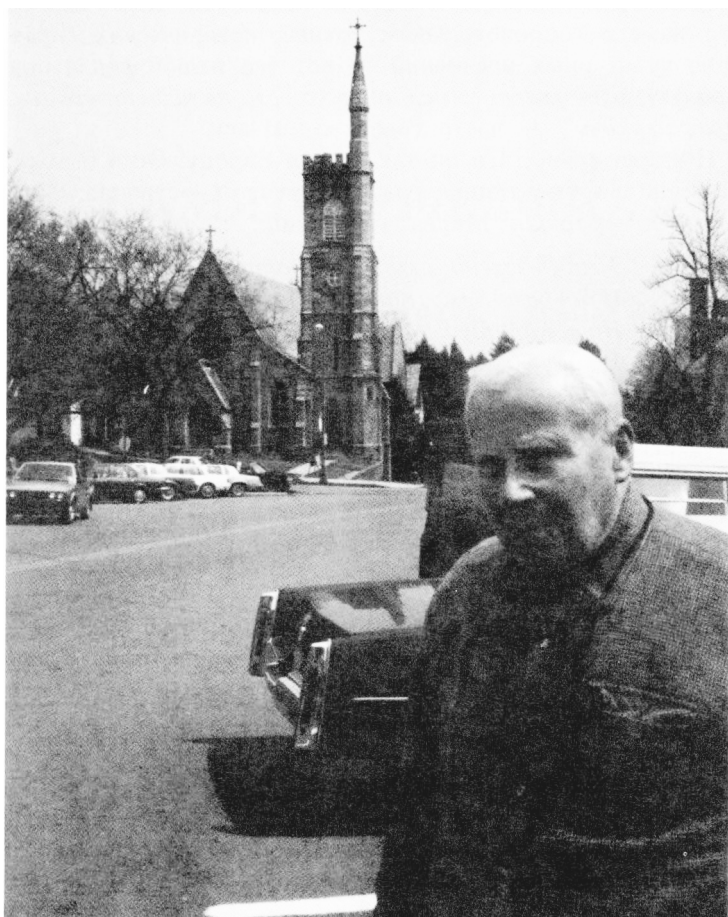
Всеми бедами нашего столетия — войнами и революциями — Иваск был гоним по свету, и потому слова, которые он сказал в предисловии к антологии русских поэтов "На Западе", были выстраданы и весомы: *"Эмиграция — это всегда несчастье, — писал он. — Но это еще и увлекательнейшее приключение на всю жизнь"*.

Он как бы оседлал нашу общую беду и сумел превратить ее в авантюру — и прежде всего — в свободное путешествие по открытому Миру. Но это было не открытие диких мест, а наоборот — порыв к культурному истоку, в конечном счете, — назад, в Европу.

Интересно, что его Муза особенно чутко отзывалась на контраст культуры и бедности. И наоборот, цивилизация и богатство оставляли ее равнодушной. Так, бедная и добрая Португалия и обнищавший славою Рим стали предметами стихов Юрия Иваска. А ведь был он и в других странах. Да и жил в процветающей Америке.

"Америка — это всего лишь удобства, при всей моей благодарности к ней", — доверительно говорил Иваск. И, надо отдать ему должное, он бывал расстроган, когда эта страна дарила нечто большее, чем удобства, — до самых последних дней, до самого, может быть, последнего дня и часа...

И все же Мексика, а не Соединенные Штаты, зажигала его мысль и заставляла скакать его воображение. Может быть, по ключевому контрасту, уже здесь упомянутому. По какому-то ин-



Ф. И. Б. а. е. в.

туитивному капризу. По прозрению чувств, по уверенности и полноте интуиции.

Запах розы, мочи и вечности...

Русь мешается в памяти с Мексикой.

По аналогии с еще московским детством... По всему патетическому, барочно и пламенно выпретенному, вознесенному над вытоптаным и пыльным!.. По тому, что не устрашается быть смешноватым. И в этом — почти весь Иваск.

Свою утопию он назвал бы не Город Солнца, а — Смольный собор будущего, город Бартоломео Растрелли, Новый Град Барокко.

А может быть, Китеж-град, окунувшийся в европейские воды?

Во всяком случае, русские дела были для него жгуче-живы.

Была у него надежда, и был интерес к новым русским, которых он отличал от советских — знаю это по себе.

25 лет тому назад, там, в Ленинграде-Петербурге, еще будучи литературно юн и кем (и чем?) только не избиваем — непризнанием, невниманием, литературным небрежением и своим же самоозиранием, получил я вдруг письмо с теплейшей поддержкой и — откуда? — аж из Америки, от "того самого Иваска", корреспондента и друга Цветаевой, поэта... Одновременно приветствовал он подобным письмом и Бродского.

Значит, существовала для Иваска Россия, хотя бы в некоторых пульсирующих точках и, следовательно, он тоже существовал для нее.

Вот уж кто истинно был "не в изгнании, а в послании"!

В тексте своего "Последнего слова", так и не произнесенного, он написал: *"Я навсегда остался без русского пространства под ногами, но моей почвой стал русский язык, и моя душа сделана из русского языка, русской культуры и русского Православия"*.

Да, он служил рыцарски, даже порой донкихотски, но, конечно, не советской, да и не той гипотетически-идеальной России, которой нет, хотя о ней мы так мечтаем... Его Россия была теперешней, интеллектуально сопротивляющейся, творящей современную катакомбную культуру Духа и совести. Он был нужен

ей как связь времен. Как стихолоб и архивист, как поэт и просветитель.

Как нужны, даже сейчас, если снизиться на уровень обычных московских застолий, эти чьи-то безымянные песни о поручике Голицыне и корнете Оболенском, в сущности, о бывлой славной России, идеалистической и жертвенной..

Об этом Юрий Иваск написал свою песню. Вернее даже, песня сама сочинилась через него, чуть ли не ангелом внушенная:

Пели, пели, пели.

Пили, пили, пили.

Поле, поле, поле.

Пули, пули, пули.

Пали, пали, пали.

Здесь только два согласных звука Пе и Эль. Но — и вся история Добровольческого движения и Белой гвардии. Чисто, точно и страшно.

На эти слова еще никто не сочинил музыки, хотя она присутствует в них самодостаточно. Но я воображаю будущий многоголосый хор, выпевающий эти огромные звуки.

Юрий Павлович когда-то беседовал с Зинаидой Гиппиус, переписывался и встречался с Марией Цветаевой, дружил с Георгием Адамовичем, учился мыслить у Георгия Федотова и восхищался Мандельштамом вместе с отцом Александром Шмеманом. Примечательнейшая цепь имен, и никого уже нет в живых!

И все-таки весь Иваск — в том, что он пуще всего гордился тем фактом, что его стихи бродят сейчас по Самиздату.

Были у него любимые москвичи, заочные духовные дети, обязанные ему своим обращением. Монографией о Константине Леонтьеве, либо теологическими статьями, или сборником стихов "Играющий человек" — Он умел искресать религиозный жар из тех, кто хотел связать себя с вечной Россией.

А священная игра — это поэзия. Если опрокинуть такие перспективы в небо, то мы окажемся в Раю, в последнем убежище странствующего интеллектуала.

— Почему же именно в Раю? — спросят меня. — Ведь с таким же успехом можно оказаться и в Аду.

Что ж, здесь — тайна, доступная лишь Божественному Промыслу о нас. Но куда же тогда поместить душу христианского поэта — неужели вместе с фельдфебелями, политиками и ростовщиками? Даже на них, думаю, распространяется небесное милосердие.

Юрий Павлович в связи с этим любил острое высказывание одного французского кюре: *"Церковь учит об Аде, следовательно, он есть. Но, поверьте мне, там — пусто"*.

Иваск разглядывал *райское*, то есть вечную жизнь — иногда в самые земные моменты. Например, на маленькой торговой площади в Риме, которая почему-то называется Райской. Или на Стрелке Васильевского острова, когда он впервые (и незадолго до смерти) приехал в Ленинград, чтобы увидеть в этом городе прославленный Санкт-Петербург. Он говорил, что радость в нем kloкотала, когда он видел *"враждебную и прекрасную Неву, ее воды многие"*.

Этот опыт переживания вечности завершился для него созерцанием бесподобного собора Бартоломео Растрелли, священной игрой куполов, танцем колонн Смольного монастыря.

О *райском* он думал и писал, часто в парадоксальных образах, следуя в этом за Василием Розановым, которому нужен был Рай с земными, хотя и невинными, радостями: малосольным огурцом с прилипшими к нему усиками укропа.

Иваск развивал и домысливал эту идею: среди вечной радости должна быть "далекая долина плача", иначе радость будет неполной.

Всё спасется, верил он, и потому Ад опустеет, а в Раю, как в Ноевом ковчеге, обнимутся все твари, но в преображенном виде. Он догадывался о полноте Божественного замысла, но, молитвенно улетаая к нему, просил о земном:

Подай, о, Господи, тревоги, мысли, силы.

В счастливые и вдохновенные минуты сила его метафизического мышления и сила поэзии сплавлялись полностью, и тогда появлялся шедевр, такой, как это четверостишие:

*Споспешествуй Творцу. Печенки не щадя
И селезенки: прей, седой чернорабочий.
А голос издали: — Иди ко мне, дитя...
Еще труды и дни. Еще мечты и ночи.*

Теперь его дни закончены. А трудам еще предстоит издаваться, переиздаваться и находить пути туда, где они так нужны, чтобы просвещать и бодрить поколения "новых русских".

Это прощальное слово я заканчиваю своим стихотворением, посвященным Юрию Иваску при его жизни:

— России нет, — желчь изливал Иван.
— И хорошо! — юродствовал Георгий.
А что тогда гналось на Магадан
и мерло в сёлах?... Юрий был негордый.

Всегда, как и теперь, — седобелёс,
он, видно, веял юностью такою:
хоть от острот и хохотал до слез,
но плакал над Марининой строкою.

Он пели-пели-пели написал,
и: пили-пили, поле, пули, пали.
По звукам Пли и Эль на небеса
вели доброармейцев Петр и Павел.

Но тон Парижской Ноты был уныл,
а чистенький пейзаж новоанглийский
так и остался сердцу мил-не-мил:
— Мне москвичи любезны, Вы мне близки.

Не в эльзевирах — вечный человек:
несомый папиросною бумагой,
по Самиздату бродит в дождь и снег,
играя в мячик со святым Гонзагой.

Мы с Юрием в самом Раю — а где ж?
постелим самообранку под-за кустик
и за Россию чокнемся: — Грядешь!
И малосольным огурцом закусим.

Дмитрий Бобышев
Урбана, Иллинойс

ПАМЯТИ Ю. П. ИВАСКА

13 февраля 1986 года на 79-м году жизни в Амхёрсте (штат Массачусетс, США) умер Юрий Павлович Иваск. К мысли о том, что его нет, привыкнуть трудно, столько лет он участвовал во всех знаменательных событиях эмигрантской жизни, полемизировал с оппонентами, защищал честь русской литературы и сам был достойным продолжателем ее лучших традиций.

Распространялись легенды о его едва ли не столетнем возрасте, а сам он не менялся: тот же живой, тонкий ум, то же изобилие парадоксов и неожиданных поворотов мысли; те же энергия и огромная эрудиция; та же юношеская страстность в сопричастности к "предельным вопросам" нашего бытия.

В нем до конца ощущалось "благородство костяка", по слову Цветаевой: интеллектуальная и ценностная основательность, ныне наблюдаемая весьма нечасто. Эта основательность обрела особенное значение при его темпераменте, склонном к чудачеству и игре. То была высокая игра в ее философском смысле. "Играющий человек" составлял главную мифологию его жизни: таково заглавие и содержание написанной им поэмы. Игра, будучи творчеством, предполагает ответственность: это триединство проходит через всю его жизнь.

Юрий Павлович Иваск родился 12 ноября 1907 года в Москве, но долгие годы прожил в Эстонии; он окончил юридический факультет Тартусского университета. После этого изучал философию в Гамбурге, а в 1949 году переехал в Америку. Получив в Гарварде докторскую степень по славянской филологии, Ю. Иваск преподавал в Канзасском, Вашингтонском и Вандербильтском университетах, после чего занял кафедру русской литературы в Массачусетском университете в Амхёрсте и, находясь на этом посту, активно участвовал в развитии американской славистики. Жизнь одарила его богатым опытом ученого и поэта: он много путешествовал и знал многих замечательных людей — от Марины Цветаевой до Владимира Набокова.

Поэтическая биография Юрия Иваска была необычной. Ранние его стихотворные сборники ("Северный берег", 1938 и "Царская осень", 1953), хоть и демонстрировали несомненное владение техникой, но мало выделялись на общем фоне литературной

продукции тех лет. Лишь в шестидесятилетнем возрасте он опубликовал книгу стихов ("Хвала", 1967), в которой зазвучал его новый голос, уверенный и неповторимый. Этим ознаменовался поэтический прорыв — поэт возник в житейски закатные годы, и две последовавшие книги ("Золушка", 1970 и "Завоевание Мексики", 1984), а еще более стихи, донныне неопубликованные, часть которых появится в выходящем вскоре и составленном еще самим поэтом сборнике "Я — мещанин", дают основание высоко оценить поэтическое творчество Иваска.

Он был требовательным мастером слова: каждый новый сборник, каждое новое стихотворение соревнуются с предыдущими. В поздних стихах он достигает, при ясности мысли, удивительной воплощенности и отточенности метафоры. К тому же, при всей своей учености, Иваск менее всего академичен: стих его формально парадоксален, непредсказуем — а именно таково и есть условие подлинности художественного эксперимента; при этом он не оскорбляет чувства меры. Он, скорее, барочен, чем романтичен: недаром он так любил Гонгору-и-Арготе, английских "метафизических поэтов", Державина, Анненского, Цветаеву, Аполлинера.

Богатство спектра, широчайший охват интересов придают особенную необычность наследию Юрия Иваска. Так, например, полюсами его страстных увлечений были любовь к Мексике — и к Византии. Он, конечно, прежде всего — поэт, и, как таковой, обладает уже заметным статусом в русской литературе. Но и эссеистика его, к сожалению, пока еще не собранная, не будет забыта. И в этот жанр он внес фейерверк антиномий и недосказанностей, приглашая читателя к сопричастности и интимному разговору.

Тот же личностный, образный и в то же время глубоко аналитический подход отличает и его новаторскую монографию о Константине Леонтьеве (1974). Эта книга — редкий пример гармонии субъективных и объективных устремлений. В этом серьезном исследовании противоречивая фигура Леонтьева трактуется с образцовой деликатностью, тем самым давая пример многим полемистам и публицистам.

В нынешнем конфликте неозападников и неославянофилов Иваск объединял в себе живой русский патриотизм с щедрой широтой души, способной отдаваться восхищенному наслажде-

нию всем прекрасным, подаренным миру Европой и Америкой.

В последние годы, неожиданно для себя, Юрий Павлович взялся за художественную прозу, медленно, но с увлечением работал над романом с предварительным названием "Если бы". Жанр произведения относится к исторической фантастике: роман построен на предположении, что вместо умершего еще цесаревичем Николая II, российским императором стал его брат Георгий Александрович, которому удастся предотвратить революцию и привести страну к процветанию. Роман свой Юрий Иваск закончить не успел, но публикация отдельных готовых глав этого оригинального, ностальгически-оптимистического повествования, написанных с присущим ему словесным блеском, была бы радостью и подарком для читателей.

Признание далеко не всегда приходит при жизни. Конечно, Юрий Иваск не достиг той его меры, на которую имел право. Однако, он успел узнать, что есть многочисленные почитатели его таланта не только в среде трех эмиграций, но и на родине. О нем не раз писали Георгий Адамович и Владимир Вейдле; с 1979 года в самиздате распространяется его машинописный сборник, любовно составленный в кругах, считающих Иваска одним из крупных русских поэтов второй половины XX века. Там о нем пишутся целые исследования, одно из которых, содержащее виртуозный анализ "Играющего человека", было не так давно опубликовано в "Вестнике РХД". Далеко не каждый поэт благословен в условиях изгнания такой живой читательской отдачей.

Юрий Павлович был глубоко верующим человеком. Вера его была непосредственной и эмоциональной; ему было близко учение Оригена об "апокатастасисе", всеобщем очищении и всеобщем искуплении, и византийское представление о теозисе — обожении мира. В его представлении Рай — платоническое преобразование земной жизни, каждым мгновением которой он умел наслаждаться, здешнее наше бытие, возведенное в энную степень совершенства. В этом божественном измерении Баратынский и Эмили Дикинсон сосуществуют с любимой кошкой, и любимой яблоней, и с благоуханием любимого цветка.

Поэтам дано иногда умирать не как простым смертным и даже легендарно. В английском газетном некрологе сказано, что Юрия Павловича Иваска нашли на берегу пруда, где он совер-

шал прогулку. Но, согласно другому сообщению, он разволновался на чьей-то лекции об обожаемом им Мандельштаме, последний раз что-то хотел сказать, не смог, и упал без чувств.

Валерий Блинов
Нью-Хейвен

ЮРИЙ ИВАСК

15-го февраля текущего 1986 года в крупнейшей газете "Жорнал до Бразил" мой сотрудник по литературной работе на португальском языке Умберто Маркес Пассос нашел сообщение об уходе от нас одного из *лучших русских поэтов* конца XX века Юрия Павловича Иваска, имя которого хорошо знал по нашей совместной работе над переводом его стихотворений. Привожу заметку: "Об ушедших. Заграничные. Георгий Иваск, 78, от сердечного припадка, в Массачусетсе (США). Русский поэт, натурализованный североамериканец, с 1955 г., читал лекции в университетах Вашингтона и Вандербилта. Три года тому назад одним из его стихотворений был расстроган папа Иоанн Павел II, распорядившийся пригласить его на аудиенцию."

Стихотворение, о котором идет речь — "Приветствие православного". Было оно в ту пору переведено — очень хорошо — и на польский язык и напечатано в польском журнале "Культура" в Париже.

Этот эпизод свидетельствует о национальной и конфессиональной терпимости замечательного поэта, умевшего дружить и с католиками, и с протестантами, и с евреями. Никогда в его творчестве не звучали ноты шовинизма или фанатизма — воистину, был он человеком, которого многолетнее изгнание научило быть везде "как дома" — и везде оставаться самим собою, то есть русским и православным.

Привлекательны здоровый консерватизм Иваска, его любовь к исторической России — к императрице Елисавет Петровне, к Москве и Петербургу, к лаврам, монастырям и церквям, но также и к хлыстовству, а в последние годы и преклонение перед недавно причисленной к лику святых юродивой блаженной Ксенией. Целые циклы в "Хвале" посвятил он Афону и Афинам.

Охватывали его зоркие глаза и чужие культуры, до него остававшиеся незадетыми русской поэзией, больше всех других — мексиканскую, которую он завоевал для русской музы и в "Хвале", и в "Золушке", и — отдельно, в поэме "Завоевание Мексики" (поэме не о том, как испанские авантюристы ее завоевали, а о том, как обворожительная ацтеко-испанская Мексика завоевала сердце русского поэта).

Характерно для его консервативной души благоговение перед старыми монархиями. Описал он в одном из своих писем ко мне свою встречу с главой королевского дома Баварии: узнал его безошибочно по внешнему сходству с принцем-регентом Луитпольдом и приветствовал восклицанием:

— Hoheit! (Ваше Высочество), — сняв при этом шляпу. На что старец тотчас же ответил:

— Но накройте, пожалуйста, накройте.

В Португалии Юрий Павлович побывал дважды. Был представлен претенденту на португальский престол дону Нуньо, герцогу Браганца и его сыну, дону Нуньо Дуарте, а в Нью-Йорке на каком-то приеме встретился с доной Марией-Терезией. Очень занимала его генеалогия португальской и бразильской династий.

Этапы жизни Юрия Павловича — родился в Москве, учился в Эстонии, откуда ушел пешком вслед за отступавшими немцами. В каком-то лагере в Германии работал помощником санитаря, "мыл ночные горшки". Вместе с другим прекрасным поэтом, Игорем Чинновым, добрался до Гамбурга, где оба они окончили университет. Темой работы Иваска на соискание степени доктора была жизнь (и творчество) Константина Леонтьева. Много лет спустя этот труд был издан отдельной книгой.

Затем он приехал в США и обосновался в Амхёрсте, где написал много чудесных стихов, в частности, об Эмили Дикинсон. Помню, что оттуда он выезжал читать лекции во Фрейбург,

куда сопровождали его жена и любимая кошка.

Его первых сборников "Северный берег" (Варшава, 1938) и "Царская осень" (Париж, 1953) я никогда не видел. Первые сборники обычно издаются ничтожным тиражом. Третий сборник, "Хвала" (Нью-Йорк, 1967) и четвертый "Золушка" (Нью-Йорк, 1970) у меня бережно хранятся, как и "Завоевание Мексики". Иваск готовил издание новой книги "Я — мещанин" (заглавие заимствовано у Пушкина — "Моя родословная": своим происхождением, по матери, из именитого московского купечества Иваск гордился).

Тематическое богатство поэзии Юрия Иваска неисчерпаемо, но не менее ценны и его искания в области формы. В поэме "Играющий человек" (напечатанной в "Вестнике РХСД") и во многих коротких стихотворениях он пользуется изобретенной им семистрочной строфой и многочисленными диссонансами, часто рифмуя значущие слова с междометиями. Диссонансы он называл консонансами, с чем я не соглашался.

"Играющий человек" — развитие тезиса о рождении культуры не столько из необходимости, сколько из детской, или ангельской, потребности в игре. С большой нежностью Юрий Иваск обозревает "игру" не только русских поэтов, но и великих художников и архитекторов Италии. Здесь ему помогало постоянное общение с подлинным знатоком искусства, ныне покойным В.В. Вейдле.

У поэтов Юрий Павлович любил "крепкие строки" — не придуманные, а как бы дарованные свыше. Много таких строк приводил он из Пушкина, Анненского и наших современников.

"Легким" поэтом Иваск не был. Заставлял думать. Несмотря на неслыханный упадок поэтического умения и читательского вкуса в теперешней России, там образовался кружок почитателей Юрия Павловича ("москвичей"), которые ухитрились общими силами пустить по самиздату *полное собрание* стихотворений Иваска чуть ли не в полтысячи страниц.

Лично я истолковываю это преклонение перед многокрасочной, разнообразной по темам поэзией Юрия Иваска, как тоску соотечественников по свободному слову, Юрий Павлович смотрел на это иначе: говорил, что зарубежная поэзия, новая

для "москвичей", зашла в тупик и что, например, писать четырехстопным ямбом в наши дни стало просто невозможно. Он ждал "нового слова" от российских продолжателей старых традиций и от зарубежных тоже.

Как корреспондент, Юрий Павлович иногда чуть переигрывал. Ошибался в датах. Разослав "по кругу" новые стихи, спохватывался, что себе-то копии не оставил, и начинал умолять постоянных корреспондентов разыскать и прислать ему утраченные строфы. Был и еще более забавный эпизод. Из Фрейбурга Юрий Павлович обещал выслать книги Глебу Петровичу Струве. Время шло, Глеб Петрович ворчал, а Юрий Павлович божился, что книги "давно отосланы". По окончании курса лекций Ю.П. Иваск вернулся домой в Амхерст — с женой и кошкой — и нашел у себя в почтовом ящике те самые книги, которые ждал Глеб Петрович, но которые Иваск по рассеянности адресовал... самому себе:

Большая заслуга Юрия Иваска — составление поэтических антологий ("На Западе", и других). Содержательна, с точки зрения историка (того, что было, и того, что могло быть), и его проза. Хорош и его обзор истории развития огромной ветви русской литературы — "Похвала Российской поэзии", напечатанный по частям в "Новом Журнале".

Помню, когда умерла моя мать, очень любившая Алексиса Раннита, я сообщил ему, что Евгения Александровна Сентянина умерла. Раннит не на шутку разгневался: "Умерла? Не умерла, а временно ушла. Но мы все еще встретимся!" Так же скажу теперь о Юрии Павловиче Иваске: "Он не умер, но перешел в высший слой бытия. И он всегда с нами: в его стихах и, более того, в его живом присутствии".

Проявилось это и в ничтожном, но едва ли случайном совпадении: Умберто Маркес Пасос в феврале не выписывал газеты, но 15-го февраля ему непреодолимо захотелось купить воскресный номер "Журнал до Бразил". И там он нашел сообщение о временной отлучке Юрия Павловича Иваска.

Валерий Перелешин
Рио-де-Жанейро

ХУДОЖНИК ЭРИК ПРЭН (1894 — 1985)

В старой Москве существовала английская фабрика Торнтон, производившая плотные материи. Особенно славилась крепкая диагональ, которую фабрика поставляла военному ведомству для кавалеристов. В семье Торнтонов было три девицы, одна из которых вышла замуж за Эдмунда Прэна, англичанина. В этой семье было трое сыновей, средний из них, Эрик, родился в 1894 г. Детство и юность провел в России, окончил в Москве среднюю школу, а когда началась в 1914 г. война, добровольно пошел в русскую армию и воевал.

После революции 1917 г. семья Торнтон и Прэн покинули Москву. Некоторые из членов этих семей вернулись в Англию, а семья Прэн поселилась в Риге, ибо Латвия напоминала им Россию. У матери Эрика (отец к тому времени скончался) были в Риге знакомые, которым она поручала узнавать о бедных русских людях, живших в Риге, а также о больных, нуждавшихся в помощи. И такая помощь являлась совершенно неожиданно и неизвестно от кого. Когда г-жу Прэн спрашивали, почему она это делает, она отвечала: "Все наше состояние мы получили в России и наш долг помогать бедным русским людям". Так понимала свой долг благодарная англичанка; вместе с тем она не теряла связи со своей отчиной и выразила желание быть погребенной на родине. Пожелание ее было исполнено, гроб с ее прахом отбыл на корабле из Риги в Англию.

Из трех братьев Прэн я знал больше всего Эрика, т.к. он занимался живописью и у нас с ним были общие интересы. Годами я наблюдал за его ростом как художника. Мне открывалось его чуткое восприятие природы, его любовь к тихим лесным уголкам в весенние и особенно в зимние дни. Он часто выезжал в восточную часть Латвии и работал там вместе с художником К.С. Высоцким.

Зимой 1937 г. мы вместе с ним устроили выставку наших работ в Риге. Он выставил не только свои пейзажи, но и картины на исторические и мифологические темы, как, например, "Отшельник", "Чингиз-хан" и др. Среди его пейзажей были виды Италии, которая пленила его своей природой и искусством. Вы-

ставка прошла весьма успешно, многие его работы были проданы. В Италию Э. Прэн выезжал почти ежегодно; там он встретился с замечательным русским художником Н.Н. Лоховым, который работал над серией копий картин итальянских художников эпохи Возрождения для Московского Музея Изобразительных Искусств. Советы и указания Лохова помогли Э. Прэну написать многие свои картины в технике темперы, как писали итальянцы в эпоху Раннего Возрождения. Заниматься пейзажной живописью Прэн продолжал и в последующие годы, когда покинул Латвию и обосновался, в 1940-х годах, в Шотландии. Его пленил Шотландский Север, где среди гор лежат скованные льдом озера. Серия его шотландских пейзажей показывалась на выставках во многих городах Англии и пользовалась большим успехом.

Живя в Италии, Прэн не только писал итальянскую природу, но и увлекся розыском забытых и малоизвестных художников Раннего Возрождения. Ему удалось обнаружить несколько росписей итальянских мастеров XI — XIII веков и доказать их значительность. В одной из заброшенных провинциальных церквей он обнаружил икону "Распятия", на которой Христос был помещен одновременно и на кресте и перед крестом. Во Флоренции была опубликована по-английски книга Прэна "Краткий справочник по итальянской живописи", а также статья "Аспекты Тосканской средневековой живописи". Ряд статей Прэна посвящен проблемам атрибуции итальянских художников средневековья.

Прэн был также организатором многих выставок русских художников за границей. Особенно удачными были выставки 1938 г. в Гааге и в Белграде. По натуре живой и жизнерадостный, он умел с юмором рассказывать о различных событиях своей жизни. Вспоминаю его рассказ о посещении Репина, к которому Прэн в 1920-х годах обратился с просьбой принять участие в выставке. Получив благоприятный ответ, Эрик отправился из Риги в Финляндию, где жил тогда Репин. Войдя в открытую дверь репинского дома, он увидел в прихожей такую надпись: "Снимайте пальто сами, никто за вами ухаживать не будет и проходите в комнату". Он услышал шарканье туфель, это шел Репин. Увидя Эрика, сразу сказал: "Уезжайте, я ничего на вы-

ставку не дам. Поспешите на станцию, поезд скоро отходит!..

Можно себе представить, как Эрик был ошеломлен! Ведь еще в Риге он получил письменное согласие Репина на участие в выставке, а тут такой афронт! Но спасла положение дочь Репина — Вера Ильинична. Она стала уверять отца, что тот раньше обещал дать что-нибудь на выставку, а теперь отказывается, что это неудобно, ведь человек приехал специально из Риги и пр. И Вера Ильинична победила, Репин дал несколько своих работ на выставку.

Стараниями Э. Прэна русская живопись становилась более известной Западной Европе. Многосторонняя деятельность Эрика Прэна свидетельствует о его любви к России, природе и искусству. В отношениях с людьми он неизменно проявлял исключительную доброту и внимательность. Незадолго до кончины Э. Прэн перешел в православие, отдавая долг своему русскому прошлому, всему тому, что связывало его с Россией.

Мир его праху!

Е. Климов

Канада

БИБЛИОГРАФИЯ

Omry Ronen. *An Approach to mandelstam*. Bibliotheca Slavica. Jerusalem. 1983. Pp. 396.

Обширная монография Омри Ронена посвящена двум стихотворениям Осипа Мандельштама — *"Грифельная Ода"* и *"1 января 1924 г."*, а также варианту *"Никогда ничей я не был современник..."*.

Ронен приводит в книге очень уместную цитату из очерка кн. В.Ф. Одоевского о И.С. Бахе: "Поэзия всех веков и народов есть одно и тоже гармоническое произведение; всякий художник прибавляет к нему свою черту, свой звук, свое слово". Это оправдывает кропотливое изучение Роненом текстов и "подтекстов" Мандельштама. Многие комментарии Ронена действительно что-то разъясняют. Но немало и лишнего балласта.

В стихотворении *"1 января 1924 г."* находим эти строки:

И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех...

Ронен замечает: это не смех Вольтера, Барбье, Гейне, Гоголя, Ницше. Но это ведь и так ясно! Так зачем же было перечислять все эти "смехи"? Ронену кажется, что мандельштамовский смех всего ближе к гомерическому в первой песне "Илиады", где Олимпийцы смеются на пиру от переизбытка веселья. А у Мандельштама смех раздается после чаемого им выздоровления. Разница достаточно отчетливая.

Указывая на подтексты, *всегда нужно определять функцию заимствования или совпадения*, что Ронен делает не всегда, говоря о влиянии, которое не может быть с точностью установлено. Мандельштам мог и не читать "*Исповедь сына своего времени*" Альфреда де Мюссе, с которым Ронен его сближает. Но и Мюссе и Мандельштам, как и все мы — наследники иудео-эллино-латинской цивилизации, отчего мы нередко и высказываем те же мысли, совпадаем в метафорах, аналогиях, на что указывал кн. В.Ф. Одоевский.

Ронен сближает некоторые текста Мандельштама и Вячеслава Иванова. Но так ли внимательно первый читал последнего? Знаю по опыту: многие поэты только перелестывают сборники стихов Вячеслава Великолепного. Их отпугивает и вызывает скуку его книжность; при этом, он, конечно, остается и поэтом-лириком... А вот Розанова, с которым Ронен тоже сближает Мандельштама, в 10-е годы читали без пропусков. Вообще, нужно лучше знать литературный быт эпохи и лучше ориентироваться в культуре, ибо одной эрудиции недостаточно.

Ронен воздает должное своим гарвардским учителям — покойному Р.О. Якобсону и К.Ф. Тарановскому, но, как и они, не всегда достаточно внимания уделяет стилистике. Так, в поэзии Мандельштама, но куда меньше, чем у Марины Цветаевой, немало контрастных совмещений церковнославянского языка и "простонародного", низкого стиля. Хотя бы в этих двух стихах, посвященных Ариосто:

Он завирается с Роландом куролеся
И содрогается, преображаясь весь...

Об этом я более подробно писал в предисловии к 3-му тому собрания сочинений Мандельштама. В разбираемом Роненом стихотворении "*1 января 1924 г.*" следовало бы отметить контрасты элегической торжественности ("Кто время целовал в измученное темя..."), простоты в диминитивах ("песенка", "переулочек") и разговорности (в выражении — "не обессудь"). Тут же шелкает ундервуд. Все эти образы, слова взяты из

разных речевых рядов и обогащают, разнообразят, обновляют уже устаревший жанр элегии.

В академических кругах США как-то замалчивали акмеистов. Но Ронен отмечает их заслуги. Гумилев и др. опередили так называемых формалистов и умели находить подтексты. Мандельштам верно утверждал: Верлен возвратился к Вийону. Ахматова стала пушкинистом... При этом акмеисты не отказывались от своей субъективности, опирались на интуицию и была у них настоящая культура, которой нехватало формалистам и футуристам и которой нехватает американским структуралистам. Ведь почти всегда они отказываются от понимания и даже от *желания понять* данного поэта, данного стихотворение.

Творческий путь Мандельштама ясен: от эстетики к религии, к вере к православию (но с католическими симпатиями).

Ронен и его учитель К.Ф. Тарановский упоминают о стихотворении Мандельштама "Вот дароносица, как солнце золотое..." Один из самых замечательных современных православных богословов, покойный отец Александр Шмеман, написавший книгу о литургическом богословии, говорил, что в этих стихах Мандельштама мы находим одно из самых проникновенных прозрений о Евхаристии ("И Евхаристия как вечный полдень длится..."). У Мандельштама куда больше новозаветных подтекстов в стихах, чем ветхозаветных. Едва ли Мандельштам так уж хорошо знал катехизис, но он знал Евангелие и обладал даром духовного прозрения. Лучше многих литературоведов его понимала жена, Надежда Яковлевна, да и сам он достаточно полно выявил свое христианское исповедание в фрагментарном очерке о Скрябине и Пушкине (см. мой очерк "*Христианская поэзия Мандельштама*" — Новый Журнал, 103, 1971 г.). Такой подход чужд Ронену и его учителям. Но книга О. Ронена полезна и многие его комментарии ценны. Мандельштам — великий поэт и разные подходы оправданы живым интересом к его поэзии.

Ю. Иваск

Феликс Светов, "Опыт биографии", Имка-Пресс, 1985.

Феликс Светов известен в зарубежье прежде всего, как автор романа "Отверзи ми двери", в котором повествуется о том, как человек нашего времени, в советских условиях, приходит "к Богу, ко Христу; о трудном, а порой невысказанно тяжелом пути, на котором человеку дано перечеркнуть всю предыдущую жизнь и преодолевать неготовность к жизни новой". Силуэт главного героя этой книги автобиографичен, а

прототипом его духовного отца послужил известный о. Димитрий Дудко.

Светов — это литературный псевдоним Феликса Фридлянда, сына Г.Ф. Фридлянда, арестованного в 1936 за связи с Радеком и Тер-Ваганяном. Отец Светова был коммунистом, "номенклатурщиком", пользовавшимся всеми благами, доступными советской элите. Вот как о нем вспоминает автор книги:

"Из мещанско-пролетарской семьи, после хедера, блестяще законченного коммерческого училища, незаконченного юридического факультета..., после Октября, штурма Зимнего, Гоалей Циона, членом политбюро ... после гражданской войны, путаницы с белорусским партизанским движением, работой в белорусском ВЦИКе ... служба в Казани в политуправлении армии ... в самом начале двадцатых годов научная работа, история, книги... профессорство в "Свердловке", Институте Красной Профессуры, заграничные командировки, сотни ученых статей с довольно широким диапазоном, снова книги... громкие доклады, организация исторического факультета в Московском университете, первым деканом которого отец и был; бесконечные ученые общества, редколлегии журналов. Ветер времени дул ему во все паруса, удача, которая так часто сопутствует таланту и энергии, ему не изменяла". До поры до времени, добавим!

В 1936 году Г. Фридлянд был арестован, судим, приговорен к заключению на десять лет "без права переписки" и... пропал без вести. Вскоре жена Фридлянда вместе с сыном была в административном порядке переселена в Архангельск и в самом конце 1937 года арестована и затем попала в лагерь (пять лет) пока не была реабилитирована. Мальчика вернули в Москву, к сестрам матери, жившим в центре города, "в хорошем "доходном" доме, в большой квартире с огромными разными буфетами, кроватями, чистотой и добропорядочностью". Из этого можно заключить, что и тетки были со связями!

Мать Светова до ареста работала в Музее Революции, а одна из теток по отцу участвовала в подпольном коммунистическом движении в Польше, за шпионскую деятельность была арестована и приговорена к повешению: ее товарищи устроили ей побег и она вернулась в СССР. Мы приводим эти "семейные обстоятельства" Светова для того, чтобы показать, что "семейная экология" в данном случае не сработала и Феликс Светов, вопреки намечавшейся тенденции, стал честным, этически чутким, хорошим человеком. Завершением его духовного роста было обращение его, и его жены Зои Крахмальниковой к вере и крещению в православное вероисповедание.

"Карьера" отца была в некоторой степени "клеймом", затруднившим жизнь молодого человека. Ему пришлось бороться с предвзятостью университетских администраций и других работодателей, испробовав несколько случайных профессий, Ф. Светов определяется в качестве публициста и писателя. Отметим, что Светов — среди немногих правозащитников — подписывал письма в защиту Гинзбурга, Галанскова, Татьяны Великановой, Андрея Сахарова, о. Димитрия Дудко и Глеба Якунина. Секретариат Союза Писателей вынес ему выговор за благожелательную статью об А. Солженицыне.

Книга Светова написана в некоторой степени в импрессионистском ключе. Даже биографический материал дан не в хронологической последовательности; эпическое повествование часто прерывается абстрактно-психологическими размышлениями и собственным душевным анализом, граничащим с тем, что говорится на исповеди. Довольно часто встречаются длинные предложения-абзацы, свойственные немецкому языку. Но наряду с материалом личного характера, в книге есть много интересных характеристик тех, с кем автору приходилось встречаться в Москве. Чего стоит, например, описание одного из диспутов двадцатых годов, ведшихся о. Александром А. Введенским, возглавителем "живоцерковничества" с Луначарским, или сжатых закулисных разговоров в Союзе Писателей, или доселе неизвестные данные о лицах, известных и в эмиграции.

Рецензируемая книга — и автобиография и дневник. В ней есть удивительно прочувственные страницы, относящиеся к матери автора, особенно — к ее последним дням. Есть в ней страницы, относящиеся к друзьям автора. Из других отрывков мы узнаем, какова была атмосфера в Москве в период "оттепели" и как нарождалось "инакомыслие и диссидентство". Что поражает читателя, так это отвага, с которой автор пишет о Сталине вообще, и о коммунистической системе в частности.

Последствия не заставили себя долго ждать. Вслед за женой, писательницей Зоей Крахмальниковой, осужденной в 1982 году за составление сборника "Надежда", был арестован и сам Феликс Георгиевич Светов (23 января 1985 г.). Оба пребывают в тюрьме и по сей день. Закончим эту заметку словами самого автора:

"Путь, открывшийся мне, был нелегок, непрост, явился не из книжки. Путь к *тесным вратам спасения* пролегает через отчаяние, непонимание, разрывы, утраты, и только *некий свет*, по слову Пушкина, *единственная мечта*, указывает тебе, что ты не сбился с дороги".

Е. Валин

ТРИ ТОМА ТРИЛОГИИ

РОМАНА ГУЛЯ

"Я УНЕС РОССИЮ"

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ I. "Россия в Германии". Второе издание. Текст исправленный и значительно дополненный. Много фотографий факсимиле, указатель имен, стр. 364, цена 12 долларов.

ТОМ II. "Россия во Франции". Исправленный и значительно дополненный текст по сравнению с текстом, печатавшимся в "Новом Журнале". Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 356, цена 15 долларов.

Заказы направлять по адресу "Нового Журнала": "New Review" 2700 Broadway, New York 10025.

Выходит из печати
том III

"РОССИЯ В АМЕРИКЕ"

Об эмиграции — Великий исход — На стекольной фабрике — У мадам Пруст — Шато Нодэ — Мсье Ле Руа Дюпрэ — Сережа и граф — Меринов - Шпейер из Тулузы — Ротмистр Рустанович — Пайес — Париж — Мой уход из масонства — Совпатриоты и коллаборанты — В. А. Лазаревский — С. П. Мельгунов — Виктор Кравченко — Н. В. Вольский — Б. И. Николаевский — "Народная Правда" — Лига Борьбы за Народную Свободу — "Новый Журнал" — Светлана Аллилуева — Переписка через океан Георгия Иванова и Романа Гуля — Томас Витни-Джордж Кеннан — Д. Шуб — Юлий Марголин — Полет в Израиль — К вопросу об "автокефалии".

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

Почетный редактор
РОМАН ГУЛЬ

редактор
ЮРИЙ КАШКАРОВ



В 1986 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1986 год 35 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 10 долларов



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и средам,
от 10-ти до 12-ти час дня
